

Октябрь

Алан Черчесов
ВИЛЛА БЕЛЬ-ЛЕТРА

Олег Зайончковский
ПРОГУЛКИ В ПАРКЕ

Андрей Битов
FILE НА ГРАНИ ФОЛА

Арсений Тарковский
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10 2005

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алан ЧЕРЧЕСОВ. Вилла Бель-Летра. Роман	3
Юлий ГУГОЛЕВ. Впечатления из другой области. Стихи	83
Олег ЗАЙОНЧКОВСКИЙ. Прогулки в парке. Повесть	86
Георгий КРУЖКОВ. Одно и то же долгое «о». Стихи	114
Андрей БИТОВ. File на грани фола. Полуписьменное сочинение	117

Из литературного наследия

Арсений ТАРКОВСКИЙ. Дымилась влажная земля... Вступление Дмитрия БАКА. Публикация Марины ТАРКОВСКОЙ и Дмитрия БАКА	137
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир ЗАБАЛУЕВ, Алексей ЗЕНЗИНОВ. Verbatim	142
--	-----

Там, где

Алексей ХОЛИКОВ. Иллюминаторы завтрашних городов. О революции и литературе сего дня	158
---	-----

Кирилл ЖУРЕНКОВ. Хрущоба-мама	165
--	-----

Кирилл КОБРИН. Читать в семидесятые. <i>К истории одной болезни</i>	169
Борис ХАЗАНОВ. Писатель – журналист – писатель. <i>Заметки о Вайяне и Эренбурге</i>	178
Вера КАЛМЫКОВА. Заложник времени. <i>О книге Б. Сарнова «Случай Эренбурга»</i>	184
<i>Литерный ряд</i>	
Григорий ЗАСЛАВСКИЙ. Патриотический театр в действии	189

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	<i>зам. гл. редактора</i>
Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Павел БЕЛИЦКИЙ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Ильдар АБУЗЯРОВ	<i>исполнительный директор</i>
Юлия КАЧАЛКИНА	<i>отдел публицистики</i>
Валерия ПУСТОВАЯ	<i>отдел прозы</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Сергей Юрский.

**Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ.**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, 214-69-37, отдел поэзии – 214-62-05, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-51-68, коммерческий отдел – 214-79-49, приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2005. Электронная версия журнала <http://magazines.russ.ru>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Компьютерная верстка – Лидия Синицына.

Подписано к печати 23.09.05. Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6.
Тираж 4000 экз. Заказ № 1712. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»,
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Алан ЧЕРЧЕСОВ

Вилла Бель-Летра

РОМАН

Посвящаю маме

Это никогда не случилось, но есть всегда.

Саллюстий. О богах и о мифе

In villa veritas.

Элит Турера

Моя теперешняя психическая уравновешенность покоится на прочной основе тяжкого преступления.

Норман Мейлер. Крутые парни не танцуют

Мужчины, писатели и художники, хотя и лучше обычных мужчин, но даже в идеале – не более чем неидеальные женщины.

Лу Андреас-Саломе

Что касается меня, то я спрашиваю, удастся ли мне когда-нибудь заставить почувствовать, что настоящий и единственный персонаж, который меня интересует, – это читатель, в той мере, в какой хоть что-то из написанного мною могло бы изменить его, сдвинуть с места, удивить, вывести из себя.

Хулио Кортасар. Игра в классики

ГЛАВА ПЕРВАЯ (Петроглиф)

К особо загадочным наскальным рисункам эпохи мезолита относят изображающий трех охотников петроглиф из местечка Альпера Восточной Испании.

Копьеметатель, лучник и ловец с пращей расположены в строгом геометрическом порядке, как если бы стояли по углам равностороннего треугольника (замеры расстояний между силуэтами зафиксировали микроскопическую погрешность в две десятых миллиметровой шкалы). Но еще больше диковинных для каменного века геометрических совпадений озадачивает исследователей другая странность: дичь, по логике вещей обязанная обретаться на перекрестии взглядов вооруженных фигур, по неизвестным причинам отсутствует. Создается впечатление, будто застывшие в агрессивных позах охотники изготовились сойтись в смертельной схватке.

Поостережемся, однако, зачислять этот наскальный узор в ряд первых из запечатленных историей батальных сцен: всмотревшись в центр росписи, мы обнаружим деталь, свойственную древним магическим воссозданиям

ритуала охоты, а именно – кровотокающую рану, которую только очень неопытный глаз может принять за случайный скол или (встречались и такие анекдотические высказывания!) за женский детородный орган. На самом деле рана в скале и есть образ добычи и обращенный к ней недвусмысленный знак приговора.

Бен Ллойд. Удвоение реальности как древнейший обряд убийства

В бинокль тебе отчетливо видно, как третий из компании разбредшихся убийц, освежившись в фонтане, поднимается по каменной лестнице, ведущей от сквера к балюстраде цокольного этажа. Шатаясь, словно раненый, и не обращая внимания на свисающую из-под брючного ремня рубашку (та волочится по мраморным плитам и рисует на них нехорошую мокрую полосу – уличающий след пресмыкающегося, что подсохнет прежде еще, чем брезгливо лизнет его солнечный луч), он исчезает за стеклянной дверью гостиной, оставив потерявшим цель окулярам сомнительную привилегию созерцать листающие ветер переливы оконных отражений да скольжение теней по близорукой изнанке сумерек.

Дальше бинокль бессилён; ты вынужден довериться воображению...

Обнаженный по пояс, преступник войдет в помещение и услышит грудью прохладное дыхание тишины – бодрящую примету терпеливых духов, к чьему присутствию почти привык за те недели, что провел здесь, готовясь к убийству. Подобно танцмейстеру, нырнувшему в гущу кружащихся пар, он метнется к бесплотным гирляндам фантомов и мимоходом подумает, что с некоторых пор любого рода внешним соглядатаям (стало быть, и тебе. Тебе – в первую очередь!) предпочитает этих вот «внутренних» блюстителей пустоты, без коих отныне, пожалуй, ему придется какое-то время скучать. Хоть и нетвердой поступью, зато ни разу не отвлекшись, чтобы опереться на спинку стула и переждать нагнавший его по скрипучей паркетной волне штормовой вал тошноты, он пересечет комнату, вестибюль и окажется один на один с новой лестницей, покрытой ковровой дорожкой, что взбегаёт багровой спиралью наверх. Продвигаясь по ней босиком, он примется балансировать между перилами и стеной, являя образчик той предпоследней стадии нетрезвости, когда воля и ее антитеза, безволие, внося коррективы в походку, попеременно чередуют шаг и кое-как удерживают равновесие на самой кромке сознания. Внезапно – тебе и ему – вспомнится старый Сизиф. Еще и придется сделать открытие: пресловутый камень, который античный бедняга осужден катить комом в гору, – не что иное, как сама Сизифова голова. Это вас с ним и роднит: голова, думаешь ты мысль того, кто тащит ее вверх по лестнице, и есть та ноша, которую никому никогда не удастся донести до надежной опоры – если, конечно, заключенный в ней разум что-то смыслит в гравитации боли и скуки, а стало быть, и в законах падения метафизических тел.

Но продолжим следить: аккуратно меж двумя этажами невидимый глазу объект твоего наблюдения упрется лбом в стену и в этой наполовину покорной, пополам вопрошающей позе переждет минут пять, пока зыбучая рябь под глазами рассеется. Потом ухватится за перила и, как заправский трюкач по карнизу плывущего в облаках небоскреба, пойдет вдоль площадки, борясь с искушением вверить себя притяженью земли, по-червячьи обмякнуть хребтом, примоститься личинкой в углу и если совсем повезет, то закутаться в тень и истаять.

Через минуту искушение поборото: он опять примеряется шагом к ступеньке. Его стойкости (прямо скажем, какой-то лежалой, просроченной, словно тронутой ворсом грибка) помогает не столько упрямство, сколько предчувствие, что, раз поддавшись соблазну отвесного спуска к ватерлинии качки (между прочим, лишь крепнувшей баллами), он рискует

не удержаться на палубе и, подобно Сизифову камню, скатиться по ступенькам вниз. Потому, запугавшись пяткой в рубашке, он попытается *выйти* из затруднения, для чего выдернет ногу повыше и шагнет ею по диагонали как можно сердитей назад.

Пусть не сразу, но старания все же приносят удачу: хвост отлипает от пятки, хотя далеко не отброшен. Впрочем, расставаться с ним убийца не спешит. Ему представляется правильным содружество двух атавизмов – постылой наплечной ноши и постыдного позвоночного дополнения к ней. В их сопряжении он склонен увидеть логический символ себя: загорелый под бронзу доспехов кентавр, покинутый учениками-героями и позабывший с горя преставиться – то ли на пару страниц, то ли (с задержкой в вечность) на пару с пугливым Пегасом. Надрывая иссякшие силы, в раскоряку, нескладной треногой он побеждает последний пролет и, признав по зевку сквозняка задремавшую дверь, попадает в нее почти без потерь – оцарапанная крюком спина да лодыжка, задетая встречей с наличником, не наносят серьезный урон объекту твоих прозорливых фантазий.

Еще миг, и он вновь угодит в перекрестие линз, подбивая своим появлением абсолютный синхрон с твоим пульсом. Поощряя его за труды, ты позволишь ему обвалиться в потертое кресло, где, увязнув москитом в кожаных складках обивки, он хромо заснет, спотыкаясь на скачущих кадрах видения; сам же будешь покорно ждать – час, два, три, – пока он придет в себя, откроет глаза и поймет, что взят в плен сгустившейся тенью. Поворочавшись в ней, он потянется к лампе на липком такыре стола, зажжет свет, и ты увидишь залившее комнату желчью пятно, так похожее на мишень, особенно если смотреть на него сквозь бинокль, который недаром с этой минуты станет тебе навевать ассоциации с оптическим прицелом (созерцание беззащитности провоцирует агрессивные помыслы даже в тех, кто не склонен к насилию. Ты – склонен. Иначе зачем ты сюда его притащил? Зачем положил перед ним эту стопку бумаги? Зачем заставляешь сейчас, на ночь глядя, читать то, что ему так не по нраву писалось? Отчего принуждаешь его ворошить пепел костра, что сгорел дотла еще на рассвете этого самого дня – заслуженной даты обретенной романом развязки? Почему ты решаешь начать все сначала уже после того, как его завершил? Для чего тебе нужно брать на мушку того, чья жизнь на поверку и так чересчур эфемерна? А может, ты жаждешь его наконец погубить, чтобы дать ему шанс утвердиться в живых – на тех, прежних, пытавших его человечность страницах? Умереть, как известно, в состоянии лишь то, что было хотя бы мгновение живо... Разве это и есть та причина, по которой ты снова готов, словно вор, зябнуть снаружи всю ночь и подглядывать в окна, за чьими столетними рамами ничего уже нет, кроме пьяного типа с обглоданным тенью лицом и линиях бумаг перед ним, достойных отдельного аутодафе – привычной участи еретиков, ведунов и предателей? Неужели смысл всего этого действия в том только и заключен, чтобы оправдать твое желание спустить курок и покатиться с тем, кто, не желая признать твое сомнительное главенство, слишком явно проявлял строптивость и презирал твои бесславные попытки помыкать им исподтишка? А может, все, что тебе требуется, – это выгадать время? Пусть только несколько часов, ради которых ты даже готов обменять ладно скроенную концовку на притянутый за уши, постыдно ущербный фальстарт – лишь бы не расставаться с последней зацепкой, связывающей тебя с сочиненной тобою историей, уже примеряющей на себя защитный панцирь обложки? Хотя, возможно, все глупее и проще, и ты хочешь лишь потрафить своей интуиции, чье глубокомысленное косноязычие и ставит тебя в положение застигнутого врасплох лунатика, не способного объяснить свое поведение даже себе самому. Наверное, так.

Наверное, вовсе не так. Наплевать: главное для тебя сейчас – это то, что убийца как на ладони).

Убийца снова как на ладони и уже держит в руках несвежий ворох листов. Ему хочется пить, но ты не склонен позволить своему персонажу отвлекаться на мелочи. Выхода нет; осознав это, он начинает читать. Ты следишь за ним. Теперь – строчка за строчкой:

«Просвещенная старушка-Европа обнаружила удивительную близорукость, когда упорно отказывалась признать отпечатки пальцев важнейшей уликой, по которой можно определить личность преступника с погрешностью, близкой к нулю. Между тем на Востоке, не обремененном судебной казуистикой и вечными сомнениями в очевидном, испокон веков было принято вместо подписи использовать под текстом заключаемого договора узор собственной кожи с перста. Возможно, оттого, что он более соответствовал природе замысловатых иероглифов, а может, и потому, что куда полнее воплощал идею личного следа, нежели казенная буква или трактующий ее, всяк по-своему (да к тому же подверженный соблазну подделок), чернильный росчерк пера.

Как бы то ни было, на рубеже XIX–XX веков в криминалистике развернулась нешуточная борьба между так называемым бертильонажем и дактилоскопией, делающей первые шаги к поиску злоумышленников – а заодно и к тому, что можно было бы, в пику антропометрии, именовать антропологической семиотикой. Альфонс Бертильон обессмертил себя в истории тем, что, работая писарем в полицейской префектуре Парижа, первым сподобился фиксировать не только рост, вес или цвет волос задержанных преступников, но также и размеры отдельных частей их тела, как то: длину рук и ног, туловища, головы, стоп, пальцев, носа, шеи и даже ушных раковин. Он отказался довольствоваться грубыми и приблизительными – на глаз – портретными характеристиками, невольно подчеркнув тем самым мысль об исчерпанности лица как главного отличительного признака индивида.

Лицо и вправду дало слабину: его можно было упрятать под маской, неузнаваемо искривить гримасой или покрыть толстым слоем грима; иными словами, «поменять» на другое. Но и это еще полбеды: лицо могло быть изуродовано ножом, колотой раной от шила (в уголовном мире дело не редкое), обожжено пожаром или сожжено выплеснутой в него кислотой. Наконец, оно могло просто состариться, а о том, как гораздо старость меняет внешность людей, не стоит и говорить. Если сюда добавить вполне уже тогда ощутительные признаки кризиса гуманистической традиции как таковой, то подобная скомпрометированность человеческого лица покажется и вовсе закономерной...»

Дочитав абзац, он отрывает от страницы взгляд и, прищурившись, пытается отыскать тебя в шелестящей кронами тьме – дает понять, что не прочь услышать мнение конкурента о качестве предъявленной цитаты. Ты чувствуешь, что краснеешь, когда он, ухмыльнувшись, грозит тебе пальцем. Видеть тебя он не может, ты знаешь это наверняка, однако с настоящей минуты тебя не покидает ощущение твоей уязвимости. Немудрено: теперь тебе нельзя шевельнуться, чтобы не выдать собственного присутствия. Таковы издержки ремесла: соглядатай – это всегда ведомый...

Пошарив под столом, убийца извлекает оттуда бутылку и выливает в рот последние капли вина. Затем прикладывает горлышко к глазу, имитируя подозрную трубу, приветственно машет рукой в распахнутое окно,

после чего, разведя колени, ставит бутылку торчмя себе на штаны, в область промежности. Тщательно метится, причем настолько «зряче», будто это у него, а не у тебя, имеется оптический прицел. Подурачившись вволю, зеваает, потягивается и, не встав с кресла, вдруг швыряет бутылку в окно. Ты еле успеваешь увернуться. Дальше все происходит быстрее и как бы подробней. Ты стараешься сохранять хладнокровие, однако его выходка не на шутку тебя разозлила, так что пора показать, кто здесь хозяин. На правах демиурга ты решаешь воспользоваться своим преимуществом. Собрав волю в кулак, лепишь наскоро гневный посыл, снаряжаешь флюиды, целишь ими ему в средоточье, крошечный миг между им и тобой вдруг взрывается лопнувшей от натяжения нервов струною – и вот уже твой визави скорчился от казнящей боли в паху, которую поначалу ошибочно принял за реакцию мышц на резкое движение руки, вызванное давешним броском бутылки. Стиснув зубы и поднажав зрачком, ты вынуждаешь его содрогнуться, дико взвыть и электрически дернуться, задевая рогаткою локтя ковшик глиняной пепельницы с уткнувшимся в дно черпачком курительной трубки. Они падают на пол, разбиваются и, тараканисто разбежавшись осколками, обдают его ноги прахом сгоревшего табака. Изрядная часть отвратительной смеси (прогорклой окрошки из затоптанного огня, увядших раздумий и пепла) попадает точнехонько на измятый хвост белой прежде рубашки. Испачканный рудимент – твой ответ на показанный фаллос. Чтобы у соперника не осталось иллюзий, ты, как хлыстом, бьешь его болью наотмашь по причинному месту. Скрючившись в три погибели, он делает знак, что сдается. Ты позволяешь ему отдышаться. Однако недолго: надо двигаться дальше. Как и тебя, его тоже воротит от этих страниц, но это все, что у вас есть в эту ночь, – чужая история, которую вы так рьяно, так истово вождедели сделать своей.

Вам почти удалось. Собственно, это «почти» и есть причина того, что вы все еще вместе. Сочиненный тобой, он сочиняет взамен твои отраженья. Так рождается текст.

Повинуясь его интонации, он продолжает читать:

«Субъективности зрительной памяти, которой так славна была французская Сюртэ в эпоху ее основателя Видока и в пору внедряемых его последователями тюремных «парадов», когда инспекторам вменялось систематически посещать узилища, чтобы запоминать лица выгуливаемых перед ними заключенных, Бертильон предпочел объективность линейного измерения. Он доказал, что «разложенный» по миллиметровой шкале человек путем простого содружества цифр, полученных при обмерах его распостертого тела, неминуемо разоблачает свою уникальность, ибо все эти цифры в своей совокупности и образуют его истинную, столь обидную для злоумышленника (и любопытную для философа), неповторимость.

Система Бертильона, внедренная в начале 80-х годов девятнадцатого столетия во Францию и получившая затем широкое признание в Европе, страдала двумя недостатками: она была слишком громоздка и чересчур зависела от добросовестности тех, кому по долгу службы предписывалось осуществлять замеры. Иначе говоря, объективность данных зачастую подменялась субъективностью чиновного взгляда.

В этом смысле дактилоскопия обладала несомненными преимуществами. По сути, отпечатки пальцев стали играть роль того же лица, когда само лицо утратило качество достоверности. Трудно избежать искушения и не увидеть здесь некой лукавой символики: идея линейности в применении к человеку в который раз уступила идее круга. Прямая проиграла соревно-

вание дуге и овалу, и даже сердцевина отпечатка пальца – треугольник – являл собой сплошную замкнутость, тройную смерть прямой в подрезанной ограде все того же круга.

Наверняка найдется способ определить возраст дерева, измерив длину его ветвей, пронумеровав все листья и помножив полученный результат на константу, вычисленную по показателям углов ковырявших крону лучей. Однако куда как проще узнать, сколько лет оно хранило под собой свою безмолвную тень, если в какую-нибудь минуту пересчитать годовые кольца распиленного ствола...

То странное обстоятельство, что отпечатки пальцев с трудом пробивали дорогу сквозь завалы распухавших хранилищ бертильоновых карточек, объяснить в принципе не так и трудно: одно дело – расчленить целое на множество составных, чтобы затем собрать его из них же вновь, все равно что мотор из деталей; и совсем другое – восстановить это целое по крошечному узору детали *единственной*, да притом еще такой позорно малой и досадной, как палец. Создается впечатление, что по отношению к человеку (и его божественной предназначности) линейка представлялась все же более почтенным инструментом, чем линза микроскопа, привыкшего работать с микробами.

Однако есть тут, по видимости, причина и другого свойства: по-прежнему очевидная, хотя уже и не раз поколебленная, благосклонность общества к творимой им истории. Вера в то, что в основе ее лежит Провиденческий Разум и вектор «вперед». Пройдет совсем немного лет, и эта вера изрядно пошатнется, но, покуда она жива, любой круг, посягнувший на ее святую прямолинейность, будет восприниматься не иначе как опасная удавка, которую необходимо разорвать, прежде чем она затянется убийственным узлом.

Метафору с удавкой легко продолжить, если учесть, что дактилоскопия подбиралась к Европе сразу нескольких направлений: из Китая, Японии, Австралии, Бенгалии и даже из Нового Света (родины танго и Борхеса, а потому уже навек благословенной Аргентины). Круг сжимался, пока, наконец, не обрел очертания торжествующих папиллярных линий, которые, подобно географическим параллелям, узаконили свое пребывание на континенте раз и навсегда. Прежде других пленились англичане: в марте 1901 года Эдвард Генри, создатель системы дактилоскопической идентификации, был назначен шефом криминальной полиции Скотланд-Ярда. Вскоре «капитулировали» Шотландия, Ирландия, британские колонии и доминионы. Не стали долго упорствовать перед полезным новшеством Венгрия, Австрия, Дания, Испания и Швейцария. Германия «сдавалась» по частям: Дрезден, Гамбург, Берлин, Нюрнберг. Что касается Мюнхена, то он ждал еще пару лет, пока окончательно не уступил под натиском прогресса в 1905 году...»

Тут он делает паузу. Ладно пригнанный, текст оставляет его равнодушным. В нем нелегко обжиться и отыскать уютный уголок – изъян парадного фрака, надетого в дальний поход. В груди чуточку жмет, при каждом движении рук торчат отовсюду манжеты. С виду изящный, наряд неуклюж и, пожалуй, требует ножниц. Но сейчас и тебе, и ему явно не до того – скоро рассвет.

Упреждая сердитый толчок из окна, визави перевертывает страницу. И правильно делает – дальше как будто поинтересней:

«Медлительность Баварии обуславливалась не только привычным консерватизмом: первая же попытка применить дактилоскопию в процессе расследования, предпринятая полицмейстером заштатного приальпийского городка Дафхерцинг баронетом Гансом фон Траубергом, успехом не увенчалась – как разъяснял в отчете сам полицейский чин, «ввиду отсутствия искомого трупа». Освещавший события журналист «Байерише Тагблатт» съязвил по этому поводу: «Судя по победным служебным реляциям, блюстители порядка собрали невиданный в наших краях урожай в сто двадцать шесть отпечатков, включая два или три с ноги. Что и говорить, достижение! За него стоит и поощрить. Да вот незадача: по вопиющей коллективной прихоти ни один из предъявленных баронетом перстов не согласился покамест указать нам ни на убийцу, ни на место, где схоронился увертливый труп, ни даже на то, собирается ли этот последний предъявить, наконец, доказательства той несуетной респектабельности, что свойственна почтенным покойникам.

Увы, всякий опытный гражданин отечества нашего подтвердит вам за кружкой пшеничного пива: труп ненайденный – неблагоприятный мертвец. От такого только и жди, что чудачеств, к каковым, между прочих потех, причисляют игру в привидения, воскрешение из небытия или, Боже нас сохрани, второе пришествие. Памятуя о том, ваш покорный слуга признает, что, как видно, совсем неспроста в дни дафхерцингской командировки на ум ему приходила известная конструкция в три пальца. Поневоле задашься вопросом, как часто тогда она посещала полицмейстера Трауберга? Лицу заинтересованному предлагаем решить уравнение: поделить количество взятых в плен отпечатков на три и убедиться, что легкомысленная комбинация явила себя прогрессисту в мундире не меньше сорока раз (чувство меры понуждает нас опустить в расчетах отпечатки с ног: согласитесь, соорудить фигу из пальцев ступни – дурной тон даже на пляже, не говоря о таком серьезнейшем деле, как смертоубийство, пусть и убийство украденное)».

Борзописец как в воду глядел: убийство украли. Причем капитально – на сто лет вперед...

Любителям детективов будет нелишне удостовериться, что наличие трупа отнюдь не является непременным условием чистоты криминального жанра. В отношении же предлагаемой нами загадки убийство и вовсе не сравнится с кражей, затмившей его коварством путем изъятия из сердцевины сюжета ни много ни мало как самого *объекта преступления*.

Хоть и редко такое случается, но воровка-интрига все ж способна стащить у нас из-под носа ключевого персонажа, должностящего, по логике стереотипов, выступить в роли умерщвленной силком и нектати (правда, только на время) онемевшей жертвы, – кто-кто, а опытный сыщик сумеет ее «разговорить»! Благодаря такой вот краже труп отсутствующий вдруг обзаводится перед своим типичным коллегой рядом нешуточных привилегий. В отличие от мертвеца обнаруженного, не пойманный покойник избегает обидной необходимости разоблачаться на столе патологоанатома, пристойно скрыв от посторонних глаз не только телесную наготу, но и испод внутренностей, что, помимо очевидных эстетических выгод, сулит почившему право выбора – как способа собственной гибели, так и «доверенного убийцы» из списка действующих лиц. Пока детектив сбивается с ног, этот самодовольный хлыщ неспешно листает меню в бан-

кетном зале призраков, смакуя в фантазиях тонкости блюда, на котором его же впоследствии и поднесут в качестве угощения наиболее терпеливым из книжных гурманов, – если, опять же, останки продувного шатуна в конце концов отыщутся на маскараде в толпе особо привередливых усопших.

Есть среди полученных *трупом украденным* льгот и такая, которую иначе как возмутительной не назовешь, – дарованная ему возможность совсем отказаться от роли, отвергнув способ насильственной смерти как неприемлемый выход из ситуации, ставшей с некоторых пор куда как заманчивой: ему ли теперь не знать, что неуловимый покойник обладает свободой почти что запретной! В определенном смысле он оказывается «живее всех живых», не заметивших даже, как он навсегда забронировал место в эпицентре событий, обитая в то же самое время вне них...».

Отложив рукопись, он поднимает взгляд и напряженно смотрит в окно (где окно – это ты, только с другой стороны. Прав был Ницше: если смотреть долго в бездну, она сама посмотрит на тебя). Через минуту тебе становится невыносимо выдерживать взгляд залепленных тенью глазниц. Стоящая сбоку лампа отбрасывает свет параллельно его груди, так что разглядеть сами глаза не представляется возможным. Тебе приходит на ум, что в это мгновение он наконец обретает свое истинное лицо – дырявую маску, в которой при желании скверный вкус зрителя способен разглядеть мифологический лик слепца, пораженного столь неперменной для декораций эдиповых комплексов, *красноречивою* немотой (точь-в-точь как бегун объективом. Или лучше, чтоб выдержать стиль, пророк – низвергшимся откровением). Не давая ему сбить себя с толку, ты отрицательно мотаешь головой: курок по-прежнему взведен, так что лучше считать, что впечатление это подложно. Тебе ведомо, чего он добивается, однако его притязания вырасти в статусе смехотворны: неудачник распознает неудачника даже по запаху. От него несет потом и пеплом, в то время как мифы, есть подозрение, пахнут грозой. Хоть он изрядно тебя утомил, ты знаешь, что для расправы время еще не настало. Оно придет (коли не затеряется в путях сомнений) на самой границе с безвременьем.

Туда-то вы, собственно, и направляетесь:

«Говоря без обиняков, труп так и не найденный – заведомо больше, чем труп. В этом мертвом сосуде удобно обитает тайна – та прихотливая особа, что, несмотря на возраст, умеет всегда оставаться желанной, ибо наделена удивительной, даже по меркам столетий, живучестью и готова оспаривать сразу у нескольких поколений право их на забвение. Потому и по прошествии века, вроде бы совсем уж бесповоротно разменивающего без вести на удостоверение покойника, выдаваемое за выслугого лет, труп так и не найденный претендует на звание абсолютного долгожителя среди тех мертвецов, которые на протяжении десятилетий были живы куда как наглядней его.

Что же снабжает сей тлен столь могучею жизненной силой? Принципиальная разомкнутость сюжета заблудившейся где-то судьбы? Пожалуй. Неслучайна пестрота заголовков, предпосланных репортажам из Дафхерцинга в 1901 году: «Страшная драма на озере», «Трагедия без героев и героини», «Мистерия исчезнувшей русалки», «Кровавый натюрморт», «Анекдот про убийцу, у которых похитили труп». – путаница жанров налицо. Что, правда, не помешало вскорости окрестить приключившуюся историю «литературным делом № 1».

Внимательный читатель наверняка уже догадался, о каком деле речь. Остальным напомним, что именно там, в Дафхерцинге, в начале прошлого века свершилось преступление, не столько отяготившее кипами бесполезных досье анналы криминальной науки, сколько добавившее очередное пятно на и без того сомнительную репутацию изящной словесности. Ну а сто лет спустя сразу по трем адресам направлено было письмо такого вот содержания...»

В бинокль ты видишь, что он его даже не переписал. Просто вложил в свою рукопись, как вкладывает обвинитель уличающий документ в прокурорскую папку. Ты не можешь сдерживать улыбки: претензия на собственную достоверность – заурядное занятие для персонажа, переросшего размеры гомункула. Здесь они с автором два сапога пара, тебя ведь тоже хлебом не корми – дай возомнить себя настоящим, из плоти и крови, субъектом, способным, как любой *нормальный* человек, обходиться без сочинительства, довольствуясь пресноватыми утехами яви. И все же забавно: вложенное в рукопись письмо – своего рода верительная грамота, которую он, сочиненный тобой, предьявляет тебе как мандат, доказательство своей неподдельности. Хочешь не хочешь, а бумага – самый весомый залог реальности. В том числе и бумажной...

Итак, письмо:

«Мюнхен, 14 апреля 2001 г.

Милостивый государь!

Как Вам, должно быть, ведомо, 15 июня 1901 г. при загадочных обстоятельствах из своего имени Бель-Летра внезапно исчезла известная в культурных кругах Европы графиня Лира фон Реттау. Незадолго перед тем на только что построенную виллу ею были приглашены ее ближайшие сподвижники и друзья, именитые литераторы Гектор Фабьен (Франция), Мартин Пенроуз (Англия) и Василий Горчаков (Россия). Все они отрицали свою причастность к исчезновению хозяйки, чьим гостеприимством не преминули воспользоваться, когда узнали условия своего пребывания в сем сказочном по красоте и словно созданном для вдохновенного творчества уголке изобильной Баварии. В качестве своеобразной дани за три месяца блаженного отдыха на берегу озера Вальдзее им предлагалось написать по небольшой новелле, чей сюжет был бы навеян впечатлениями от виллы и окружавшего ее роскошного альпийского пейзажа. Однако событие, произошедшее спустя всего пятнадцать дней по их прибытии на место, в значительной степени нарушило согласие в планах. Унизительные допросы в полиции и павшие на писателей подозрения в убийстве хозяйки вызвали у них вполне предсказуемую депрессию и раздражительность, результатом которой явились взаимные упреки и последовавший затем памятный скандал, когда Г. Фабьен и В. Горчаков стрелялись на дуэли, а М. Пенроуз был вынужден играть двусмысленную роль их секунданта.

Хотя никто из дуэлянтов всерьез не пострадал, их дальнейшее совместное пребывание на вилле Бель-Летра сделалось проблематичным. Положение отягощалось тем обстоятельством, что более месяца полицейское управление городка Дафхерцинга, ответственное территориально за расположенные поблизости усадьбы, отказывало всем троим в возможности куда-либо отлучаться. В конце концов, благодаря многочисленным требованиям литературной общестности и, в особенности, резким письмам Р. Роллана, Б. Шоу и Л. Толстого, в начале августа 1901 г. разрешение на отъезд было получено. В. Горчаков отбыл в Баден-Баден на воды, М. Пенроуз воспользовался приглашением Австрийского литературного общества и уехал в Вену, а Г. Фабьен отправился во

Флоренцию, где, по слухам, его ждала любовница-итальянка, только что произведшая на свет младенца от французской знаменитости.

Определенное удивление вызывает тот факт, что спустя четыре недели, 25 августа того же года, все трое вновь вернулись в имение фон Реттау, чтобы обсудить свое положение и решить, что делать с огромным гонораром в тридцать тысяч марок на каждого, причитавшимся им взамен на удовлетворение условий заключенного с хозяйкой договора, то есть в случае публикации ими сочиненных на вилле новелл. Через три дня писатели расстались, чтобы больше уже не встретиться, а в октябре 1901 г. новеллы были изданы соответственно в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге. Душеприказчикам Лирфы фон Реттау не оставалось ничего другого, кроме как выплатить вышеозначенные суммы гонорара, невзирая на то, что имя пропавшей хозяйки было неприятным образом опорочено, ибо все три литератора, совершенно по-разному трактуя случившееся на вилле в ночь с 15-го на 16 июня, тем не менее сходились (и одновременно возмутительно расходились) в одном эгоистическом утверждении, свидетельствуя в своих произведениях, что Лирфа фон Реттау провела последние предрассветные часы своей короткой, но столь яркой жизни в объятиях автора предъявленного текста.

Разумеется, каждый художник имеет право на вымысел, но трудно отделаться от ощущения, что, к нашей вящей досаде, в данном эпизоде имело место ревнивое и, в общем-то, недостойное этих громких фамилий мужское соперничество.

Впрочем, все это сегодня широко известно. По-прежнему неизвестно лишь то, что на самом деле произошло тогда на вилле Бель-Летра...

Увы, возможности современной криминалистики, хотя часто и кажутся невероятными, все же не безграничны: и ей не под силу расследовать столетнее прошлое, когда любые следы давно стерты временем, а всякую надежду на обретение истины поглотил безразличный к вопросам прах. Единственное, что не сдается перед загадками древности, это воображение. Только ведь и оно зачастую умеет страдать близорукостью...

В отличие от простых смертных, подлинники художники обладают счастливой способностью превращать свое воображение в волшебный резец, пробивающий любые толщи лжи на пути к прибежищу правды. Вот почему Общество друзей Лирфы фон Реттау приняло знаменательное решение отметить вековую печальную дату с того ужасного дня приглашением Вас на виллу Бель-Летра, где Вам предлагается провести три месяца, начиная с 1 июня 2001 г., на тех же условиях, что были когда-то одобрены Вашим прославленным соотечественником. Надеемся, что в течение девяноста дней Вы попытаетесь раскрыть тайну исчезновения благородной хозяйки имения, все удобства которого на обозначенный срок предоставляются в Ваше распоряжение. По окончании трех месяцев мы будем рады выплатить Вам гонорар в тридцать тысяч немецких марок взамен на подготовленное к публикации произведение, в котором будет изложена Ваша версия произошедших сто лет назад событий.

Все транспортные расходы и оплату медицинской страховки, включая экстренную помощь дантиста, наше общество берет на себя.

На вилле Вы найдете все необходимое для приятного отдыха и успешной творческой работы.

Пожалуйста, соизволяйте ответить, принимаете ли Вы наше приглашение, до 15 мая 2001 г.

С уважением и заверениями в неизменном почтении

Элит Турера,
Сопредседатель Общества друзей Лирфы фон Реттау»

К середине мая одно за другим приглашения были приняты, в коем факте ехидный недоброжелатель почерпнет лишнее доказательство вполне мирской алчности, а то и криминальных наклонностей художественного сознания, вне зависимости от его этнического происхождения и представляемой географической широты. Принимая критику в адрес собирающихся в поездку литераторов, рискнем все же сделать ставку на читательское милосердие и терпимость к людским слабостям, особенно естественную, когда эти похвальные качества оказываются прочно замешаны на обоюдном – и потому вдвойне извинительном – интересе к чужим шкафам, чердакам и подвалам. В самом деле, разве не хочется нам тоже узнать, что же, собственно, произошло на пресловутой вилле и как удалось злоумышленнику так лихо припрятать молодое женское тело, что вот уже сто лет кряду оно не подает не только признаков жизни, но даже симптомов ее отсутствия? Неужто мы до такой степени лишены элементарного любопытства, что нас не влечет заглянуть в мастерскую того, кто, по недужному призванию своему, отвергающему напрочь брезгливость, не гнушается ворошить чужое белье там, откуда б не согласился в других обстоятельствах вытащить собственное исподнее? Ужели в нас хватит снобизма не воздать должное мужеству этого духовного гигиениста, чистящего авгиевы конюшни наших смутных догадок и подозрений? Так отвергнем же лицемерие и, пока писатели едут в Дафхерцинг, добираясь туда кто самолетом, кто поездом, кто – тем и другим, позволим себе краткий экскурс в историю, дабы чуть освежить свою память...

Родившись за тридцать лет до своего исчезновения, Ли́ра фон Реттау оставила по себе внушительное наследие из писем и дневников – как раз тот случай, когда обилие документов лишь сбивает с толку и размывает портрет. Дошедшие до нас суждения графини двойственны, поступки противоречивы, свидетельства современников пуганны, так что при всем желании не удается составить по ним сколь-нибудь четкое представление об особе, отметившейся в культурной летописи Европы сплошным каскадом вопросительных знаков, попеременно разбавляемых то флагштоками восклицаний, то семящей робостью венчающих абзацы многоточий – верных спутников тайны.

Несомненно одно: биография Лиры фон Реттау являет собой заманчивый символ эпохи, своего рода отпечаток пальца с младенческой кисти новейшего времени, по которому так соблазнительно будет восстановить нам искомый образ самого страшного века и понять, чего же в нем было больше – наивности жертвы или коварства преступника»...

Дальше читать он не хочет. Скомканные листы летят в окно. Ты смотришь во все глаза, как он, повернув к тебе спину, снимает штаны и, оставшись в чем мать родила, направляется к высохшему за лето в тоску и пыль камину. За отсутствием воды, он решает в него помочиться, потом зачерпывает оттуда золу и принимается смазывать ею тело, пригоршня за пригоршней, пятно за пятном, постепенно превращаясь в этакого крашенного блондином зулуса, блистательного в своей подвижно-рефлектирующей черноте. Затем пудрит голову пеплом, идет к столу и, обернув к тебе на секунду отсвечивающее антрацитом лицо, в тот же миг гасит лампу. Окно погружается в мрак. Ты слышишь, как хлопают ставни.

Визави больше нет. Тишина наступает такая, что в ней стыдно дышать.

Отодвинувшись от нее года на два, ты подбираешь из мусора памяти ворох упавших страниц и, пробежав еще раз начало главы, где мелькнут – совсем не случайно! – случайные, в общем, слова «фантом», «небоскреб», «притяжение», придумашь выход: аэропорт.

Так, пожалуй, и сложится: спустя месяц после купанья в фонтане твой приятель отправится в Хитроу, где выберет рейс на Нью-Йорк, куда благополучно прибудет ближе к вечеру 5 сентября 2001 года. Проведя там два дня и дав интервью, он переедет в Бостон, где, однако, станет всячески избегать запланированных встреч с журналистами и прекратит отвечать на звонки. В отеле возьмет за правило появляться поздно ночью, забывая снять темные очки и надвинутую на глаза бейсболку, по всей видимости, надетье еще рано утром, чтобы оставаться неузнанным во время прогулок по городу. Несмотря на маскировку, впоследствии найдется ряд очевидцев, утверждающих, что видели его стоявшим подолгу на пристани, где, опершись рукою о древние сваи, он заворожено глядел на океан (по топорному определению репортера «Бостон Уикли», точно призрак Улисса, узревший в тумане призрак «Мэйфлауэра». Киоскерша с причала, изучившая за три дня его спину не хуже собственного прилавка, выразилась куда поэтичней: «Не знаю, что мерещилось самому красавцу, когда он таранился на воду, а я готова была присягнуть, что это душа его уплывала в волнах, далеко-далеко, куда и не каждая рыба сподобится. Будто гладкий дельфинчик, которому в океане даже в шторм зацепиться не за что, – скользит да скользит, пока, обессиленный, не уткнется где-нибудь в дно. Больно уж гладкий для этого мира. Как глаз. Пригожий был, точь-в-точь из мрамора статуя. На такого любишься, а потом вдруг услышишь, что помер, и сразу подумаешь: а ведь я про него это знала. Потому как такие красавцы смерть свою, словно мелочь, все время в кармане таскают, на цепочке заместо ключа, отдают же по первому зову – как милостыню...»).

Однажды, в дождь, его якобы видели бродящим по аллее городского мемориала. Черный дождевик скрывал лицо капюшоном и ярко – совсем по-дельфиньи – блестел. Проплывая мимо надгробий (мрамор на мраморе!), лицо бормотало. Что – остается вопросом: если это и были слова, то того особенного наречия, с которым мало кто бывает знаком из живых посетителей кладбищ, что наводит на подозренье: вероятно, исподземный, беспроегрышный слух мертвецов куда как отзывчивей нашего. По крайней мере повстречавшаяся с плащом пара новозеландских старичков, справлявших путешествием по миру свой медовый месяц, приняла его бурчание за стихи, предположив в их приглушенной неровной походке поэтические фигуры Эдгара Аллана По. Поскольку по доброй воле, тем паче в дождь, редко кто согласится распознать в лопотании прохожего невнятное эхо поэзии, напрашивается непоэтический вывод: По – это Бостон, мемориал, хлещущий ветер и капюшон, вызвавшие ассоциации с «Вороном». Скорее всего стихов не было. Был лишь некто в черном дождевике и с белым лицом, которого на поверку вроде бы не было тоже: свидетельства седоголовых любовников не могут считаться вполне достоверными хотя бы из-за того, что в полицейском участке они четырежды опознали твоего визави по семи фотоснимкам, лишь один из которых запечатлел на бумаге сэра Оскара Дарси (слишком много, с точки зрения логики, щелкнувшей в этот момент математику по носу, – это вовсе как нет).

Чем бы ни занимался он в Бостоне, факт остается фактом: утром понедельника Дарси (как ему, однако, подходит это стройное имя! Имя-остров. Причем минимум дважды, если справиться с картой, составленной англо-ирландскими пращурами, одарившими Оскара знатными пофамильными тейсками) решает вдруг съехать из гостиницы, берет напрокат автомобиль и снова катит в Нью-Йорк, предварительно забронировав по

телефону обратный билет на Лондон.¹ Однако в пути внезапно меняет маршрут и перед самым Большим Яблоком сворачивает на окружную магистраль к Нью-Джерси, где останавливается в придорожном мотеле с красноречивым названием «Приют на обочине» (заверено его собственноручной подписью в книге гостей). Хозяин мотеля позже припомнит, что постоялец не раз в течение ночи спускался из номера, садился в машину и заводил мотор, порываясь куда-то уехать, но передумывал, ограничиваясь медленным кругом по автостоянке под звуки джазовой музыки, лившейся из включенного в его «Крайслере» радио. На дежурный вопрос: «Что, приятель, не спишься?» – Дарси отделался было учтивым оскалом, но затем, уже ступив на лестницу, обернулся к стойке и произнес: «Когда преследуешь парня, похожего на тебя самого как две капли воды, удрать не так-то и просто. Все равно что состязаться в скорости с надетым на ногу башмаком». Хозяин, признав гостя пьяным, дал ему добрый совет: как доберется до номера, вмиг разуться, улечься в постель и покрепче зажмурить глаза – мол, башмаку, даже очень английскому, за сном ни за что не угнаться. «А ведь правда, – тут Дарси с сочувствием поглядел себе на штиблеты, – этим снобам, должно быть, претит ковлять ночь напролет по обочине. Лучше уж им податься со мною в приют...».

Но, как видно, им в том приюте все-таки жало: уже в шесть утра постоялец разбудил хозяина, чтобы вернуть ему ключ от комнаты, сам же затрусил на стоянку, откуда, взвизгнув шинами, умчался в ньюаркский аэропорт. Доподлинно известно, что им был куплен билет в Сан-Франциско, на тот самый рейс, что спустя часы падет подбитой птицей в лесу Пенсильвании, не успев добраться до Белого Дома. Среди тел пассажиров тело Оскара Дарси обнаружено не было...

Так ты дал ему то, о чем он просил, – возможность исчезнуть. Целиком раствориться в мгновении. По примеру графини фон Реттау стать недостижимым для доподлинной смерти, а значит, для времени. Никаких публичных похорон, только блуждающий пепел, разносимый услужливым ветром по слезящимся нашим глазам. Сюжет его жизни отныне навеки разомкнут. Выходит, неисчерпаем (в том числе для тебя, соглядатай чужой тишины). Что ж, похоже, вы квиты.

Вопрос: куда девается то, что исчезло?

Ответ: судя по изложенным фактам, переселяется в наше воображение.

Вопрос: чем нам это грозит?

Ответ: подневольностью деспотов. Рабством тиранов.

Вопрос: а если без красивых слов, отбросив в сторону оксюмороны?

Ответ: занозой в темени. Что хуже – занозой чужого бессмертия.

Вопрос: означает ли это, что исчезнуть невозможно в принципе?

¹ Удивительно все-таки, до чего суетлив человек, забираясь в тупик своей жизни! В нервных и бледных попытках дорисовать наспех судьбу проступает обидное неумение подготовить достойно концовку, что не может не сказываться на самом авторитете финала: того и гляди, траурный, гордый мундир для прощального марша рискует слюняво обляпаться суматошными кляксами междометий и всхлипов. Смерть, как ни крути, есть главное предательство жизни. *Хладнокровный* и терпеливый репетитор, долдонящий бестолковым ученикам очевидную, в общем-то, истину, что всякий наземный, поверхностный смысл обязательно, в полчаса, будет схоронен (причем многожды – их же руками) в не очень глубокой бессмыслице ритуала, который с минуты кончины не случайно и есть «для всех прочих» торопливо-единственный смысл. Кстати, какой прохвост и когда поручился, что мы непременно сподобимся перед смертью посудачить с командированными за нашими душами бывальными тенями о смысле профуканной жизни? Если кто и станет заботиться о «заветной беседе у порога», так это сердобольный соглядатай – ты. Не обессудь: без конца сводить концы с концами – твое канцелярское ремесло. Недаром говорят, что у каждого свой ад. А значит, и свой стыд наверняка предусмотрен...

Ответ: напротив, очень даже возможно. За исключением тех редких случаев, когда исчезновение слишком наглядно для окружающих и сродни вызову на дуэль.

Вопрос: выходит, исчезновение «напоказ» являет собою способ того, как уцепиться за ниточку времени и продлить в нем собственное присутствие?

Ответ: не всегда. Все зависит от персонажа. Да еще (самую малость) – от автора.

Вопрос: остается узнать, кто есть кто?

Ответ: остается узнать, кто есть кто. И тогда, может быть, мы поймем, частичка кого из двоих осела на легких у нас крупицею горького пепла...

Пепел в легких; письмо; незнакомка; два стибренных трупа; между ними – сто лет. Плюс читатель. Плюс ты. Минус эта глава.

Чем не начало романа?..

ГЛАВА ВТОРАЯ (Ритуал)

Древнейшая и глубинная основа ритуала – символический переход между различными формами космического и социального бытия (живое – неживое, человеческое – сверхчеловеческое, природное – социальное и т.п.). В структуре ритуала важную роль играет посредник (медиатор) между соответствующими крайностями; в этом качестве может выступать жертва, герой, словесная формула.

Философский энциклопедический словарь

Первого июня две тысячи первого года в первом вагоне пригородной электрички Мюнхен – Тутцинг сидел у окна пассажир, впервые почтивший своим пребыванием Баварию. Разглядывая своих иноземных попутчиков, на каждого из которых приходилось по велосипедному колесу (сами «железные скакуны» смирно стояли в проходах, подвязанные к стойкам поручней короткими цепями; цепи были снабжены небольшими замочками; замочки исправно защелкивались), пассажир размышлял о том, как далеко он оказался вдруг от того, что составляло его привычную повседневность. Покинув утром свою московскую квартиру и уже к обеду отдалившись от нее на пару тысяч верст, он ощущал характерное для резких перемещений чувство подмены, когда то, что ты есть (как бы ни было мало о том представленья), внезапно становится тем, чем ты не был еще никогда, или, напротив, был всегда, но не знал, что ты – это тот, кто тебя подменяет. Путешествие, думал он, – недурной способ постигнуть призывную волю пространства, указующую на беспочвенность устоявшихся соображений о том, кто мы есть, сталкивающую нас лоб в лоб с реальностью неузнавания себя, которое, собственно, и является наилучшим себя узнаванием. Пока сжата пружина не поспевшего за скоростью передвижения времени, можно лелеять надежду, что ты – это несколько больше, чем ты. Или, скажем иначе, ты – не совсем это ты. В любом случае имеем в активе прибывок. Не потому ли, раздумывал он, в броске вон из руслу тягучего времени в протяженность пространства обретается нами мимолетное безрассудство отрады? Пусть на поверку радость оказывается сродни усладе щенка, метящего струей еще не обжитую территорию: когда пружина за спиной разжимается, мы снова оказываемся в плену у самих же себя. Однако не сетовать же на смирительную рубашку тому, кто в ней так нуждается! Мы добровольцы, думал он, разминая в пальцах билет, добровольцы своих поражений. Пассажиры бесчисленных поездов, увозящих нас лишь туда, где мы и есть только мы, на какие бы расстояния ни удалялись от себя в попытке стать хоть самую чуточку больше...

Мысль была избита, как и все, что посещало его в последние месяцы. Истощенность сознания, излечиться от которой он не мог вот уже год,

рисовала повсюду, куда бы ни бросил он взгляд, размытый автопортрет – неряшливый черновик с пустыми глазницами и вялым провалом рта, где, как в черной дыре, гибли рой за роем невнятные образы и слова, оставляя на губах привкус проглоченной шелухи из сладковатого воска, горькой пыльцы и пережеванных пчелиных крыльев.

От нечего делать, слепо тыча глазом в окно, он додумывал скуку узорами формул: настоящее, как ни старайся его обелить, – всегда черновик, исчерканный подробностями нашего бесполезного дрейфа по навязанной дневным светом бессоннице. Лишь когда та причалит к спасительной гавани памяти (*покладистой обманщицы, чья подсохшая красками карта утаптывает наши петляющие следы в иллюзию фрейденого пути*, изловчился готическим росчерком он), станет сподручнее паковать в дорожные сундуки канцелярские папки подменных сюжетов о том, кем мы были. Коли так, то память – вот оно, ч.т.д.! – и есть антипод пустоты. Хлопотливый редактор, переписывающий набело черновик, вымарывая из него свидетельства очевидцев о тоскливой растерянности, что накатывает на нас всякий раз, стоит остаться наедине со своим ослепшим глазницами автопортретом, заключенным, как в толстый багет, в квадратные скобки мгновения. Настоящее же, рассудил он, отчего-то дрогнув коленом, в своем чистом, беспримесном виде – апофеоз бессюжетности. Своего рода запор, не пускающий елозящее колесо ожидания оторваться от стального поручня времени даже на очень крутом повороте. Уповать, думал он, разрешается лишь на случайность. Ниспосланный сигнал извне, который мы, в надежде собрать по крупичам ускользающий смысл, присваиваем своему озарению. Вот почему, думал он (точнее – подумало в нем что-то вдруг оживающим эхом), когда тыходишь под вечер в подъезд, достаешь ключ от почтового ящика, съешь его в паз и, едва раздастся щелчок, слышишь вдруг за спиной распоротый воздух и плотный, глухой звук падения (безобразно похожий на тот, что издает оброненное на кафель яйцо), в твоих пальцах уже лежит конверт, а сам ты, еще прежде, чем обернуться и снова выйти на улицу, ни с того ни с сего вспоминаешь свой давешний сон, – когда все это происходит с тобою в один и тот же миг, трудно отделаться от искушения не связать воедино все три события и не пойти у них на поводу. Стоя на тротуаре, в двух шагах от тела с расколотым черепом, из-под которого, выводя в пыли двойным овалом густеющий знак бесконечности, сочится по асфальту кровь, ты тупо смотришь на чужую внезапную смерть, с благодарностью подмечаешь, что она милосердно повернула к тебе затылок с копной женских волос. Потом ты пятишься вон из толпы, из ее криков, возни и алчного шепота, чтобы скорее укрыться за дверь, обитой искусственной кожей, и долго моешь, бормоча трусливо заклятья, ладони. Тебе хочется верить, будто ты еще пьян, но это неправда: страх твой трезв, как и неподвластное мылу твою отвращение к себе. Наконец тыходишь из ванной и садишься на кухонный табурет, обхватив руками отяжелевшую голову и чувствуя, как пульсирует толчками в висках минута непоправимого пробуждения, уже запустившего маховик воображения, которое с одержимостью робота, оставленного хозяйничать в создавшей его мастерской, принимается сводить воедино разрозненные звенья, казалось бы, заведомых несовместимостей. Механическому конструктору вполне хватит паузы между твоим вдохом и выдохом, чтобы на свой бесчеловечный лад выковать из разнородного материала (позабытого сна, падения тела на мостовую и обнаруженного в ящике конверта) цепь закономерности, так что содержимое письма тебя даже не удивляет, когда ты, покорившись воле чеканящей рифму машины, удосужишь его прочитать. Телефонный звонок окажется, в общем-то, кстати:

– С днем рождения, – скажет Веснушка, и ты spolна ощутишь гнет дурных совпадений. Тут еще за окном хлынет дождь.

– Погоди-ка, – прижав плечом трубку, ты потянешься за сигаретой. Закурив, зажмуришься, чтобы ни в чем не соврать, и приступишь к допросу: – На тебе сейчас белое платье, ты стоишь босиком, прислонившись к

цветку на обоях, и скоблишь пальцем пятнышко на трельяжном зеркале в спальне, хоть оно совсем и не пятнышко, а старая грустная трещинка, в которой упрятана твоя самая главная тень... Так?

– На мне белый халат, и стою я к трельяжу спиной. Тень валяется где-то под боком, сломавшись по милости плитуса. Беглый осмотр ее поясницы склоняет к диагнозу: радикулит. Между прочим, ее караулят утята (я к тому же и в тапках! В тех пушистиках, одного из которых ты как-то пытался намылить, перепутав его с банной губкой). Итого – четырежды мимо. От возлияний у снайпера сбился прицел? Это где ж ты сегодня кутил, ясновидец? Я звоню в пятый раз.

– И в последний. Если б я и сейчас не ответил, ты бы отправилась спать. Угадал?

– Прозорливо.

– А еще ты дала себе слово, что забудешь мой номер. Теперь-то попал?

– Прямо в яблочко. Ты просто шаман. Не забыл развести ритуальный костер?

– Не забыл.

– Ну и как?

– Чем ближе ночь, тем зазвонистей пляска подкупленных духов... Не желаешь встать в круг? Будет шанс потрясти организмом в такт бубну. А что? Справим ватагой праздник чертей: колдуну нынче – трижды тринадцать.

– Тридцать девять. Возраст «минус один». Признайся: похоже на перекур у пограничного столба?

– Что-то вроде того. Причем столб – в форме градусника.

– Возраст-термометр. Фиксирует градус сезона душевных простуд.

Коли так, берегись эпидемий морального гриппа.

– Возраст оплаты счетов по грехам.

– Возраст аптек и причастий. Период аптечно-церковных свечей.

– А еще, говорят, год суровых проплешин.

– Nota bene, Суворов: возраст первых последних любовниц.

– Увы. Если все это взять и помножить, итожа, на рожу...

– С ней что-то не так?

– С ней все так, как бывает с лицом, когда оно въелось в тебя и растет. В тридцать девять ничто не растет, а оно... единолично в тебе прибавляется.

– Возраст мордастого роста.

– Возраст враста в гипертонию и, чур меня, не дай Бог, – в простатит.

– Глупости. Возраст как возраст. Тебе по плечу. Я бы даже сказала, этот возраст тебе – по плечо.

– Намекаешь на то, что шаман постарел задолго до чертова возраста?

– Намекаю, что стар он с пеленок.

– Самое время тебя проучить. Предлагаю с повинной прибыть на такси и войти добровольно в костер.

– Не хочу. Слишком поздно. Несмотря на непоздний твой возраст...

– Вот как?

– Да. Не хочу. Но, хотя я приехать к тебе не хочу, не хочу я приехать к тебе потому, повторяю, что уже слишком поздно.

– Уж не хочешь ли ты (хоть и нехотя) пригласить в свою одинокую спальню *меня*?

– Опоздал. На ночь я запираю все двери.

– У меня есть отмычка.

– Не смейся. Для вора ты слишком ленив.

– Тогда как я проник к тебе давеча в сон?

– Что ты мелешь?

– Ты просто забыла. Вот послушай: прошлой ночью мы вместе лепили снежки. Твои влажно искрились, а мои получались скомканней, меньше, бледнее, да еще и потели в руках, будто внутри у них гнездилась хворь...

– Сыро, холодно, но поэтично. Особенно «гнездилась хворь». Любопытная парочка взломщиков. У тебя, значит, были пособники?

– Только ты. Мы лепили с тобою снежки и складывали их на берегу узкой реки, возводя высоченную стену.

– Символично, но все еще холодно, Суворов. И зачем та стена?

– Отгородиться от черной воды, чьи волны чуть слышно бились о камни – шлепп, шлепп, – и этим ровным, укачивающим сознание шлепаньем очень нам досаждали. В этом хлюпающем, плоском звуке явственно ощущалась какая-то непристойность, как если бы в ночной тени совершалось совокупление двух безразличных друг к другу, давно утомленных существ. Даже не существ – *существа*, этакого андрогина-прародителя, создавшего все пространство вокруг, кроме, может быть, нас... Итак, мы строили стену из снежков, а я с тревогой подмечал, как всякий раз ты, задев ее распущенными волосами, нечаянно уносишь в них блестящую пыльцу, отчего постепенно воздвигаемая нами преграда лишается белизны, превращаясь в застывшую серую пену. На ощупь она казалась глухой и мертвой, как... – запнулся, пытаюсь найти сравнение.

– ...Как пепел?

– ...Как *подмороженный* пепел. (Вот видишь, ты уже и сама вспоминаешь!) Было странно, что ты на это не обращаешь внимания и все так же лепишь снежки, только те, едва заискрившись, тут же, стоит тебе вскинуть голову и смести волосами сверкающую крупу, тихо гаснут в них и высыхают в пыль. Стена все растет и растет, но ленивый плеск волн раздается по-прежнему вятно.

– Шлеп, шлепп...

– Осознав бесполезность трудов, я сдаюсь, у меня опускаются руки, я мну пальцами снег, он крошится песком, и песок, становясь настоящим песком, осыпается в прах и желтеет.

– Шлеп, шлепп, шлепп...

– Ты подбираешь с земли яркий, еще целомудренный снег, разгибаешься, ненароком ловишь мой взгляд и, улыбнувшись, вдруг просишь: «Притворись, что ты есть. Тогда я притворюсь, что тебя не узнала». Потом несколько раз повтораешься, словно это какой-то пароль: «Притворись, притворюсь, притворимся...», выводя слова ногтем по рыхлой щербатой стене. Я же упорно молчу, пока осыпающийся тебе на ладони песок притворяется девственным снегом.

– Ночь между тем притворяется сном...

– Слышно, как хлупает лоном волна-андрогин. Под луной почему-то совсем стерлись все твои крошки-веснушки...

– Что потом?

– Не в силах побороть желание крушить все преграды, я с размаху бью по стене кулаком. Она валится (но не с грохотом – с шепотом: очень тихо, даже как будто бы подло), и опять предо мною змеится, чернее угля, облитая потоком река. По ней что-то плывет...

– Разумеется, труп.

– Разумеется, очень живой.

– Разумеется, женщины.

– Разумеется.

– Мой?

– Не совсем. Скорее отчасти.

– И какая же часть в нем моя?

– Точно уже не скажу. Но как будто филейная.

– Реке повезло. Даже если она из стекла, а труп чересчур егозлив, оцарапаться им ей теперь вряд ли придется.

– Река из стекла? Может быть. Знаешь, это даже логично: сон как черное зеркало тайных страхов души, по которому чинно и гладко плывут мертвецы...

– ...Обернув к нетрезвому зрителю округло-филейные части. Занятный фрейдистский посыл. В туше водятся также мослы, лопатки, грудинка и вымя.

– В данном случае – перси.

– Ого! Эта часть, признаю, не моя: не хватило природного пафоса. Ну а ты, стало быть, к ней нырнул – если «перси»?

– Я не смог.

– Вот так да! Отчего ж оплошал? Пооди, труп тебя звал?

– Говорю тебе, я не смог...

– Судя по голосу, правда. Ужели трусливо проснулся?

– Трусливо настолько, что сразу про сон и забыл. Ну, что скажешь?

Он загасил сигарету. Дождь скользил по окну и, должно быть, внизу за окном замывал бесконечность кровавой восьмерки асфальта в грязноватую муть бесконечной воды. Вплетаясь косичкой в поток, сквозь решетки под домом бесконечность, как водится, юрко сливалась в дренаж...

– Мне кажется, сон твой несложен. Шифр здесь в том, что снежки – это слова, с чьей помощью ты пытаешься отгородиться от мира. Не успев затвердеть едва найденным смыслом, они тут же тают, потому что больны твоим постоянным сомнением. Верить моим словам тебе легче: они незатейливы. В них нет ничего, кроме... обыкновенной нечаянности, свойственной просто словам, у которых, как, к примеру, у ветра или у бабочек-однодневок, есть только одно измерение – сейчас.

– Ветреные слова. Слова-бабочки. Слова-веснушки.

– Никудышный стройматериал. Потому-то у нас с тобой ничего и не строится. К тому же из меня плохой подсобник: я тот каменщик, что ненавидит стены.

– Каменщик-разрушитель. Каменщик-заговорщик. Франкмасон.

– В глубине души ты это понимаешь. Оттого и вынужден признать, что проиграл, и, когда сносишь своими руками протухшую стену, тебя подмывает кинуться в реку, где уже тут как тут – соблазнительный труп. Да еще и нахально живой. Вот тебе и ответ...

– Доктор, будьте добры пояснить.

– Поясню: для тебя все живое – помеха, потому что его не поймать на кончик пера – ускользнет. Вернее, поймать ты поймать, но рыба, того и гляди, сорвется с крючка, коли не оглушить ее тотчас живодерским ударом о плиты из книжных обложек. Большею частью ведь ты не живешь наяву – ты словно *читаешь* про жизнь, причем разбираешь порой только то, что написано собственным почерком...

– Неправда. Я читаю лишь то, что написано кем-то другим. В том и штука, что почерк мой мне самому до сих пор неизвестен. Потому и пишу, чтоб понять, где проходит граница между мной и не-мной. Только это похоже на стену из сна: она всегда ненадежна и тает... Ну вот, дождалась: я тебя ненавижу.

– Пошел к черту, дурак.

– Лучше ты ко мне...

– Повторяю: шаман опоздал. Живой труп наплескался в его черных реках – до одури.

– Ты не труп, – сказал он и подумал: «Труп, вероятно, уже увезли. Ну а тот, что в письме, пока третий лишний...». – Приезжай.

– Для чего?

Он подумал: и вправду, зачем? Слишком поздно... Тербя кончик носа, предложил ей, но как-то уж слишком гнусаво:

– Соблюсти худо-бедно приличия. Выпить, расстроиться, потом выпить еще, посмеяться. Потом одним махом допить и, коли будет не лень, отправиться в спальню играть в андрогина...

Труп-трубка вздохнула:

– Пошляк. Тебя, как всегда, выдал голос: таким не зовут, таким голосом прячутся. С днем рождения, классик! Пойду-ка я спать. И не вздумай ко мне притащиться. Да, вот еще: снег в апреле – это, право же, гадость. Целую...
Дальше пунктиром – гудки.

Насколько он помнил сейчас, ночь уместилась в конверт. Наутро, проснувшись, он размышлял о том, что листы на столе, возможно, и есть весточка случая. Тот шанс отряхнуть с себя свою тень, которого он ждал весь год. Пока сочинял ответ с согласием принять пришедшее по почте приглашение, он испытывал подобие тревожного волнения, словно грядущее путешествие заключало в себе не только сиювременность бегства, но и сюрприз прибытия – туда, где холостая инерция его воображения обретет созидательный импульс (если угодно – так творческий пульс). Внезапность поездки, подчеркнутая серией совпадений, обещала если не близость оригинального приключения, так хотя бы нетривиальную завязку некой фабулы, авантюристкой которой была заявлена предложенной ему ролью расследователя давних и, без преувеличения, таинственных событий, говоря в пользу того, что скучать ему вряд ли придется: судя по письму, новизна впечатлений гарантирована недель на двенадцать вперед. «Кабы не это, сидеть мне сейчас у себя за разбитым столом на покосившейся даче и проклинать свою немоту. Печальная диалектика писательского удела: вручают все, что угодно, кроме разве тебя самого. Даже чья-то столетняя смерть, знакомая лишь понаслышке. Что ж, посмотрим, сколь живителен этот смертельный источник. Нам убивать не впервой...».

После этого вывода оставалось только зевнуть. Он и зевнул, отвернувшись к окну от сидевшей напротив блондинки типично баварского возраста (так он про себя определил состояние между тем, что уже испито от жизни большими глотками и отмыто дежурной слезой в католической церкви на мессе, – и тем, что еще предстоит выпрашивать по капельке у судьбы, чтобы затем вымалывать за это на исповеди очередную толику снисхождения). Ландшафт за окном был все тот же – нескончаемый лес. Разделив с ним немой крик зевка, отпечатавшегося на стекле хищным полускоком, пассажир умерил его свирепость рукой, скобкал в горле ликующей хмык, сыто хлопнул влажнеющим веком и, чтобы чем-то заняться, вытащил из кармана штанов заломленное по хребту письмо. Подумал (злобно и скардно): коли б мое воображение всегда шло по такому тарифу, я бы строчил рассказы не хуже швейной машинки Зингера. А что? Мог бы стать таким Сальвадором Дали от литературы. Чем не способ убедить себя в собственной гениальности? Или, на худой конец, обрести материальную компенсацию за отсутствие таковой...

Если не считать затянувшегося творческого бесплодия (довольно бабского состояния, сравнимого, как ни странно, по ощущениям разве что с растянутой за пределы всех человеческих сроков беременностью), минувший год выдался удачным, и даже на редкость. Добросовестно памятуя о том, что везение бывает обманчиво, а для прозаика часто губительно, Суворов воспринимал свой внезапный успех иронично – как черную метку, вручаемую под аплодисменты за то, что ловчее других отыскал свой тупик. Полоса препятствий успешно преодолена, а, едва отдышавшись, ты вдруг узнаешь, что следующий номер программы – полоса неудач. Все, что тебе полагается, – майка лидера...

Его последний роман был встречен критикой хоть с долей недоверия и настороженности, но в целом приветливо и уже успел получить две престижные премии плюс несколько номинаций на менее весомые награды. Московский агент Суворова был по-мальчишески возбужден переговорами с десятком солидных издательств от Франкфурта до Осло и смотрел в будущее с нехарактерным оптимизмом, разрешая себе лирический прищур в окно при слове «хэлло», донесенном по телефонному проводу в его

избирательный слух секунда в секунду с ураганным гудком из водопровода соседки, спустившей мажорным аккордом туалетный бачок, – по-своему, рассуждал посетитель, чертовски уместное напоминание об амбивалентности жизни. Глядя на своего посредника меж вдохновением и гонораром, на то, как тот «ведет дела», упиваясь своим корявым английским («Ай джяст вонтед ту телл ю, зет май кляйент из вери саксесфул...»), Суворов думал о том, что ощущать себя просто товаром не лишено увлекательности. Ну-ка, кто там быстрее и больше?.. Будьте добры, еще пару гирек для равновесья сюда... Продаваться так споро, наглядно оказалось азартным занятием. Известное дело: блеск куртизанок какое-то время затмевает грядущую их нищету. Ощутив же ее приближение, Суворов вынужден был согласиться, что, в общем и целом, все для него в этот год складывалось слишком уж гладко и оттого иногда ему было немножко брезгливо и стыдно, как если бы он после бани перепутал, надев на себя чужого размера трусы. Все шло – пусть только внешне, зато – подозрительно благополучно – к тому, чтоб оформить надолго правдивый сюжет. Но, поскольку сейчас из окна электрички пассажиру моргала, приветливо щелкая шустрым лучом из-под крон, зеленая юбкой Бавария, сюжет этот жил, развивался.

Суворов посмотрел на свою случайную спутницу и, прочитав ее ожидающее смущение, вдруг тоже взял да и подмигнул. Немка отпрянула, словно застигнутая у замочной скважины, отвернулась к стеклу и симпатично зарделась щеками. В ответ пассажир комично нахмурился, потом покаянно и дружески улыбнулся, машинально отметив, что никто не умеет так самозабвенно краснеть, как баварки на склоне отчаянных лет. Наверно, тому есть какое-то объяснение, но привязывать это к изобильным, как Альпы в окошке, линиям чуткого бюста напротив показалось ему преждевременным (тут же мелькнула надежда – пока!), так что он, поглядев на часы, предпочел ненадолго вздремнуть.

Лицо его потекло, опростилось, стало вроде бы даже смиренным, как будто увидело в сомкнутом омуте глаз отражение теплой, рачительной грусти. На целых двадцать минут жизнь сделалась вкусной, как первая порция пива, что смаковал он полчаса назад на мюнхенском вокзале, перед тем как сесть в электричку. Жизнь была уютной и маленькой, размером с упругое сердце, послушно внимавшее стуку колес. Покуда он спал, она бесшумным и легким, как солнечный зайчик, глазком скользила вперед и вперед...

На железнодорожной платформе Дафхерцинга Суворова поджидало такси. Шофер держал табличку с его именем и был серьезен и молчалив, ограничившись безразличным кивком на его попытку завязать разговор.

Путь до виллы занял не более трех минут. Водитель помог ему с багажом, поднялся по лестнице, отпер дверь и откланялся, не дожидаясь чаевых.

Пожав плечами, Суворов проследовал в апартаменты.

Комнат было три, плюс крохотная кухня, стандартная ванная и приталенный деревянный балкон с видом на Вальдзее. Вид и вправду был восхитительный: пышный лес сбегал вниз к самому берегу, глазастое бликами озеро, шурясь на свет, пускало рябью морщины, сдувая, как пену, на берег волну. Окрест крахмальным воротничком дыбились франтоватые Альпы. Кое-где на вершинах томился отвергнутый временем снег. Солнце свободно играло лучом сквозь спешащие в дождь облака, мерцая в них синим огнем вожделения – то ли грозы, то ли нестрашной угрозы. Ветер гнал за собою набухшие тучи с востока, холодя приятно сознание и грудь. До катарсиса рукой подать, подумал Суворов. Уже пахнет ливнем.

Приняв душ и переодевшись в домашнее, он подошел к письменному столу и взялся изучать лежавшие на нем бумаги: черно-белый буклет; опись мебели; расписание пригородных поездов; контактные телефоны полиции и профильных докторов. Педантично составленная инструкция на трех языках – немецком, английском, французском – уведомляла о том, в

какие часы подается еда и как можно сделать заказ. Отдельная страница посвящалась библиотеке, в которой посетитель, если верить печатному слову, мог найти словари, энциклопедии, справочники, а также *всю* когда-либо изданную литературу о Лире фон Реттау и ее, скажем прямо, довольно невнятной судьбе. В отдельном конверте обнаружен был ключик. Бирка гласила, что это – от бара в столовой. В тот же миг рухнул дождь.

– Вот и славно, – клокотнул горлом гость и откинулся в кресле. – Сейчас грянет гром.

Дождь он скорее любил – по давней, небескорыстной привычке. Вслушиваясь в диалог, в котором каждый из участников (от кровли и листьев до гравия и водосточных труб) без всякой фальши исполнял свою партию, трудно было не оценить оркестровку и выучку ведущего мотив дирижера, чьи серебристые палочки рисовали в кротком лепете воздуха чистый узор невесомой, подвижной, манящей, мерцающей глубины, из которой – в эти минуты можно было в том поручиться (как всегда, наверное, зря) – и собрано вещество мироздания. Чтобы приблизиться к ней в повестях, Суворов грешил плагиатом: дождь часто его выручал, когда персонажи уставали от слов и нужно было, чтоб заговорило небо. Как правило, оно умело говорить красноречивее самих героев, и тогда Суворов гадал в полусумраке тихих сомнений, то ли это его не подвел пронизательный слух, то ли дело все в том, что его персонажи косноязычны. Стоило ему оторвать взгляд от, казалось бы, ладно и стройно растущей страницы и посмотреть за окно, как мир *наяву* являлся взору совсем не таким, каким ощущался в минуты созидающего его за пишущей машинкой труда, отчего результат этого труда представлялся Суворову-демиургу досадно-ничемным.

Так было почти что всегда. Научиться с этим мириться, никогда до конца не смиряясь, и значило стать литератором.

Вслед за громом пришло чувство голода. Судя по расписанию, до ужина оставался целый час. Отдавая дань вежливости, гость решил обследовать виллу.

На втором этаже, под своею мансардой, он увидел три двери. Две из них были заперты; из замка третьей торчал бронзовый ключ. Повернув его, Суворов вошел в комнату, заставленную по периметру разноцветными кольчугами стеллажей. Посреди глянцевиными черепашками громоздились письменные столы. Из угла шерился, приоткрыв наשמеливо пасть, копировальный аппарат. При всяком шаге паркет постанывал под каблучком, затем, примятый носком, пискляво скрипел, словно где-то под ним, в подбитой изнанке столетия, трещало изношенное сукно, сильно траченное молью забвенья. Шкафы, провожая любое движение стеклом, церемонно звенели щитами разболтанных створок.

Поискав глазами по полкам, Суворов наугад вытащил том. На корешке значилось по-английски: “Disappearance of Lira von Rettau. Investigation Materials.” Следуя милосердной привычке давать шанс случаю, встряхнул книгу, зашуршал ногтем по колоде листов и проворно поставил ее «на попа», обернув нутром к столешнице. Потом зацепил пальцем за образовавшуюся щель и развернул обложку. Книга открылась на тридцать девятой странице. В выпавшем числе Суворов углядел удачу и, прищелкнув языком, с охоткой взялся читать:

**«Дополнение № 2/4 от 19 июня 1901 г. к отчету № 3812/1
полицейстера г. Дафхерцинга, баронета Ганса фон Трауберга**

В ходе дознания по делу об исчезновении хозяйки виллы Бель-Летра 16 июня с.г. мною сняты показания с г-на Мартина Урайи Пенроуза, 44-х лет от роду, английского лорда и литератора, в которых он упомянул о том, что Лира фон Реттау прибыла на виллу в двухместной пролетке в сопровождении куче-

ра, лично внесшего в здание саквояж. Иного багажа при исчезнувшей не было. Насколько лорд Пенроуз мог разглядеть из окна столовой, покидая экипаж, хозяйка имения в одной руке держала книгу в кожаном переплете зеленого цвета, а в другой – позолоченный лорнет, из чего опрашиваемый заключил, что г-жа фон Реттау в дороге читала и, по всей видимости, прервала это занятие лишь по прибытии на виллу. При осмотре личных вещей пострадавшей на прикроватной тумбочке обнаружен книжный том, соответствующий полученному описанию. Им оказался роман на английском автора Джозефа Конрада (издательский дом «Вильям Блэкуд и сыновья», Эдинбург – Лондон, 1900 г.).

По внимательному изучению, на полях некоторых страниц обнаружены острые вдавливания, похожие на следы женского ногтя. Есть вероятность, что это пометы, сделанные г-жой фон Реттау напротив особенно впечатливших ее изречений. Привожу их полный список:

«Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булава гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой». (Помечено двумя вертикальными чертами равной длины).

«...Мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить». (Помета нервная, кривая, под углом к печатному тексту).

«...Я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные свои уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания». (Помечено двумя чертами).

«Некомне он обращался, – он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни – совладельцем его души». (Одна вертикальная линия и две короткие царапины под нею, похожие на подчеркивание).

«Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи». (Три вертикальные черты и одно подчеркивание).

«Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться». (Черта едва видна. Возможно, это всего лишь фабричный дефект).

«Стойкость мужества или напряжение, вызванное страхом? Как вы думаете?» (Вдавливание, очень глубокое, едва не продравшее ногтем страницу).

«Проклятие бессмысленности, какое подстерегает все человеческие беседы, спустилось и на нашу беседу и превратило ее в пустословие». (Две вертикальные черты, похожие на два восклицательных знака).

«...Мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника». (Три вертикальные черты и подчеркивание ногтем прямо по тексту).

«Мне стало ясно, как трудно иной раз бывает заговорить. Есть какая-то жуткая сила в сказанном слове...» (Две перекрещивающиеся прямые, наталкивающие на мысль, что читать их нужно как большой знак плюс).

«← Есть только одно средство. Только одно лекарство может исцелить нас: чтобы мы перестали быть собой!» (Сразу четыре черты напротив фразы).

«Он ушел, так до конца и не разгаданный...» (Короткие вертикальные черты с обеих сторон напротив строки).

Составлено 19.06.1901 г. в г. Дафхерцинг, Бавария.

Заверено личной подписью: «Г. фон Трауберг».

Все три страницы пронумерованы и сшиты между собой».

Все-таки любопытно, как, даже исчезнув совсем без следа, человек успевает после себя оставить пометки – на полях чужого романа. Интересно, задумывался ли полицмейстер фон Трауберг над такой вот, достаточно горькой, но неотменяемой истиной: как бы мы ни старались высказать что-то свое, нас уже написали – другие... Не выпуская тома из рук, Суворов подключил ксерокс к сети, уложил разверстную книгу на экран загудевшей машины и, уменьшив вдвое масштаб, нажал кнопку «копировать». Спустя секунду аппарат выдал страницу, а затем, к удивлению гостя, – еще одну. Гудение тут же сменилось покладистым урчанием домашнего питомца, словно машина задалась целью завоевать расположение посетителя, распознав в нем хозяина.

Вернув том на место, Суворов покинул библиотеку. У выхода на стене пылилась пробковая доска. Поразмыслив, он прикнутил к ней экземпляр снятой только что копии, второй сунул в карман штанов, после чего спустился на первый этаж.

Половину его занимала столовая, из которой на кухню вела дверь с без труда угадываемой надписью «Посторонним вход воспрещен»; отсюда уже раздавалось бойкое треньканье кастрюль и многообещающее шипение. Он вернулся в вестибюль, оглядел резные китайские кресла с круглым столиком, осмотрел пейзаж на стене (девятнадцатый век, «Грюндерцайт»), распахнул стеклянную дверь и оказался в просторном помещении с длинным столом, по-апостольски охраняемым двенадцатью стульями темной полировки с высокими, в человеческий рост, инквизиторскими спинками. В углу стоял резной китайский секретер, напротив него гладкой теплой беременностью ласкала глаз голубая старинная печь из фарфора с фигурками христианских святых, опоясавших ее в несколько тесных рядов. На овальном подиуме у окна приседал кривоного еще один низенький стол с парой вместительных кресел все той же китайской работы. Помнится, свой интерес к Востоку Лира фон Реттау объясняла стремлением оказаться по ту сторону безобразного и красоты: «Только в Поднебесной вам могут подарить из лучших побуждений гроб. А там, где прилично примерить заранее смерть, жизнь точно должна быть впору. Неудивительно, что китайцы изобрели все на свете: единственное ограничение мира, которое они себе позволили, – это Великая китайская стена. Да и та понадобилась им лишь затем, чтобы оградиться от нашего вероломного невежества...»

В небольшой смежной комнате пол был застлан старинным персидским ковром с вышитыми шелком птицами. Из мебели было три кресла, полдюжины стульев и огромный диван, отраженный экраном видео-двойки в дальнем углу. В отличие от гостиной, окно здесь шло во всю стену, выступая уютной полуокружностью на мраморную террасу, где как раз лупоглазо резвился пузыристый дождь. Комната отдыха, определил Суворов. Комната-лежебока. Наверно, поэтому здесь и развесили всю эту графику – чтобы умерить барскую осоловелость гарнитура. Графика была не ахти (птичьи следы на снегу, вязальные спицы на простыне, стрелки волн, бегущих по гляncy воды), но в качестве интерьера смотрелась пристойно.

Помимо двух санузлов и запертого на замок кабинета администрации на этаже он ничего не нашел. Снова выйдя к скрипучей деревянной лестнице, Суворов решил продолжить осмотр вниз. Из каменного подвала сразу же потянуло прохладой. Почесав рукой по стене, гость шелкнул выключателем. Через миг убедился, что стоит лицом к лицу с пустотой. Широкий коридор с гулким брусчатым полом замыкал несколько белых дверей. Открыв их поочередно, Суворов вычислил прачечную с парой стиральных машин, подсобное помещение, набитое мумиями шезлонгов и нависшими сверху знаменами пляжных зонтиков, а также приземистую каморку с нехитрым хозяйственным инструментом. Ничего необычного.

Разве что запах, наводящий невольно на мысль о заброшенном в холод тайн всеведущем подземелье (набредши на штамп, фантазия, иронически хмыкнув, застопорилась).

Когда он вновь вернулся на площадку первого этажа, в слабом свете торшера мелькнула бесшумная тень. Суворов прибавил шаг, но никого не застал в вестибюле, кроме эха огрызнувшейся из кухни посуды. Решив уже было, что ему почудилось, он вдруг услышал хлопок затворившейся двери. По тому, как притих гул дождя, догадался, что это на входе, обогнул выступ арки и бросился вслед. Распахнув тяжелую дверь, выбежал на крыльцо и, ошановленный ливнем, огляделся по сторонам. Напрасно: ни тени, ни даже шагов от нее. Словно их растворил подчистую дразнящийся дождь.

– Прямо мистика, – пробормотал он и, подумав, добавил: – Нет, брат, похуже – беллетристика чистой воды...

За сто лет слишком много скопилось здесь духов, чтобы можно было поверить хотя бы в кого-то из них. Что, впрочем, надо признать, им не очень мешало: покидая крыльцо, Суворов наткнулся на надпись, выведенную золотом на арочном своде, венчавшем сумрачный коридор: «Altyt Waek Saem». Да-да, как же, помню, читал: один из ее воздыхателей, то ли голландец, то ли датчанин, одарил Лиру фон Реттау сим глубокомысленным изречением. Означает что-то вроде напутствия: «Будь всегда настороже». Протестантская вариация латинского «Memento mori». Своеобразный перевод с языка метафизики на провинциально-дидактический штиль. У полиции для этой надписи нашлось свое толкование: прочитав все три слова как намек на угрозу, они кинулись было искать, да вот парень (кажется, звали его Руут Ван Хаагенс) их крепко подвел – был уже год как мертвец. Оставались писатели. До сих пор остаются...

– У вас почти семь? Значит, я обогнала тебя на два часа, – сказала Веснушка. – Не думала, что позвонишь.

– Почему?

– Я о тебе сегодня вовсе не думала. Как-то так получилось.

– Проверка на ревность? Уймись. Ты же знаешь, я не ревнив.

– Ревнив, вот только ревнуешь *себя*, хоть себя не особо и любишь.

– Браво. Тебе хватило одного предложения.

– Это для чего?

– Чтобы набросать эскиз параноика-гермафродита. Подпишись словом «зависть», и дело с концом. Но, уверяю тебя, здесь позариться не на что. Отощавшие привидения с паутиной вместо волос меня не особо прельщают.

– Чем ты занят сейчас?

– Только что выгнал пинком дистрофика-духа. Пусть помокнет под деревом, пока я не расправлюсь с припоздавшим на два часа ужином.

– Ты чего-то недоговариваешь.

– Опускаю из чуткости упоминания об эротическом магнетизме места. Как-никак в этих стенах распутница Лира умудрилась за ночь переспать сразу с тремя. Поскольку я тут сегодня один, ощущаю нервозность. За столом закажу две добавки.

– Ты с ней уже повстречался?

– С хозяйкой? Почти. Чувал затылком: она подглядела, как я ворошу ее прах в камине гостиной.

– Осторожнее с кочергой: есть мнение, что графиня по-прежнему девственна...

– Ты этому веришь?

– Почему бы и нет? Пока ты ее не усадишь к себе на перо...

– Усажу непременно: очень хочется денег.

– Постыдился бы, жиголо! Старушке уже лет сто тридцать...

– Или сто лет как тридцать. Чем не фора твоим двум часам?

– Хорошо, признаюсь: я ревную. Уповать остается на то, что ее восхитительный труп целый век как не очень живой. Хотя для тебя, извращенца, это вроде как плюс?

– Не факт. Разве что плюс для пера.

– Намек на его животворность? Что ж, дерзай. Только, будь добр, сочини ее так, чтобы ревность моя оправдалась...

– Постараюсь. А теперь скажите мне, доктор, приятное.

– Береги себя.

– Тогда – очень приятное.

– Я тоже себя берегу. Причем на два часа дольше...

В столовой уже были разложены серебряные приборы. Тарелки из пожелтевшего старинного фарфора придавали ожидаемому обряду подчеркнуто стилизованный вид. Одну из них Суворов тут же разбил, пытаясь рассмотреть на изнанке хрупкого днища название фирмы-изготовителя².

Собрав осколки с ковра, он замешкался, не зная, куда их девать, и в это мгновение из кухни, будто расколов движением плеча кирпичную кладку (дверь сразу сделалась просто невидимой), вышла дородная немка. Взглянув ей в лицо, Суворов припомнил брусчатку в подвале.

– Гутен абенд. – Он попробовал улыбнуться, но кухарка ему не ответила. Поставив на стол перед ним миску с мутным спаржевым супом, она протянула руку, приняла в ковш ладони осколки, смяла их со скрежетом и, будто разменяв неудобную кипу банкнот на горстку монет, высыпала полученную мелочь в карман передника.

– Данке, – кивнул ей потерянно Суворов.

Прислуга снова не отреагировала и удалилась к себе походкой ядрометателя. Поскольку словарный запас его немецкого оказался почти что исчерпан, почести ее стати гость воздал шепотком и по-русски, затем, не мешкая, приступил к еде. Спаржа была хоть куда (сейчас у них самый сезон).

Не успел Суворов вернуть ложку в облысевшую миску, как кухарка все так же легко и беспыльно проникла сквозь стену, внося на подносе сосиски с лампасами, приодетые в паричок кислой капусты. В ее ручищах дымящийся натюрморт наводил на щекотливые подозрения. Суворов не удивился бы, если б на изготовление блюда повараха не поскупились пустить плоть жеребчиков, обложив ее для эстетики прядью срезанной гривы.

Гость принял колбаски под нож и, прожая взглядом тяжелый, но праведный зад, признал, что, пожалуй, стряпуха она ничего. Знатная даже стряпуха...

После сытного ужина показалось логичным ознакомиться с баром. Острый, как гвоздик, умный маленький ключ отомкнул замок тихим щелчком, и опытный глаз распознал вмиг приметы триумфа: здесь было *все*, и это *все* убеждало, что за три месяца удастся не допустить тавтологии. Выбор был столь же велик, как и досада за невозможность объять необъятное. Однако попробовать стоило. Пощекотав дворянские шейки бугылок, Суворов остановился на «кьянти», не столько из-за предпочтения тосканского, сколько из-за даты розлива на этикетке – 1990-й. Фактически вино было ровесником Суворова-литератора, а значит, заслуживало первоочередного внимания. Ровно одиннадцать лет назад знаменитый московский журнал не погнушался напечатать рассказ дебютанта, предпослав ему предисловие, которое он и сейчас (как бывает со всяким стыдом) помнил почти наизусть:

² Ты усмехаешься: маленький штрих к тому, что писательское любопытство губительно. Обычно за ним стоит примитивный инстинкт разрушения. Детское желание разобрать с потрохами игрушку, чтобы затем разобидеться на весь свет и полагать, что тебя одурачили. Обида на мир – идеальное оправдание для сочинительства. Так же, как разбитая тарелка в руке – идеальное доказательство, что обида эта заслуженна...

«Откуда вдруг, спросите вы?... Как затевается творчество?»

По признанию молодого писателя, все началось с единственной фразы, точнее, с пробившейся в ней интонации, которая вдруг обросла целым роем стремительных слов, диктовавших Георгию Суворову день за днем перипетии сюжета, о котором он сам знать не мог, но откуда-то знала о нем его память. Озадаченный ее саморазоблачением, он спешил поскорее избавиться от звучащей все громче в его гулких снах неотступной истории, которая ему даже не принадлежала, а словно была лишь взята взаймы – казалось, у самого языка, помогавшего передоверить жесткий ее, чуть ли не притчевый, слог покорной к страданиям бумаге...».

Как водится, официальная версия заметно расходилась с реальностью. Взяться за перо Суворова побудило отнюдь не снизошедшее с небес вдохновение. Скорее то была спокойная, почти самодовольная меланхолия, что пришла на смену подозрительно быстро угасшему возбуждению, вызванному его короткой и, говоря по правде, разочаровавшей связью с замужней свояченицей (жена как раз была на сносях). Для двойной измены приключение выдалось слишком пресным и ничуть не походило на сладость запретного плода, ради которой стоило так рисковать, чтобы сознательно, с вызовом (на равных поделенным между напуганной совестью и бывалой семейной иконой, уныло взиравшей на упражнения старательных прелюбодеев) предаваться в собственном доме греху. Хладнокровные ласки, хоть и щедро приправленные с обеих сторон демонстрацией личного опыта, забуксовали в самый ответственный момент, чтобы после прилежных, но бесполезных радений завершиться освободительным хохотом, помогшим изгнать из суворовской спальни остатки стыда. Но не зависти – к тому, что именуют упоительным словом «порок». Мимолетный адюльтер, вроде бы обещавший бурю карамазовских по накалу эмоций (от покаянных монашеских угрызений до отчаянного, сумасбродного сластолюбия), в лучшем случае произвел в его чувствах холостую, увядшую вмиг, чахоточную искру, сравнимую с той, что выбивает сопливым хлопком из отсыревшей петарды житейская подлость фортуны. Там, где должно было быть страшно, больно и безобразно, но зато – полно, жадно, взбалмошно и упоенно, Суворов не нашел ничего, кроме печального доказательства своей внутренней обделенности. Душа его, взбудораженная перспективой греха, приближавшего с каждым днем ожидания сотрясательный гул античных страстей, и так тревожно готовая, безоглядно себя улаживая, в то же время терзаться позором, натужно, тошнотно страдать, отдалась легким, и оттого унижительным, ощущением дискомфорта, сродни тому, что возникает у нас, стоит нам чересчур вслух чихнуть на скрипичном концерте или сюрпризом всхрипнуть где-нибудь на собрании. Разбирая причины осечки, Суворов признал, что желание переспать с сестрой беременной жены было вызвано не столько трехмесячным чувственным зудом, сколько преступным размахом авантюры, раздвигавшей разом масштаб подвластных ему возможностей (пусть и по шкале сугубо низменных тяг), а значит, и укрупнявшей (пусть лишь в категориях отрицательных и аморальных величин) размер его личности, как раз затосковавшей от будничной неотвратимости повторения чьей-то чужой, трафаретной судьбы, все назойливее проявлявшей себя в списке делаемого им и думаемого – как бы по инерции заданного раз и навсегда слепого движения, определенного экзистенциалистами сокрушительной формулой недолжного существования «я живут». В последние недели своего предотчества Суворов «жили» вприщур, скользко и ежась, будто оглохши сердцем от внезапного стыда, упавшего посреди душного лета серым, подленьким льдом ему под ноги. Супруга за полгода опухла так, словно проглотила залпом планету, космический шар, причастность к которому

муж ощущал не больше и, право, не радостней, чем уроненный в крапленное звездной крупую пространство астронавт ощущает свою причастность к приявшей его, словно микроб на десерт, необъятной вселенной. Обратившись из золушки в колбу, жена изменилась еще и некстати характером, сделавшись вздорно-капризной и жадной до подозрений – задолго до того, как возникла у Суворова мысль соблазниться ее иронично-ретиной сестрой.

Так что за отвратительным и неестественным на первый взгляд решением предаться блюду просматривалась вполне естественная реакция Суворова на неестественность зажавших его в кольцо обстоятельство, при которых чем дальше брел он по дням своей (дудки: совсем не своей!) заблудившейся в пошлости жизни, тем острее осознавал ее, жизни, предательство. В том, чтобы предать предателя, предавшись распутству, нельзя было не увидеть волнительной перспективы заслуженного возмездия, к тому же приятного и *радикального* в свете предстоящих событий по явлению миру суворовского потомка, пока лишь сердито толкавшегося в материнский мамон, предупредительно угрожая родителям формировавшимся где-то в ядре громадного чрева необузданным нравом.

Однако – не задалось... К немалому своему смущению, Суворов вынужден был убедиться, что порочность его как-то странно ущербна: самый акт разврата, вроде бы приправленного необходимой перчинкой азарта и страха, поверг его в ступор. Заперев дверь за благодушно-смешливой проказницей (похожей теперь лицом и фигурой на его жену больше, чем нынче сама жена – на себя, отчего поощренная обоюдной волей ее ближайших родственников измена воспринималась ими не без доли философского торжества: как попытка *вернуться к истокам*, воскресить наивное прошлое ненаивностью мести за его безвозвратный уход), он почувствовал, что даже не в состоянии по-настоящему огорчиться из-за явного, но, по здравом размышлении, комичного краха иллюзий о том, что жизнь может быть худо-бедно посрамлена – тем, кто, сколько бы ни ярился, являлся всего лишь ее неумелым рабом.

Так Суворов удостоверился на собственной шкуре в нехитрой и пошленькой истине: мы принадлежим своей жизни больше, чем наша жизнь принадлежит нам. Еще сквернее, что эта жизнь не очень-то наша. Но, поскольку другой не дано, пока *нас живут*, мы так и рвемся *пожить* хоть немного *другими*. Не в этом ли броуновском движении вороватых мгновений, алчущих вкусить от чужого, явлено нам великое (и, конечно, ничтожное) равновесие существования?..

Поняв, что не умеет толком ни согрешить, ни предать, ни уязвить свою душу падением, ни взбунтоваться полетом или прыжком, ни сбежать от того, что *живет им* наперекор его устремлениям, ни даже ужаснуться тому, что всего этого он не умеет, Суворов взял свой реванш, написав за неделю рассказ.

Рассказ назывался «Кровосмешение». Речь в нем шла о том, как в одной московской семье в канун Нового года собираются на застолье обитатели скромной хрущевки, чтобы под звуки курантов исповедаться перед читателем в своих темных тайнах. Пока бьют часы, каждый из персонажей произносит мысленно монолог, из которого следует, что все их совместное существование зиждется не на любви, а на тщательно маскируемой ненависти: отец ненавидит дочь и жену, мать – мужа и сына, дочь – папашу и брата, брат – мать и сестру. В этом инцесте-навыворот они находят острое, почти физически ощутимое наслаждение – залог семейной сплоченности на многие годы вперед. Облитая пеной шампанского и салютующим брызгами гимном, семья оргастически предается веселью, пируя на фоне пойманной телеэкраном кремлевской стены, а та, отражаясь в тарелках, густеет на дне хрусталя, всплывая кирпичным разводом в кровавого цвета компот...

Увидев в рассказе аналогю с Россией начала девяностых, критика зачислила Суворова в подающие надежды таланты, не преминув, однако, пожуричь за то, что напрашивающаяся параллель выражена недостаточно четко. Сам начинающий автор был не на шутку сконфужен: «ангажированность текущим моментом эпохи», о которой судачили в отзывах, он воспринял как доказательство, что рассказ вышел хуже, чем он полагал. Все, чего он хотел, – это следовать постулату фразы, с которой текст начался: *«Кровосмешение приключилось из-за того, что свинина с говядиной оказались в одном и том же пакете. Оттуда и натекло...»*. Закодировав в ней свой сарказм по отношению к личному опыту несложившегося прелюбодейства, Суворов увлекся, стал копаться вширь и вглубь, достучался лопатой до Греции, потревожил останки богов, потом мягко присыпал их снегом, в результате чего выдал текст, вместивший в себя содержания больше, чем пристало короткому жанру, и даже больше, чем было его в самом авторе – до того, как рассказ уложился последним своим предложением в морозную зиму Москвы.

Едва ли кто обнаружил в новелле ее подспудный посыл: намерение перекроить, поставить с ног на голову древний миф, а заодно и его толкования, дабы воскресить сокрытый в нем смысл, но уже в новом творческом ритме, на новой стезе постижения, да еще сделать это в пределах узкого лаза размером в двенадцать минут, по которому движутся, неприметно меняя порядок рядов в такт праздничной телепрограмме, триста шестьдесят пять заурядных, будто одетых в защитные робы, непривередливых слов, занявших в итоге пространство в двадцать четыре стандартных страницы... Потому неудача первой публичной «удачи» Суворова озадачила: чувство было сходно тому, что испытывает архитектор, которого хвалят не за проект возведенного здания, а за дверную ручку на входе.

Впрочем, «озадачила» не значит «обескуражила»: ощущение творящегося у тебя на глазах, к тому же твоими руками, ведовства, пусть ведовства и лукавого, нечаянно-бесполезного, горького, льстило его самолюбию и на первых порах совращало надеждой, что писательство как ритуал все еще напоминает священнодействии. Блаженны бедные разумом! Чувство такое, словно это было совсем не с тобой.

Так же и с вымыслом: стоит поставить конечную точку – и текст тебя предает. Он больше не твой, а ты – лишь бледнеющее воспоминание о том, как он в тебе жил, порой (чего уж тут врать!) упоительной пыткой. Неслучайно считается, что поставить вовремя точку – вроде как знак ремесла, клеймо мастера, придающее завершенность тому, что на деле представляет собой сплошную, неукротимую длительность. Точка – это лишь имитация разрыва ее в некоем важном звене, том самом, где жизнь в лучшем случае сподобится на запятую. Ну а талант, о котором горазды болтать речистые критики, на практике – всего только нервное расточительство обладателя кусочка шагреновой кожи, усыхающей по мере того, как навигается на тебя осознание нестерпимой, неопровержимой, ненадежной и непостижимой подлинности сущего, в котором тебя ровно столько, насколько тебя же и нет.

Стоит признать, в этом есть своя прелесть – находиться там, где тебя почти нет. Что-то вроде затейливых прятков: искать не-знаю-что, находя не-знаю-зачем. Сколько бы ты ни искал, натыкаешься всюду на одну и ту же прореху. Черную дыру, норовящую поглотить тебя своим безразличием. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы узнать в этой чертовой прорве время, лениво зевающее тебе в лицо, сводя на нет любые усилия придать чему-либо смысл.

Где-то с месяц назад Суворов, похоже, увидел, что же это такое – время как оно есть. Наблюдая из окна квартиры за улицей, он бесцельно блуждал взглядом по шныряющим внизу прохожим. Напротив дома, через до-

рогу, сидел пьяный нищий, привалившись к стене и прикрыв глаза платком. Несмотря на разделявшее их расстояние, Суворов разглядел в углу его рта белое пятнышко – должно быть, хлебную крошку или прилипшую шелуху от подсолнечника. Судя по всему, нищий спал, и спал крепко: когда стая шумливых подростков подкралась к нему и стащила с колен грязную кепку с выклянченной за день мелочью, он даже не шелохнулся. Не отреагировал он и тогда, когда распоясавшиеся юнцы принялись, хохоча, швырять в него его же монетами.

Спустя минуту переполненный микроавтобус врезался в грузовик, вылетел на тротуар и снес одного из мальчишек, поддев его бампером и протаскив по асфальту метров десять – ровно столько, сколько было заказано смертью. На месте аварии тут же собралась толпа, сквозь которую прибывшим врачам «скорой помощи» пришлось проталкиваться к пострадавшим. Несколько окровавленных пассажиров выбрались из «газели» сами, остальных кое-как грузили на носилки и выносили к шоссе. Сбитый подросток признаков жизни не подавал. Так же, как и нищий, по-прежнему прикрытый носовым платком и как будто вовсе не замечающий происходящего. Самое жуткое в этом зрелище (если смотреть на него глазами того, кто привык во всем наткаться на знаки) была белая крошка на губе у бомжа. Их общая неподвижность резко контрастировала со всем, что творилось вокруг, и могла дать фору смерти, которую теребили и щупали копошащиеся у тела мальчишки врачи. Когда труп увезли, кто-то из подростков, рыдая в крик, вновь заприметил нищего и принялся пинать его ногами. Вероятно, сообразил, что, если б не его пьяный сон, вся ватага давно б прошла мимо и товарищ бы уцелел. Лишь теперь бомж проснулся. Дождался, пока подростка оттащит милиция, поднялся на ноги, подобрал кепку, прихватил с асфальта пару монет, поглядел равнодушно на груды смятого (в жестянку из-под пива) железа и, косолапо шаркая по фальшивым алмазам стекла, побрел за угол. Глядя ему в спину, Суворов вдруг ощутил: что бы ни случилось в мире, всегда найдется тот, кто при любом раскладе событий останется неуязвим. Ибо этот субъект глух ко всему. У него нет ничего, кроме времени. Возможно, он сам время и есть, и тогда его нищета – лишь форма совершенного отречения от всего, что составляет внешнюю интригу существования.

В отличие от него, обычной породе людей приходится искать смысл в том, чтоб *хотя бы на время* отстраниться от *времени*... Не для того ль и придумано сочинительство, чтобы иметь возможность запустить во время у него же украденной мелочью? Не для того ли человечество изобрело выпивать?..

Прихватив штопор, фужер и бутылку, а в комплект к ним – еще и огромную, размером с подводную лодку, сигару из душистой дубовой коробки, Суворов направился в комнату отдыха. Погрузился, истаяв в комок, в тороватое кресло, бросил ноги небрежно на круглый уступчивый стол, щелкнул пультом, призвав в компаньоны цветной телевизор, и, салютовав его воркотне, наградил себя полным бокалом. Дождь вздохнул за окном и ушел. На душе у Суворова сделалось так, словно и души никакой не осталось. Жизнь застыла, свернулась клубком, как змея, и уставилась в ночь черным взглядом. Ночь ответила тем же.

Попивая вино, Суворов разглядывал на просвет отпечатки собственных пальцев. Постепенно, мало-помалу эффект со-присутствия сделался полным. Особенно после того, как крэгом пошла голова. Что с ней поделать – любимый маршрут.

Где-то в конце его, на самом доньшке дня, ее уже поджидает чучело свергнутого сутка.

Или распятие, их патетический крест.

Он тоскливо подумал: иногда человеку не хватает одной лишь Веснушки...

Господа, когда тут у вас подают веронал?..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ (Завязка)

Хотя завязка и знаменует собою начало развития действия, не стоит переоценивать ее значение: в какие бы оригинальные одежды она ни рядилась, это всего лишь служанка, прибирающаяся по случаю в прихожей у фабулы, о чьих намерениях она может только догадываться, однако никогда не осмелится сказать о них вслух.

Кристиан А. Экройд. Читатель: сообщник, убийца, дурак

Утро обрушилось вероломно – ярким светом и смехом, буравящим сон. Убедившись в невозможности его уберечь, Суворов поднялся, без малейшей симпатии узнал опухшего веками типа в зеркале и, ругаясь сквозь зубы, направился в ванную.

После холодного душа кожа звенела стальным листом, а взгляд в зеркале приобрел фокус и твердость, которую менее благосклонный наблюдатель вполне мог бы принять за заносчивость парвеню. «Я узрел тебя вновь, горделивый упрямец. Грозный враг пустоты. Маг бесплотной игры. Бескорыстный хранитель невидимых нитей творенья. Искусный вязальщик покорных таланту планид. Переплетчик спасительных грез. Со-Вершитель усталых побед. Храбрый раб поражений. К оружью, спесивый засранец!...».

Соблюдая ритуал возрождения, Суворов облачился в полотняный костюм, sprysнул туалетной водой выбритый в стекло подбородок, похлестал по горящим щекам раствором ладоней и, сопровождаемый этим подобием аплодисментов, ступил на балкон, где с минуту смотрел на треугольники парусников, рассеявшихся бабочками тут и там по синей лужайке воды. Альпы смиренно сносили свою неподвижность. Со старинных амбирных часов в кабинете дырявые в тулове стрелки зазывали на завтрак. Рядом с ними лежал черно-белый буклет с фотографиями и краткой историей виллы. Присев на подлокотник кресла, Суворов пробежал его глазами.

«Осень 1898 г. – Лира фон Реттау приобретает участок в 22 000 квадратных метров в южной Баварии и приступает к строительству (фотография котлована)...

Май 1901 г. – строительство завершено...

Лето 1901 г. – на виллу прибывают писатели (три портрета высокомерия, снабженные датами жизни). Хозяйка непостижимым образом исчезает (вид на озеро. Черно-белый закат)...

Ноябрь 1905 г. – бесплодные четырехлетние поиски вынуждают муниципальные власти официально объявить Л. фон Реттау умершей. Отныне во владение ее дафхерцингским имением вступает по праву наследования ближайший из дальних родственников, некто Альберт фон Зихерунг (лицо-улыбка. Лукавые глаза, короткая борода, остальное все – зубы), проживавший до того в тирольском городке Абсаме...

Через два года фон Зихерунг соглашается уступить виллу приятелю, гражданину США доктору Францу Линку (взгляд-рентген, привыкший во всем наблюдать обреченность), гостившему здесь в августе 1907 года и очарованному пейзажем настолько, что решение купить ее вместе с прилегающим участком принимается им незамедлительно, хотя запрошенная цена заметно превосходит реальную стоимость угодий. Для Линка это приобретение обусловлено зовом крови: сын немецких эмигрантов, он выказывает намерение основать здесь филиал своей преуспевающей частной клиники с адресами в Чикаго и Нью-Йорке.

Но затее сбыться не суждено: в июле 1910 года, выйдя под парусом в воды Вальдзее, он попадает в шторм и гибнет в расцвете сил (бурливое изображение бурливых волн). В отличие от Лиры, его тело уже к утру прибывает к берегу, так что сомнений в кончине не остается. Жена сентиментального неудачника, Марта Линк, урожденная Швайниц (очень похоже, что Швайниц: двойной подбородок, рюшки платья призваны спрятать шаловливые складочки жира. Превосходство последних, однако, бесспорно), рвет всякие связи с Баварией и отказывается от дальнейших посещений Бель-Летры. Ее убеждение в том, что место это проклято, служит причиной многочисленных эпистолярных переговоров о перепродаже имени, но закрепившаяся за ним дурная слава, равно как и практическая сметка вдовы, непременно желающей вернуть опрометчиво истраченные почившим супругом деньги, мешают ей избавиться от ненавистной обузы. Разразившаяся война не способствует разрешению вопроса. После Марны, Вердена и начавшейся морской блокады Германии англичанами путь сюда для подданной враждебной страны, по существу, заказан...

Версальский мир как будто дает ей надежду: в 1922 году через посредников Марта Линк подписывает контракт с Герхардом Штуцером, крупным баварским скототорговцем (действительно крупным: рожа размером с загон). Согласно договору, тот обязуется выкупить виллу в три этапа, внося в течение первого года пятидесятипроцентный задаток и погашая затем ежегодно оставшиеся четверти от оговоренного платежа. Но наступивший нехстати кризис и подхлестнутая им гиперинфляция превращают вырученные вдовой марки в бесполезную кипу бумаг. Вступив в длительную тяжбу, Марта Линк, не в состоянии довести дело до желаемого конца, в мае 1924 года капитулирует. Програв игру на золото, она довольствуется сомнительным утешением в виде эфемерной моральной победы: в день оглашения судебного вердикта вдова во всеулышание заявляет, что не намерена более сражаться по законам чести с бесчестными ворами и готова выставить своим доверенным лицом лучшего из прокуроров – Историю, чье карающее пламя рано или поздно, но настигнет поправшего истину проходимца. Демонстрируя праведный гнев американской патриотки, Марта Линк публично сжигает на ступенях дворца правосудия ворох обесцененной валюты, швырнув в тот же костер и свое немецкое свидетельство о рождении. Красноречивый жест вдовы, запечатленный десятком магниевых вспышек, на следующий день повторен для сотен тысяч сограждан на первых полосах газет...

В ответ Штуцер отправляет фрау Линк с оказией через океан деревянный ящик, подозрительно похожий на гроб, доверху набитый мусором из немецких купюр, к которым прилагает коробок баварских спичек и собственную фотографию на фоне Альп и Вальдзее, не преминув сопроводить посылку язвительным письмом: *«Из достоверных источников я узнал, что деньги, перечисленные Вам согласно подписанному договору за приобретенную мною усадьбу, были утеряны в пылу последних событий. В знак искренней дружбы и на условиях конфиденциальности покорнейше прошу принять от меня покрытие за понесенные Вами убытки в размере, эквивалентном сумме всех моих контрактных обязательств»*. Реакция вдовы на это послание осталась неизвестна...

Итак, вплоть до 1922 года вилла пустует, стены ее покрываются мхом, парк дичает и превращается в заросли, на всем вид-

на печать запустения (снимки зарослей и запустения), однако оборотливому негоцианту в считанные месяцы удается навести там порядок. Не удовлетвовавшись простой реконструкцией, он пристраивает к оранжерее уютный бельведер, откуда любит взирать на закатный пейзаж в компании влиятельных гостей. В конце двадцатых годов среди них оказывается и экстравагантный политик (отсутствие снимка. Зияет, как бездна. Вечный для немцев вопрос – чем эту бездну прикрыть? – завис на полях без ответа), у которого вид на Альпы вызывает всплеск весьма специфического вдохновения: *«Поглядите на эти горы. Они уже сейчас спешат к нам на поклон»*. Ироничный хозяин отвечает на это вежливой репликой: *«Надеюсь, прежде чем они попадут к вам в приемную, вы позволите мне снабдить их приличествующей рекомендацией?»*. К удаче Штуцера, Гитлер принял его замечание не за едкую шутку, а всерьез: в 1933-м новый рейхсканцлер отмечает дальновидное гостеприимство баварца включением в совет по экономическим разработкам, а после аншлюса Австрии назначает его в Вену своим представителем по вопросам торговой стратегии...

В октябре 1938-го Штуцер (за полгода достаточно поднатревший в вопросах стратегии, чтобы осознать коммерческие преимущества малых расстояний перед рискованными дистанциями большой политики) ходатайствует о своем возвращении на родину, где разрабатывает детальный план отчуждения еврейской собственности на территории Баварии в пользу Третьего рейха. Вскорости, в апреле 1939-го, добивается визирования документа Мартином Борманом (снимок пустого мундира. Намек на бесследность. На обоюдное уничтожение следов. Так из мумии делают мумие...), заглянувшим на Бель-Летру проездом из Мюнхена в Инсбрук. За бутылкой бренди партайгеноссе советует хозяину сменить легкомысленное название виллы на более привлекательное. Штуцер тут же находится: Вилла «Найгеберг» – кланяющаяся гора. Борман одобрительно кивает: хорошая мысль. Остаток вечера, по воспоминаниям секретаря фашистского бонзы, они проводят в беседах о том, кто погубил незабвенную Лиру фон Ретгау. Борман склоняется к мысли, что за этим стоит Гектор Фабьен, и пару раз многозначительно подмигивает внимающему с почтением хозяину. Верно уловив намек, весь следующий месяц тот энергично распродает свои французские акции, планомерно приобретаемые до того через подставных лиц...

1938–1943 гг. – в километре от виллы, в бывшем доме доктора Баруха Фишера (фотография скорбных, все знающих глаз. Под ними заметна учтивая ретушь), скончавшегося от сердечного приступа после первого же допроса в гестапо по подозрению в саботаже, размещается школа Гитлер-югенд, чьи ученики удостоиваются чести проводить на территории «Найгеберга» показательные военно-спортивные состязания. Зрелище пользуется большой популярностью у местного населения (стыдный снимок восторга толпы)...

1945 г. – на вилле обустраивается штаб дислоцированной в Баварии сухопутной бригады США. Тогда же сгорает и бельведер (фото мокрых обломков). Как указано в рапорте дежурного офицера, *«по причине самовозгорания от неисправной электропроводки»*. Пророческие слова Марты Линк начинают, похоже, сбываться...

1945–1950 гг. – период относительного «безвременья» и затишья, характеризующийся спорадическими переговорными

мероприятиями представителей различных политических, финансовых и гуманитарных организаций (длинный стол. С двух сторон – равнодушие)...

1951 г. – Бель-Летра передана в распоряжение программы Красного Креста, расселяющего здесь уцелевших узников Дахау (снимки выжившего отчаяния, что, несомненно, переживет сами лица, вновь *попавшие в камеру*), которые проходят в Дафхерцинге период «моральной адаптации и физического восстановления» перед отъездом на историческую родину в Израиль. Родственников доктора Фишера среди них не замечено. Возникают слухи о том, что имение контролируют спецслужбы союзников...

1952 г. – смерть Марты Линк от заражения крови после неудачной хирургической операции по удалению желчного пузыря в чикагской клинике ее погибшего мужа (фотография клиники)...

1957 г. – скромные похороны в Аргентине Г. Штуцера. Тут черную работу свершил застарелый атеросклероз, повздоривший с бронхитом на ненадежной почве юмора: рассказанный соседом анекдот вызвал у отставного скотопромышленника такой припадок смеха, что спровоцировал жестокий приступ кашля и, как следствие, фатальный спазм сосудов головного мозга. О чем был анекдот, брошюра, к несчастью, умалчивала. Тело экс-коммерсанта кремировано; прах передан семье покойного. Пресловутое пламя «поздно», но – делает свое дело (вместо снимка – текст траурного уведомления на испанском, исколотого, по законам корриды, клинками надстрочных значков)...

1958 г. – Аденауэр (снимок) специальным указом передает виллу в неотчуждаемую государственную собственность и назначает ее распорядителем Департамент культуры свободной земли Бавария...

1959–1966 гг. отмечены проведением в имении Бель-Летра диспутов и конференций, посвященных актуальным проблемам словесности...

Август 1967 – январь 1974 гг. – здесь размещается штаб-квартира президента Оргкомитета по проведению XX Олимпийских игр г-на Вилли Дауме (весьма энергичная внешность. Сразу видно, не подведет)...

Весна 1972 г. – визит другого Вилли – Брандта (знаменательное рукопожатие), который встречается с Оргкомитетом игр, чтобы лично ознакомиться с промежуточными итогами его работы. Кем-то найденная формула «*Villa + Willi + Willy = Wheel + Will*» («механизм + воля» в переводе с английского) приходится по душе журналистам, использующим каламбур в репортажах с места события...

1975 г. – усадьба передается в распоряжение гуманитарной программы «Мир – это сад» магистрата города Мюнхена. Ее цель – собрать на вилле особо одаренных подростков вместе с их сверстниками, чьи способности ограничены болезнями умственного развития (две испуганные неприязни, глядящие друг на друга во все глаза). Открытая с шумом акция тихо свернута после девяти месяцев неудачных попыток подружить здоровье и недуг, поселив их под одной крышей. Мертворожденное дитя благотворительности погребено в папке хозяйственно-финансовых отчетов и, заодно с шестью коробами покалеченных в ходе эксперимента игрушек, покидает виллу на казенном автобусе...

1976–1998 гг. – Бель-Летра становится пристанищем для награжденных стипендией культурологов и литературоведов, избравших предметом изысканий историю художественной мыс-

ли Германии (счастливые лица очкариков, запрудивших библиотеку)...

1999 г. – Общество друзей Лиры фон Реттау заключает с Культуррефератом Баварии трёхлетнее арендное соглашение и приступает к реставрационным работам, дабы в кратчайшие сроки вернуть вилле ее первозданный вид (первозданный вид в трех романтических ракурсах: сбоку, снизу и, конечно, самый ударный – анфас)».

Суворов закрыл буклет. Милое местечко, судя по всему. Подходящий адрес для сочинительства: есть кому склониться над плечом и нашептать кошмары. Хороводы призраков нам обеспечены, подумал он, припомнив вчерашнюю тень, шмыгнувшую в дождь.

Покидая комнату, он вдруг осознал, что давешний смех куда-то исчез...

«Интересно, кого это к нам принесло?» – размышлял Суворов, спускаясь в столовую. На втором этаже одна из дверей, одесную библиотеки, оказалась распахнута. Проходя мимо, он уловил сопение и гайморитные охи чьей-то нахально, если учесть специфику места, трудившейся страсти. Ну и ну! Выходит, я здесь теперь не один. И не два...

Накрахмаленная скатерть – родная сестра античного савана – на сей раз приютила четыре прибора. Кухарка продемонстрировала все тот же стоицизм, проигнорировав очередное приветствие и обернув к гостю могучий, увесистый круп. Суворов попробовал определить ее возраст, но безуспешно. Ясно было одно: время в ней, как в удобном дупле, поселилось всерьез и надолго. «Нам же с ней флиртовать и всего-то три месяца! Срок не для пылкой любви...».

Закусив яйцом и салатом, сопроводив их богохульным в своем изобилии ассорти из колбас и заев эту грузную прозу невесомой поэзией йогурта, гость налил себе кофе. Скучая, потянулся за лежащими на тумбе газетами и беспорядочно ими шуршал, пока не угадал спортивный раздел по большой фотографии Оливера Кана, застывшего желтушечным взглядом в цветном слепке истории, уже заломленной типографским прессом сортирующего ее мгновения точь-в-точь по переносице знаменитого вратаря. Цифры было легче читать, чем слова. Поневоле тут станешь бухгалтером, рассудил Суворов и в тот же миг услышал приближающиеся голоса.

Дверь в столовую отворилась, пропустив смуглянку с копной рыжих волос и коренастого пузана в очках, бесцеремонно подталкивающего ее кулачком сзади в спину. Хотя – признал покоробленный Суворов – спина у нее должна приходиться повыше...

– А вот и мы! – неожиданно прогремел коротышка владетельным басом. – Рад познакомиться: Жан-Марк Расьоль... А вы, полагаю, Георгий? Суворов? Разрешите представить: восходящая звезда современной словесности мадемуазель Адриана Спинелли. В некотором роде, моя ученица.

– Очень рад, – молвил Суворов и по-европейски, лягушкой, подержал на лице улыбку. Через пару секунд с непривычки скулы стали неметь.

– Запоздали на день: Мюнхен потребовал жертв. Прошвырнулись по значным местам молодого фашизма. Ну, вы знаете: эти баварские пивнушки размером с аэропорт, где орут приблизительно так, как от пыток в турецкой тюрьме. Вот и мы до утра, обнявшись с японцами, горланили песни в «Хофбройхаусе», где в итоге, стоило мне вытянуть верхнее «ля», какой-то амстердамский громила решил меня облобызать. Адриана приревновала и подпалила ему бороду зажигалкой, после чего взялась затушить пожар в своей кружке. Голландец шутку не оценил и стал посягать на наше здоровье. Пришлось делать ноги. В довершение мы сперли чей-то велосипед.

– Трепло, – сказала девушка, сев за стол и закидывая ногу на ногу (сердце в Суворове чуть всколыхнулось, заерзало, но, не поддержанное овацией

организма, оскорбленно надулось, сбив шаг). Пошарив в соломенной сумке, она извлекла серебряный портсигар и прикурила пойманную в кольцо презревших помаду губ коричневую сигаретку. Трудно с ходу сказать, какой из нее литератор, но вот художником Адриана определенно была: не каждый способен доходчиво рисовать своим телом слова. Например, слово «томный»... – Он всегда привирает. Даже когда по ошибке правду сболтнет.

– Такая у меня профессия, малыш, – ответил Расьоль и вдруг замер, вскинул челюсть, из-под очковой оправы уставился в скатерть и, сопнув на вдох-выдох, молниеносным ударом прихлопнул растопырившего в циркуль колени гигантского комара. Жест недурно дополнил портрет, подчёркнув в нем типичную агрессивность низкорослого властолюбца, привыкшего с ходу брать быка за рога. Подобного сорта ребята, ковырнув память Суворов, обожают коллекционировать сабли, нанизывать, как на решетку мангала, имена павших жертвой их обаяния женщин и не забывают запиравать добычу в клетки нумеруемых блокнотов вместе с датами всех любовных побед. А еще отменно играют в бильярд, раньше срока лысеют и никогда не стареют, как бы ни тасовала колода их невезение. Восхитительное же соседство мне предстоит!..

– По-охоже на скелет... паутины. С подложенной под него... кро-о-овой... (*быстрая реплика в сторону*: интересно, от кого из нас он сосал?) и круглой... мишенью. Ф-фу, – изрекла Адриана, сопровождая паузы экспромта осуждающими нырками пальца в сторону пунктирных комариных ножек, косичкой вплетенных в развод на столе. Сморщив носик на испачканную скатерть, она брезгливо потеряла ладошкой алюю (тот же, будто под копирку, цвет!) юбку величиною с носовой платок, из подкладки которой шелковым волоском под суворовский плещущий взгляд выбивалась подпольная нить. Что-то это напоминало, но разгадать подсказку наблюдатель не успел: соскоблив о скатерть пустячок останков (два чешущих звука «шу-шу»), Расьоль, как ни в чем не бывало, продолжил:

– Моя голова что цыганка: едва родит, как уже снова беременна. Причем всякий раз заведомо лживым ублюдком, нороящим, чуть вырастут зубы, дать деру, бродяжничать где ни попадя и приворовывать из чужих кошельков... Вы говорите по-французски? – посверлил он глазами Суворова, однако ответить не дал. Не удосужившись сделать хотя бы секундную паузу, Расьоль доложил: – У меня с русским негусто: «на здоровье», «чтобы ты подохла, скотина», «водка», «биляд» и «дай подержаться за сыску»... Вот, пожалуй, и все, не считая «мой дядя правил самочестно». Кажется, цитата из Пушкина?..

– Впечатляет, – сказал Суворов и покосился (слаб человек!) на загорелые коленки мадемуазель. – Мой французский скуднее.

– Жаль. Придется ковырять в зубах в поисках английских объедков, глядя на то, как наш коллега Дарси смакует британские деликатесы, доставшиеся ему по наследству от почившего в бозе ирландского пьяницы. Насколько я знаю, от Джойса он все еще без ума. Зато со словами...

– Дарси? – переспросил Суворов. – Оскар Дарси?

– Ну да, – пожал плечами Расьоль. – А что, разве он не приедет?

– Я, признаться, не слишком осведомлен...

– А-а-а! – француз шлепнул себя ладонью по лбу. Звук был вдвое звонче, чем давеча удар по столу. – Понятно! Пресловутая русская почта – «птенчик-тройка, кто тебя занемог...»

– Выходит, было еще и второе письмо?

Расьоль подтвердил:

– Где сообщалось, что, помимо меня самого, на виллу пожалуют Суворов и Дарси. Так сказать, весь набор специй, чтоб сварить рагу из столетних костей.

Не слишком приятно оскалившись, он подхватил яйцо и застрекотал по нему ложечкой, утаптывая скорлупу. Суворов невольно заметил, что за

пару минут стартовавшего только что завтрака Расьоль умудрился обсыпаться сверху донизу разнообразными крошками, которые – есть такой тип небрежных чистюль – стряхнет затем с пиджака изящным щелчком, не оставив на одеянии ни единой соринки. Что еще? Чрезмерно подвижный и брюзгливый рот (знать, распутник бывалый), непослушные брови, шныряющие по нагой тыковке черепа наподобие дворников по стеклу. В комбинации выдают мимику человека, чей интеллект то и дело рискованно забредает в темную зону инстинкта, не всегда поспевая своевременно возвратиться на огороженные сознанием рубежи.

Наверняка храпит по ночам, подвел черту Суворов.

Адриана смяла окурочку и равнодушно бросила:

– Затеять дурацкую пьесу на могиле у той, кто отыграл свой спектакль еще век назад... По-моему, пошло.

– У пошлости перед благопристойностью есть несомненное преимущество: она увлекательна, – Расьоль украдкой стрельнул в них очками. – Всегда хочется почесать там, где свербит. Ничто так не возбуждает изысканную публику, как безнравственные поступки, – при условии, что они сходят ей с рук. Не знаю, как будет с Дарси, а наш русский приятель производит впечатление приличного человека, так что явно не прочь безнаказанно поозорничать. А, Георгий? Вы же не станете отрицать...

Суворов с ответом замешкался.

– Станет – не станет, он *уже* здесь! – Адриана лениво его оглядела. Это не был взгляд друга. Колени качнулись, на мгновение раздвинули ножницы бедер и открыли дорогу туда, где Суворову стало... хм... вроде как неуютно.

– Она очень коварна. Прямо лезвие бритвы – ее язычок...

Расьоль забавлялся. Ел он шумно и быстро – в той же манере, что говорил. Очередное появление кухарки, водрузившей на стол кофейник, он встретил восторженным возгласом:

– Будь я Кинг-Конг, в два счета бы умер от зависти при виде этого монстра!

Адриана с треском (получилось – внезапно) надкусила яблоко, и фонтанчик белого сока брызнул ей на запястье. Суворов успел разглядеть на нем маленький шрам.

– Вы что, так уверенны, что служанка ничего не поняла? – не удержался он от вопроса, когда кухарка, собрав посуду, вышла из комнаты вон.

– Эта касатка? Она ведь глухонемая.

– Второе письмо?

Расьоль кивнул.

– Находка для нашего злчного места. Ей имя – Гертруда. Только вот с Гамлетом не задалось: старая дева. Да и действительно, где взять столь дикого нравом мустанга, чтобы покрыл бесполою эту кобылу?! Советую присмотреться к ее глазам. Сдается мне, один из двух – протез. В таких вопросах можете довериться очкарикам: мы хуже видим лишь то, что лучше нас видят другие, зато лучше нас никто не увидит того, кто видит хуже, чем мы. Бьюсь об заклад, Гертруда слепа на правую сторону. Косвенно подтверждает эту догадку ее более скромная левая грудь. Так что позвольте поздравить: мы в гостях у циклопа...

– Не обращайтесь... внимания, – сказала Адриана, серьезно посмотрев на Суворова и вновь растягивая, будто вода смычком по нервам, слова. – Ему неинтересно... показать, что он... свинья. Привыкайте. Стоит в его присутствии проявить элементарную обходительность, как он тут же захрюкает. И еще: упаси вас Бог взывать к его снисхождению иль доброте – в два счета затопчет копытцами.

С него станется, подумал Суворов. Из всего, что он помнил сейчас о французе, иного вывода и не проистекло...

Расьоль дебютировал в семидесятые серией экспериментальных книг, в которых по-ученически преданно соблюдал рецептуру «нового романа», –

увы, без режиссерской находчивости Роб-Грийе и без скупого изящества, присущего лаконичной Саррот. Устав быть монахом в чужом и пустеющем монастыре, Расьоль переключился на журналистику. К тому моменту злости в нем скопилось достаточно, чтобы клеймить стилистические промахи тех, кто преуспел на ниве творчества хотя бы самую малость больше его самого. Увлечшись Роланом Бартом и трудами по семиологии, он попытался было работать в жанре интеллектуального детектива, однако и тут его ждал провал: реконструкция знаков ради самой реконструкции слишком уж походила на неуклюжее эпигонство заплугавшего в диалектике сложных абстракций невежды. Поняв, что оплошал, Расьоль сменил направление поиска и взялся осваивать эссеистику. Опыт знакомства со структурализмом даром не прошел: свой «дискурс» отныне он выстраивал на математически точном фиксировании внешних примет буржуазной реальности и разоблачении принимаемых ею «ложных обличий». Маска *объективного* критика прогнивших устоев *субъективно* пришлась Жан-Марку по вкусу, тем более что он мог бравировать происхождением из социальных низов (отец его был не то военный моряк, не то – еще прежде – приморский подкидыш, обретший приют в марсельском детдоме по неопрятности чьей-то поспешно покинувшей берег любви; мать перебивалась скотницей на ферме, где однажды, спасая коров от угодившей в хлев молнии, вдруг рухнула с воплем в солому и спустя пять минут, под всполохи пожара, разрешилась пожаром-сыном). «Не мешай мне навоз и треклятая скромность, я б сказал, что рожден океаном и искрой с небес», – пошутил Расьоль как-то раз в интервью).

Отточив перо на очерковых частностях, он снова дерзнул попробовать себя в большой прозаической форме: в середине восьмидесятых неожиданно «выстрелил» документальным романом, в котором, презрев нормы приличий, пересказал нелицеприятную подноготную биографий пяти литераторов, подобрав для каждого из них псевдоним, который скорее играл роль увеличительного стекла, приставленного к легко угадываемому имени. Разумеется, грянул скандал, которым Расьоль не преминул воспользоваться, распаляя страсти призывами к любому, кто посчитал себя ущемленным, подать на него в суд. Поскольку для задетых коллег по перу было смерти подобно признаться публично в том, что и без того вызывало усмешки читателей, исков не последовало. Правда, пару раз Расьоль давали пощечину, но горько о том жалели, убедившись на собственной шкуре, что такое бывший боксер-легковес: первой же оплеухой торжествующий коротышка повергал задир в нокаун. Тем самым Расьоль приобрел популярность, которую научился расходовать так же расчетливо, как бизнесмен полученный в банке кредит – неизменно преумножая добытую прибыль. В девяностых он был уже автором полудюжины нашумевших романов, выбирая в основу сюжета то диалоги с ожидающим казни серийным убийцей, то недуг собирающегося отойти в мир иной – а заодно и в легенду – политика, то альковные откровения элитной проститутки о ее не в меру взыскательной высокопоставленной клиентуре. Однако настоящую славу он познал лишь в минувшем году, когда ему, вопреки недовольству литературных авторитетов, была вручена Гонкуровская премия за роман, уже не просто срамящий отдельных жертв его неиссякаемого сарказма, превращая их в жалкие пародии на людей, а уничтожающий всю, скопом, современную интеллигенцию, которую он сравнил с импотентом-вуайеристом, бессильно онанирующим на предсмертные корчи постисторического общества, трусливо подглядываемые из-за пыльной шторки засиженного мухами пороков окна западной цивилизации. Опрометчивый вопрос ведущего в прямом эфире ток-шоу: а на кого мастурбирует сам процветающий автор? – Расьоль не задумываясь парировал: «Я не онанирую. Я их просто *имею* в толстый зад, вроде вашего. Хотите полюбопытствовать, как я с этим справляюсь?» – и потянулся расстегнуть ширинку, чем

вызвал бурю восторга зрителей. После той выходки шансы на получение премии лишь возросли: тяготящиеся преклонностью лет члены Академии не рискнули навлечь на себя упреки в консерватизме и нафталинном ханжестве. Расьоль победил: его ненавидели и им восхищались. Месть за провалы первых вежливых книг удалась.

Хоть увиделись они и впервые, судьба уже сводила Суворова с французом. Приехав в Берлин два года назад по стипендии ДААД, он был поселен в ту же квартиру на Шторквинкель, 12, которую перед тем занимал Расьоль. Догадаться было несложно: на полках кабинета Суворов насчитал с десяток брошенных книг с посвящением авторов «Дорогому Жан-Марку в знак дружбы». Как видно, в дружбе Расьоль особой нужды не имел...

– Доброта сродни сифилису: трудно лечится и, пока дело не кончится провалившимся носом, до обидного незаметна для окружающих. Я просто здоров, моя милая, хотя лыс и мал ростом. Но лично тебе это же не мешает?

Адриана запустила в него огрызком. Расьоль увернулся и победно захохотал:

– Вот вам, Георгий, наглядный пример несовершенства человеческой природы: все споры о доброте заканчиваются, как правило, неприкрытым насилием со стороны тех, кто ее проповедует. Вам-то, русским, опыта на сей счет не занимать. Простите меня за бестактность.

– Не паясничай, – сказала девушка, тягуче облизнула пальцы, обмакнула их в салфетку, поползла рукой в сумочку, обнажив еще раз тугое бедро, и со второй попытки – видимо, чтоб не хватить через край с совершенством – прикурила новую сигаретку (в этот миг Суворов вспомнил, что живет как раз в год Змеи). – Хотя бы за завтраком.

– У тебя все равно анорексия, – сказал Расьоль. – Ее воротит от одного только вида пищи и даже просто от слова «пожрать»...

– Меня... воротит... от тебя, – парировала, облачившись в дым, подруга и, выдохнув голос из-под тумана, вдруг добавила: – Дракончик, я пошла рыгать.

Засим поднялась и, не выпуская из губ сигареты, удалилась, шатаясь, из комнаты. Француз лишь пожал плечами и опять не поспешил на комментарий:

– Сколько б ни пыжилась, не может простить себе влюбленности в такого уродя, как я. Ее тошнота – это образ Расьоля. Рано или поздно я перестану ее жалеть и – конечно, из жалости! – выброшу на ту же помойку, где подобрал год назад. Возможно, спасу тем самым ей дар, а он у нее немалый.

– Что она пишет? – спросил Суворов, чтобы сгладить неловкость минуты (если уж нет надежды сгладить неловкость трехмесячного соседства, на которое их обрекли). – Прозу? Стихи?

– Посередке: рифмованная проза психопатки, понявшей, что давно мертва. На редкость талантливо, хотя и банально. Впрочем, что такое шедевр, как не талантливая банальность психопата? Верно?

Суворов не сразу ответил. С пустого стула, застряв вопросительным знаком в обивке, свисала красная нить. Проследив взгляд сотрапезника, Расьоль поднырнул, сорвал нитку и машинально намотал ее себе на палец. Суворов оценил разоблачающий язык телодвижений подробным вердиктом, правда, не став оглашать его вслух: «Своим неосознанным жестом толстяк застолбил за собой права суверена, обобрав меня на невинный пустяк, да еще подвязал колечком на перст красноречивое предостережение. Самец чует самца, как писатель писателя. В первом случае чешутся когти, во втором – кулаки».

Почесав свои о ребро стола, он забросил приманку:

– Я читал ваш последний роман.

Расьоль кивнул:

– Занятная книга, не так ли? Хотя вам, бьюсь об заклад, не понравилась.

– Книга эффектная, спору нет, – сказал Суворов и тут же скучно подумал: «А, черт с ним! Все равно не о чем говорить. Поглядим, как он пляшет по рингу». – Признаться, не очень понятно, зачем вам это понадобилось?

– Что? – вскинул брови Расьоль и, чтобы его визави было лучше видно, что он вскинул брови, сорвал с носа очки. Глаза оказались светло-небесного цвета. Это брало врасплох.

Адриана как раз приступила к своим процедурам. Стоны были похожи на звуки любовной возни, которые Суворов слышал на лестнице, когда шел в столовую. Он подумал: «А может, *то* было вовсе не *то*?» и сказал:

– Сочинять порнографию духа. Подменять примитивным набором рефлексов судьбу. Согласитесь, сводить человека к паре первичных животных инстинктов, во-первых, неново, во-вторых – опрометчиво: компрометирует вас самого. Отдает мазохизмом, пограничным с духовной кастрацией.

Расьоль издал фырк:

– Ну, знаете... Эти претензии не ко мне, а скорее к тому, что испокон веков звалось литературой. Я попытался вернуть фактор боли.

Стон повторился. Суворов спросил:

– Боль как шок?

– Электрошок, если хотите. Все очень просто: реальность для наших читателей – не более чем спектакль, причем лет уж двадцать. Правомерен вопрос: почему бы тогда на *реальном спектакле* не устроить *реальный* пожар? Иногда, знаете ли, очень хочется вынудить их пробудиться. Лучший способ – подпалить на них одеяло.

Суворов, без всякой охоты, поплыл по течению:

– Пробудиться? К чему? С одной стороны, вы ссылаетесь на их летаргический сон, – в этот миг, как нарочно, по коридору из туалета, словно мурашки по коже, прошла тишина. Суворов невольно запнулся, потом, поддавшись инерции спора, скрепя сердце продолжил: – С другой – намерены его прервать. А что дадите взамен? Глава, где герой ваш, напившись до одури, повязывает галстуком на член убитую змею и в этом наряде является в переполненный зал читать доклад о роли интеллектуалов в нынешней культуре, конечно же, впечатляет... Но, несмотря на заложенную символику (змея как разум, дохлая змея – погибший разум, член как Член с большой буквы), сцена слишком напоминает страничку из комикса, чтобы не распознать в ней цирковой трюк, идущий на «бис» все в тех же, презираемых вами, интеллектуальных трущобах, согласных капитулировать при первом же визге из стойбища новых варваров.

– Это каких же?

– Патологических уродцев, порожденных брачными играми невежества с гиперпространством. Своим сарказмом вы будто бы помогаете им подготовить опустошительный набег на интеллект. Сами-то вы во что верите?

– В шок. В гиперболу. В гиперчлен. В гиперкомикс. Если хотите – в наточенный кровью топор палача.

Суворов едва удержался, чтоб не рассмеяться. Расьоль понял и покраснел. Соперник вырос по вертикали лицом, изображая свое удивление, и спросил:

– И кто же, простите, судья? Кто ответствен за приговор?

– Да сама же толпа! Все гнусное собрание пришедших поглазеть на казнь. Они развлекаются, аплодируют и гогочут, пока не понимают вдруг, что на плаху положена *их* голова.

– А вы ее тут и отрубите?

– Если успею. Только я ведь могу не успеть. Спросите у Кафки...

Поперхнувшись воздушным комком, Суворов закашлялся и замахал на Расьоля рукой. Потом просипел возмущенно:

– Кафка-то здесь при чем! Побойтесь Бога.

Француз времени зря не терял: пока Суворов тужился выжить, он сварганил из дужек оправы лупоглазое насекомое и пополз им к середине стола:

– Все мы родом из его «Превращения». Стервец наверняка это чувствовал, потому и со смеху подышал, когда зачитывал приятелям свои новеллы. Насмеявшись же, благополучно преставился, бросив нас наедине со своими жуками, ножами в груди и машинами пыток.

– Только ведь с той поры больше никто не смеялся... – Суворов выставил блюдце препятствием перед жуком.

Насекомое взвилось на лапы:

– И к чему это нас привело спустя десять лет? К баварским пивнушкам, где его австрийский земляк призывал изжарить евреев? Кстати, сами-то вы не еврей?

– Нет.

– Странно. Русский писатель – и даже совсем не еврей, – жук задрал лапки кверху, сдаваясь, и соскользнул со стола.

– Что за бред?

– Бросьте! Я тоже читал ваш роман. Правда, только дебютный. Писано так, будто вокруг вас евреев отродясь не водилось. Подозрительно. Со всем не по-русски.

– Вы к тому же и антисемит?

– Только самую чуть. Да и то лишь тогда, когда устаю быть борцом с юдофобами. У меня самого мать еврейка.

– Я не могу похвастать и этим.

Расьоль водрузил очки на нос и, задержав ладонь у надбровья, прирастил козырек – впередсмотрящий фрегата, предвкушающий стычку с пиратской шпаной:

– Кто же вы? Я знаю, что Суворов – ваш псевдоним.

– Скажем так: для вас «я – это другой»...

– Ага, цитируете Рембо. И не стыдно такому детине, как вы, укрывать себя за тощей спиной подростка?

– У этой спины гигантская тень. Нам с вами в ней уместиться – раз плюнуть.

– Пусть так, но давайте хотя бы очистим ее от прыщей. Полагаю, за долгие годы внимательной службы асимметричное зеркало, поставленное Рембо перед нашей душой, обзавелось мириадами трещин. Не лучше ли перефразировать? «Другой – это тот, в ком я расколот тысячу раз и ни разу собой не опознан».

– Звучит впечатляюще. Поправка принимается. Тем более что процедура моего опознания теперь вроде как откладывается. Вас за язык никто не тянул.

Расьоль, дурачась, отвесил поклон, изображая покорность. Допил кофе, пополоскал свирепю последним глотком за щекой, отбился от крошек одним (!) щелчком пальцев, водрузил на стол кулаки и, грозно набывшись, уставился немигающим взглядом на Суворова. Потом предложил:

– Давайте начистоту: как по-вашему, кто стоит за всем этим? Я навел справки и кое-что выяснил. Признаюсь, Общество друзей симпатяги фон Реттау – необычное образование. Два сопредседателя – Э. Турера, отпавший нам приглашение, и какой-то Р. Аттила Урье. Устав засекречен. Ни членского списка, ни поименного состава попечителей, ни протоколов с заседаний этого почтенного объединения я, несмотря на все свои связи среди пронырливой журналистской братии, не обнаружил. Никаких интервью, ни одного публичного выступления представителей Общества, ни единой брошюры, кроме буклета Бель-Летры, ни какой-либо громко заявленной акции или цели, ни даже плана мероприятий на год, как водится у подобного рода энтузиастов... Офис в Афинах, банковский счет в Цюрихе, вся недвижимость – эта вот вилла, да и та арендована. Будь это подозрительное местечко не столь на виду у баварских властей, я бы подумал, здесь замешана мафия.

Суворов, неискренний тип, покачал головой с укоризной:

– Ваша мнительность безупречна. Если ей чего и недостает, так размаха: почему не предположить заодно, что я и Дарси – подсадные утки, а Гертруда – агент Моссада, подсланный сюда вас вербовать?.. Будьте проще, Расьоль. В вас говорит сейчас автор романов, а не благодарный щедрому приглашению гость. Не мне вас учить, что редкий литературный саженец приживается на каменистой почве реальности. Будьте проще. Любое доброе дело, даже если нам непонятны породившие его обстоятельства, по крайней мере заслуживает снисхождения со стороны тех, кому оно адресовано. Вам не кажется?

Расьоль сердито нахмурился:

– Доводилось ли вам, коллега, слышать про бесплатный сыр в мышеловке? Меня не прельщает роль подопытной крысы, которую отслеживают в лупу костлявые духи из спиритической лаборатории, потерявшей своего алхимика сто лет назад.

– Тогда какого черта вы здесь?

– Реплика госпожи Спинелли... Что ж, отвечу прямо: я принял вызов. Только не знаю пока, от кого...

Они помолчали. Тема заглохла. Кухарка куда-то запропастилась. Время от времени из туалета на этаже доносились сдавленным всхлипом терзания Адрианы.

– Печальная песнь мироздания. Это же надо – одно несчастное яблоко, а столько за него расплаты. Невольно наводит на мысль о потерянном рае, – Расьоль ухмыльнулся. – Впрочем, эта дева обожает выворачивать себя наизнанку. Хотите, расскажу, как мы с ней познакомились? Есть на Монмартре одно порочное местечко – модельное агентство, которое содержит мой добрый знакомец, кроткий гомик с грустными глазами и славной привычкой потрафлять моим грубым и старомодным, на его продвинутый взгляд, вожделениям. Время от времени я навещаю это уютное гнездышко, где с надменным упоением наблюдаю за тем, как разоблачается под софитами полногрудая молодость. Пожалуй, в моем соглядатайстве кроется доля высоколобого эгоизма: красота, низведенная до примитивной загогулины иероглифа, позволяет смотреть на себя свысока даже такому приземистому и приземленному читателю цветных пиктограмм современности, как ваш покорный слуга. Меня это вдохновляет: обожаю, знаете ли, индукцию. Копание в мусоре мелочей повседневности дает неплохой урожай для грядущих шедевров... Так вот, в тот день было все как обычно: попки, лифчики, губки, каблучки длиной в штопор, ленивые позы глазастых питонов. А потом появилась она – худая девица в лохмотьях и со жвачкой во рту. Постояла на входе, приценилась, подошла к Франсуа и спросила: «Сколько платишь за сеанс?». Бедняга опешил и стал озираться в поисках охраны, допустившей сюда эту рвань. Рвань между тем раздевалась: скинула грязные кеды, потертые джинсы, фуфайку, носки и, оставшись в чем мать родила, как-то вмиг перестала быть рванью. Потом, посчитав, вероятно, что чересчур обнажилась, стянула с Франсуа берет, напялила его себе на гриву и босиком зашлепала на подиум. «Ну-ка, подвинься, подруга». Подругу сдуло с дивана. Мы остолбенели. Когда она улеглась и закинула ноги на подлокотник, я невольно зажмурился – так хотелось удержать на зрачках это жующее резинку видение совершенного в своем роде животного, лишённого напрочь стыда, но взамен... одаренного свыше какой-то спокойной и равнодушной, как ее жующие челюсти, грацией плоти, которой, знаете ли, было плевать на всех и на вся: софиты, камеру, толпу, на прослезившегося Франсуа, пожалевшего в это мгновение о своих педерастических предпочтениях, плевать на меня, мое восхищение, мой рассудок и даже мое безрассудство, уже спешившее, подтянув штаны, другу на выручку. Недолго думая, я достал свой бумажник, сунул в кипу отрепьев и понес их ей на диван, умоляя одеться и помышляя о том лишь, как скорее оттуда убраться, чтоб не делить ее наготу ни с кем из тех,

кто, так же, как я, был убит ею влет, наповал... В общем, мы подружались. С тех пор я ревнив. Впервые в жизни. И она это знает. Мы играем в зверушек по шесть раз на дню, что в мои сорок восемь совсем не пустяк... Глотните водички, коллега. По глазам вижу, в горле у вас сделалось сухо, как в детской песочнице. Да не смущайтесь вы так: я и сам себе завидую. В последние месяцы, стоит мне наткнуться на зеркало, я то и дело норовлю поздороваться со своим отражением – настолько моя неказистая внешность противоречит внутренним эйфорическим ощущениям. Ибо «я – это другой». Вот так мы вернулись к пройдохе Рембо... Самое время ответить по сочному фрукту. Вам больше по вкусу банан или слива?

– Груша. Спасибо, – Суворов ловко поймал.

– Что ж, – захолоп веками Расьоль, – тоже весьма эротично. Любите сладкое? Большие округлые формы, конечно, имеют свои преимущества: в них меньше деталей. Для торопливого искателя наслаждений наверняка явный плюс. Ну а я, с вашего позволения, отберу себе сливу. Она а) смуглей, в) подтянутой, с) своенравней.

Суворову стало смешно (если совсем не смешно, так бывает):

– Ваш откровенный рассказ возбудил во мне интерес к анатомии. Обязательно на досуге полистаю учебник с картинками.

– Не кипятитесь. Повторяю, я вас читал, так что ехидство ваше неискренне. Осторожно, приятель, а то меня уже подмывает перейти к обсуждению постельных сцен в вашем тоскливо-нетленном опусе.

– Что-то вас в них покорило? Валяйте. С удовольствием послушаю ветерана сексуальной акробатики.

Расьоль скривился, будто слива попалась с червячным мяском, и отмахнулся:

– Бросьте, Георгий! Право, вы чересчур горячитесь. Я же чрезмерно болтлив. Как бы у нас из милого завтрака не вылилось ссоры.

– Завтрак окончен. Вы сами дали это понять, поплевав в мою чашку.

Француз покусал губу, размышляя, потом куснул ноготь, усмехнулся недобро и погрозил Суворову пальцем:

– Ну что ж, сам напросился... Так и быть, я скажу: описание вами любовных утех напомнило мне сценки детства, когда моя мать заставляла меня по утрам чистить зубы, экзекуторски приговаривая: «Вверх и вниз, вверх и вниз. И так – три минуты, не меньше. Потом тюбик на место, а щетку прополоскать...». Страсть ваших героев стерильна, коллега, как скальпель стажера-хирурга, с той, правда, существенной разницей, что таковой остается даже после того, как сделан кривой, неумелый надрез. Все ваши томления по людской душе, конечно, трогательны, но, на мой вкус, пахивают церковным ладаном или, того хуже, музеем, где на ночь глядя, сами тому удивляясь, оживают под светом несвежей свечи восковые фигурки ушедшей эпохи. Вы словно вечный запасной, чье усердие на изнурительных тренировках было, наконец, вознаграждено и которому вдруг под финал матча доверили выйти на поле, а он так увлекся разминкой на бровке, что никак не вступит в игру и только притопывает, сбивая бутсами известь с травы, – для наглядности Расьоль взял две вилки, нанизал кусочек беже и, захромав вилками по тарелке, искрошил пирожное на фарфоровом ободке. – Вы зависли между реализмом Толстого и модернистскими штучками Фолкнера, Стайн и Камю, разбавляя этот сироп хрестоматийной кислотностью из раннего Хемингуэя. Ваш стиль – это страх перед всякой ошибкой. При одном только звуке металлического пера, скребущего лед озыбших навеки сердец соплеменников, – вилка противно царапнула днище тарелки, – вы, дружище, трепещете. Все у вас гордо, красиво, как в театре Корнеля, – он постукал по бокалу, выбивая хрустальное эхо. – Вы словно рисуете каждое слово прописными буквами, и кругом-то у вас чистописание: Дух, Сомненье, Предначертанье, Душа... Простите, но у меня от всего этого скулы сводит. Читая вас, я не могу отделаться от чувства,

будто стою часовым у входа на кладбище. Хотя – с удовольствием отдам вам должное – явленный вами талант несомненен. Пара страниц меня понастоящему взволновала, что, поверьте, немало: среди нынешних борзописцев не всякий способен вымучить сильную фразу.

– Премного благодарен, – буркнул Суворов, следя за тем, как француз, позвякивая вилками, исполняет, причем очень похоже, чаплинский танец из «Золотой лихорадки». – Услышать такое от мэтра – большое везение. Я почти окрылен. Нам, ребятам на бровке, поднести знаменитому форварду мячик – уже в радость. Вот только... – Он выдержал паузу, догрыз (подробно, пожалев лишь хвостик) грушу и, слизнув с губ сладкую пленочку сока, выпалил: – Только вот форвард, пардон, отчего-то пасется в офсайде!

– Вот как? Цай-ай! – Танцор споткнулся, уколол кукловода в указательный палец. Капелька крови была тут же предъявлена виновнику травмы, потом раненый перст, блеснув каской ногтя, нырнул за подмогой в пещеру умолкшего рта.

Вид Расьоля, сосущего палец, спровоцировал Суворова на ответное красноречие:

– А так, мсье, что вы сплошь и рядом нарушаете правила: в арсенале ваших финтов все больше подножки да тычки соперника локтем под улюлюканье неистовствующих трибун. Ваш почерк – нитевидный пульс ленивого миокарда. Слабый пунктир, набрасывающий карикатуры отточенным завистью грифелем, потому как сотворить хотя бы один полноценный портрет вам не хватает дыхания. Писать маслом вам не с руки, потому что рука эта не приспособлена к долготерпению. Ей претит соиздать, как претит астматику мысль лезть без страховки на гору. При упоминании о высоте у вас начинается головокружение. Ваш удел – смотреть вниз. Видеть то, что пониже пупка. Ваш горизонт – это пах. Пощелкай у вас над ухом – вы с непривычки шею свернете, коли рискнете поднять голову и посмотреть, кто это там балует. Если я, как вы выразились, торчу, разминаясь, на бровке, то вы всегда – вне игры. Вы из тех, кто выходит на поле лишь в перерыве, чтоб беспрепятственно поколотить мячом в пустые ворота. Дозвольте вам сыграть с мастерами, вас дисквалифицируют первым же свистком – за подстрекательство публики к дебошу... Выньте палец изо рта, а то, неровен час, откусите.

Француз иронично похмыкал, задыхался на очки, протер линзы салфеткой и негромко, но очень отчетливо, словно диктуя речь в микрофон, произнес:

– Как полезете в Альпы, не забудьте пощелкать у меня над ухом. Уж я позабочусь о том, чтоб подпилить вам страховочный шнур... – Помолчав, добавил: – Бедная Адриана. Пока мы с вами лущуем друг друга бесноватой своей откровенностью, она предается за нас пароксизму спасительной тошноты. Вот где честность! Судя по звучанию ее унылой песни, ей сейчас надобен стимул. Что ж, пойду подсоблю...

Суворов спорить не стал. Хорошо бы и дальше обходилось без драки, подумал он и отправился затоптать раздражение в приусадебный сквер.

Погода была хоть куда. Мелкий гравий скрипел под ногами покорным согласьем, так что вскорости Суворов почти успокоился. Только вот из травы в свежий воздух утра пятнами летнего марева начинала вползать духота.

Пикировка с Расьолем не принесла и толики удовлетворения: сам он сказал слишком много из того, что дозволено, и, как бывает в такие моменты, теперь понимал (к сожалению, задним умом), что сказал недостаточно. Зря сказал. Жан-Марк задел его за живое. Кому, как не этому битому неудачами ратнику знать, что в знаменателе всякой литературной судьбы – неуверенность в собственных силах?.. Сгоряча Суворов ответил. Но ударять ниже пояса – значит играть по расьолевским правилам, то есть вовсе без правил. Выходит, первый раунд жалкого кетча остался-таки за французом.

Сознавая свой неуспех, Суворов припомнил о том, что в его писательском повседневии случались порой убийственные проколы, которые он окрестил про себя *глумлением вдохновения*. В особо успешные дни, когда работа спорилась и текст на глазах обретал нужный ритм и дыхание (поймавший ветер парус; корабль, укротивший волну), приходило ощущение хладнокровного (ступивший в борозду фортуны киль) и надежного (точно упругий балласт для кормы) восторга, приближавшего минуты удивительной трезвости, в которые казалось, что все вдруг – и в нем, и вовне – становилось предельно ясно и, сами собой, будто бы вождедея небес, в этом летучем и доблестном плавании рождались строки просторной, пронзительной, какой-то потусторонней и оттого почти что запретной, раскатистой голосом правды.

По прошествии времени они-то и выпадали из контекста. Вопрос: кто врал? Те самые строки или отвергнувший их сортировщик-контекст?..

Возможны три варианта ответа: строки; контекст; и то, и другое. «Хорошего» ответа нет и быть не могло.

Так и здесь: все, что имел он сказать сегодня Расьюлю, было вроде бы правдой. Но ее отвергал сам контекст – не столько первой беседы, сколько задавших эту беседу координат – места и времени (энчульдигунг, Лира!). В итоге – тошнота и ложь...

Причем тошнота – это лучше, потому что сюжетом была предусмотрена сексапильная барышня с Адриатическим именем. А в общем, конечно же, пакость.

Суворов вышел за ворота усадьбы и зашагал наугад по дорожке в поисках озера. Ну-ка, где тут у вас, товарищи немцы, выход на волю? Отоприте, пожалуйста, русскому литератору...

Оказалось – целое море. Беспредельная щедрость стекла.
Разделся, бултых – и поплыл... (И забыл... И зажил...)
Одно слово – лето!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ (Перипетия)

Внезапные повороты в ходе событий обозначают словом «перипетия». В этом смысле добротный детектив должен быть напичкан перипетиями, как рождественский гусь яблоками. Секрет только в том, чтобы яство не разошлось при готовке по швам. Отсюда нехитрый рецепт: максимальный огонь, много перца, подавать с пылу с жару.

Арчи Куннинг.

Как приготовить бестселлер в домашних условиях

Без драки, однако, не обошлось. Посреди ночи Суворова разбудили приглушенные голоса, хоронящие в деловой поспешности тишину, и скрип лестницы над головой. Кто-то взбирался на башню. Вслед за ним бежали шаги многих ног. Накинув халат, Суворов приблизился к двери, изпод которой бледным ядом полз к его тапкам снаружи неряшливый свет. Прислушавшись, распознал женский плач, перемежаемый вопросительными интонациями чужого участия, и распахнул дверь на площадку. Адриана сидела на стуле перед большим антикварным бюро и неуклюже отбивалась от судорог. Тело ее сотрясилось икотой и всхлипами. Над нею навис человек в накиннутой поверх пижамы мокрой ветровке и на нескладном английском пытался ее успокоить. Там же стоял, объясняясь с лающей рацией, полицейский огромного роста с расстегнутой кобурой. В другой руке он держал резиновую дубинку, напоминающую гигантский палец-протез. На перилах Суворов увидел торчащий сверху копытцем фонарь. Откуда-

то снизу покаянно печалился бас Жан-Марка Расьоля. Лицо Адрианы распухло у левого глаза и, словно от него отрекшись, подалось вправо, прихватив за собою дрожащий в конвульсиях рот. Суворов вернулся к себе, наполнил водою стакан и поднес его девушке. Та не сразу заметила. Пить ей было труднее, чем плакать.

– Спасибо, – сказала она, попробовав улыбнуться.

Немец в пижаме ему благодарно кивнул и стал объяснять:

– Сначала будилась жена. Потом потолкалась в меня, а сама телефонирует в полицию. Мы здесь рядом гостим за друзей, пока они передыхают на море. Тоже вилла, хотя не такая большая и взрослая... Я заспешил на дорожку, а там сидела она, под забором, запуталась в плющ и расстроено плакала. Я пытался ей помогать, но она не заслушивала. А тут дождь капал сильно, лужа с ванну под ней... Как увидела фары от полицейского вагона, убежала сюда. Мы трудно успели... Хорошо, что оконце на башне заклинило.

– Его будут судить?

– Не знаю, – ответил тот сокрушенно. – Допустимо, если она...

Он сделал руками стеснительный жест, имитируя подпись.

– Едва ли, – Суворов с сомнением покачал головой. – А где был он сам?

– У себя. Спал, как малютка. Но до сна ему не теперь!.. – хохотнул было немец, но тут же устыдился неуместности собственной шутки. Чтобы его подбодрить, Суворов предложил ему кофе.

– Вы промокли. Надо согреться. Или, может, по капельке шнапса?

– Нет-нет-нет! – зачастил тот возбужденно. – После кофе я не усну, а от шнапса напротив – спать долго. Мне завтра рано подъем.

– Адриана, а вы?

– Я в порядке. Спасибо. Только мне очень... – она замолчала.

Суворов попробовал угадать:

– ...Больно?

– Нет. Гадко. И, прах вас возьми, стыдно смотреть вам в глаза...

Он присел перед нею на корточки, взял ее руку в свои и только теперь разглядел у нее на груди, в нескольких сантиметрах от горла, влажную марлю с горячей розочкой посреди, в которой узнал послед крови. Адриана покачала головой:

– Это не он. Жан-Марк – это глаз. Тут царапина от родео. Одна воинственная компатриотка, прибывшая из Калабрии, метнула в меня сорванный с вешалки штырь. Так сказать, поразила копьем. К ее сожаленью, копье поломало свой зуб о мое железное сердце и отвалилось порошным стручком. Потом был мой ход. Я отдала предпочтенье стеклу. Надпись к картине: «Бутылка бьет рог».

– Рог?

– Ну да. В прямом смысле, без адюльтера... Та штука, на которую вешают шляпу. Можно, конечно, поискать еще аналогии, значительно ниже по корпусу, но, боюсь, они вряд ли добавят мне обаяния. Так что пусть будет рог... И не надо на меня так смотреть, а то под вашим жалостливым, глупым взглядом я чувствую себя сиротой. Лучше уж отвернитесь, Суворов, и притворитесь, будто готовы меня извинить за то, что я безобразно пьяна.

– Да ладно вам. С каждым может случиться такое.

– Оставьте. Проблема в том, что, когда происходит нечто такое, в роли этого каждого выступаю лишь я... Вы полагаете, это впервые?

– Полагаю, с вами это стряслось в последний раз.

– Жизнелюб – ваше кредо?

– Иногда.

– И когда же?

– Когда, как сейчас, утешаю избитую молодость, под сурдинку любуюсь ее красотой.

– Протрите глаза: я сейчас так противна...

Полицейский выключил рацию и направился к ним:

– Вы тоже француз?

– Нет. Хотя и участник Антанты... Берите правее по карте: Россия.

Взгляд стража порядка сделался сразу тоскливей:

– И надолго вы здесь?

– На три месяца. Да вы не волнуйтесь: я дал маме клятву потерпеть этот срок и не бить по лицу местных женщин.

Юмора полицейский не оценил. Наручники, свисавшие с пояса, стали сразу как-то заметней.

– Эти двое... Они при вас ссорились? Он ей уже угрожал?

– Нет. Оба вели себя на редкость прилично и мило.

– Мне нужно в ванную, – сказала Адриана. – Вы позволите?

Суворов проводил ее к себе, потом вернулся на площадку, где уже стоял, облокотившись о батарею, Расьоль. Второй полицейский оказался менее грозным, зато подозрительным и с лошадиным лицом, что, впрочем, не мешало ему по-кроличьи пришепетывать, налегая на «ф»:

– Почему пофтрадавфая в вафэм номере?

– Насколько я понимаю, в ее собственном проводился допрос. Не рискула мешать вашей интимной беседе.

– Пов'вольте... – полицейский прошел в его комнату и постучал авторучкой в дверь ванной. Адриана матерно выругалась, и трое мужчин, исключая скульптуру колосса с дубинкой, прыснули со смеху.

– Так-то, дружище. Не тревожьте раненого зверя, даже если он принял обличье сучки, вымокшей в тряпку из-под кальсон. А еще, я скажу...

– Расьоль! – прервал Суворов готовые сорваться у француза с языка излияния. – У вас-то что под глазом?

– Это? Ух, черт, болит!.. Это – кровавый знак страсти. Ну и взбучку она мне устроила, я вам доложу! Куда безопасней иметь дело с овчарками из журналистского цеха, чем отпустить пощечину помешанной на литературе мадемуазель. Но, верите, я не сдержался: эта злобная стерва приревновала меня к какой-то жирной заднице в баре, на которую я, клянусь честью, не покушался. Так – разве что из любезности ее ущипнул, чтоб поглядеть, как побегит рыбь по ее безразмерной волне. Никакого намерения вызвать шторм. Чистойшей филантропия. А Адриана взбесилась и стала меня обзывать. Я снес «идиота», «вонючку», «ублюдка» и «грязную сволочь» (последнюю – трижды!), но потом она заурала на весь этот бар, что я буйвол с гнилыми зубами, – и вот тут я вспылил. Да и как иначе, если мой дантист обходится мне дороже, чем жемчужные ожерелья каннских шлюх их любовникам! Ненавижу, когда глумятся над истиной. Не будь она писателем, я бы, возможно, и перетерпел. Но так коверкать детали! Согласитесь, это недопустимо...

– Потому вы вернулись один?

– Если честно, не помню. Пока амазонки дрались, я вздремнул. Что ж было попусту нервничать! В победе своей подопечной я не сомневался, так что взял себе на десяток минут внеурочный тайм-аут. А потом, как проснулся, настроил было очки, чтоб посмотреть их эпический бой, но был сильно разочарован: место, знаете ли, показалось каким-то уж больно несвежим... я бы сказал, *окаяннным*, чужим. Иной раз так бывает, когда вдруг нехстати трезвеешь (как будто на целую старость вперед) и видишь, что сунут по самую душу в помой. Поганое чувство. Вот-вот захлебнешься. Так и тянет удрать. Ну, я взял и ушлыл. Про Адриану же, каюсь, не вспомнил.

– Заливайте, да в меру! Вы что ж, добирались из Тутцинга вплавь?

– К счастью, комфортней: был доставлен сюда на борту дежурного катера. Не удивляйтесь: крепко выпивший человек легко сойдет за инфарктника, особенно если его донимать громко вопросами на незнакомом ему языке, да еще в тот момент, когда он изготовился подогреть своей струйкой ночную прохладу тевтонского озера. Так что подбросили меня в пять минут. Оставалось сбежать от охраны и пробраться по парку сквозь плот-

ные тени химер. Несмотря на свою к ним понятную вам анти... Оп-па! Иди ко мне, малыш, дай я тебя приголублю, – он раскрыл руки навстречу возникшей в дверях Адриане. К изумлению Суворова, та податливо вплыла в объятия и прильнула щекой к его лысине. – Так-то лучше, мон миньон. Папочку надобно чтить, а не мутузить.

На лицах у немцев тройным ковбойским тавром отпечаталось недоумение.

– Будьте любезны, фрау, пройти фо мной и ответить на пару вопрофов, – нашелся первым тот из шупо, кто держал в руках авторучку. Второй остался изображать монументальную группу на фоне старинных шкафов, переполненных фарфоровыми реликвиями. Статист в пижаме с широко раскрытым ртом и Расьоль с подбитым глазом придавали всей сцене неповторимое очарование – то ли бездонного смысла, то ли бездомной бессмыслицы. В любом случае, барельеф удался.

– Фрейлейн, – поправила Адриана.

– Я, пожалуй, поклоняюсь, – проямлил вконец оробевший свидетель. – Приятно было знакомиться.

– Взаимно, – ответил Расьоль и с широкой улыбкой пожал ему руку. – Как начнете скучать – забегайте к нам на огонек.

Бедолага в пижаме ретировался.

– Суворов, вы никогда не задумывались, что на писателях лежит страшный грех? Ведь именно с нашей подачи художники, режиссеры, музыканты, актеры, а за ними и чита-зри-слушатели невзлюбили полицию. Хотите знать, почему? На подсознательном уровне для нас блюстителю порядка – это цензура. Суд – критики...

– А что же тюрьма?

– Текст. Его строки – решетка.

– Боюсь, не всегда только текст. Хотя, признаю, ваш оптимизм вызывает во мне восхищение...

– Не надейтесь! Меня не посадят.

– Почему это?

– Потому что кишка тонка... И у них нет улик. – Расьоль как-то вдруг побледнел. В глазах проступили обида и грусть. Он глухо молвил: – Извините, мне дурно. Если не возражаете, я бы прошелся сейчас по следам своей музыки. Нынче поставил рекорд – девять кружек. Наступает раздача долгов, – и, не дожидаясь разрешения, очень проворно двинулся в ванную Суворова.

В окне, выходящем на сквер, замелькали огни мигалки. Первым по лестнице взмыл девичий гогот, потом он осекся и, затираемый по мере подъема совестящимся шиканьем, уже на подходе к площадке сменился вжиканьем резиновых подошв. Квартет «скорой помощи» как на подбор состоял из румяных блондинок лет тридцати с глазами цвета морской волны, чей насыщенный аквамарин не унял даже тусклый искусственный свет.

Расьоль лично встретил бригаду, выскочив наперерез и застегивая на ходу молнию на мятых брюках:

– А, спасители! Наконец-то. Я уж думал, так и умру от побоев. Ну-ка, нимфочки, посветите лучиком знаний у меня в мозгах и скажите, отчего это там так дымится? словно сгорел проводок – псстр-тр-шшик – короткое замыкание моего грандиозного разума... Кто из вас, чародейки, тут самый проворный электрик? Учтите, я вверяю вам тонкий прибор.

Пока эскулапки брались за дело, Суворов сходил к себе в номер за сигаретами. В комнате было холодно, и посреди этого холода висел цепкой гадостью дух перегара – предутренный призрак Расьоля. Курить было тоже противно. Но закрыться сейчас у себя и лечь спать было глупо и, в общем-то, нехорошо.

Он закрылся. Он лег. Вправду – нехорошо. Встал и вышел. Немного мутило. Он подумал: ...

Подумал еще: ...

Недодумав, забросил. Вскоре понял – испуганно, вдруг, – что какое-то время не думал уже *ничего*.

Дом между тем жил-поживал без него: говорил («бу-бу-бу», «вау-ау-дум», «длым-мбам-гам»), топотал, квакал рацией, даже смеялся.

Кто ты в мире, когда мир не лжет? Беспризорник, подкидьш!..

Подкидьш сердито зевал.

Через четверть часа все закончилось. Полицейские вынесли за фрейлейн Спинелли ее чемодан, процокав набойками на каблуках вниз по лестнице, а затем и Расьоль, балагурия, под ручки с хихикающими медичками отправился в госпиталь. Перед тем как исчезнуть, Адриана шепнула Суворову на ухо:

– Будете про это писать, не забудьте поменять мое имя...

Она коснулась губами его щеки, и в тот же миг он ощутил, как рука ее скользнула украдкой к его безоружному паху. Суворов вспыхнул и отшатнулся. Снизу гремел бас Расьоля:

– Вперед, Франция! Поручи свой растерзанный интеллект немецкой заботе о ближнем! Да здравствует фройндшафт!...

Из окна было видно, как одна за другой, разрезая мигалками ночь, двор покинули обе машины. Суворов скинул халат и улегся в кровать. Сон долго блуждал вокруг да около, прежде чем сумел стереть из его растревоженных чувств непристойную ажитацию. Адриана осталась витать в тишине сладким запахом непоправимо, победно сбежавшего чуда. Занимался рассвет.

Когда его сделалось много, дрема Суворова снова прервалась – его собственным воем. Вскочив, как ужаленный, он зажег лампу и, споткнувшись о том дневников Л. фон Ретгау, бросился в ванную. Ему не надо было даже искать: сон рассказал ему все. Откинув крышку с бельевого корзины, он пошарил рукой и достал из нее пакетик размером со спичечный коробок.

– Вот ведь дрянь!..

Кто из них это сделал, он не знал. Но что известно было обоим, не сомневался. Развернув целлофан, он разорвал вощеную шкурку бумаги и высыпал содержимое в унитаз, злорадно наблюдая, как растворяются в воде крошечные кристаллы. Потом дернул за ручку. На душе, однако, лучше не стало.

Какое-то время, сидя в кресле, Суворов листал дневниковые записи Лиры, пока не набрел на признание: «Меня не оставляет мысль, что красота – это лишь разновидность уродства». Он подумал: судя по Адриане, так оно и есть. Сказка про Красавицу и Чудовище, где оба героя – два сапога пара, умалчивает о том, что возможна и длинная рокировка: Красавица тоже горазда обернуться монстром... Статистически, кстати сказать, происходит значительно чаще...

«В любом случае, – продолжала философствовать графиня, – красота и уродство суть мнимые крайности, если принять, что то и другое – исключения из общего ряда, намеренные изъяны, очевидные *аномалии*. Вопрос: зачем они дадены нам? Первый, пришедший на ум, ответ: дабы яснее выразить то, что не под силу «норме». Иначе говоря, воплотить в себе некий *образ* (именно: явить во плоти!), без которого в мире чего-то убудет. Следовательно, красота и уродство суть проводники какой-то (вероятно, несложной) идеи. Значки на письменах Истории, ее простейшие ремарки, грамматическое обрамление вроде кавычек иль скобок. Коли так, красота и уродство, выполняя лишь подчиненную функцию, меньше свободны, чем *средняя мера* людского Богу подобия. Не эта ли навязанная им несвобода и делает их одинаково зависимыми от толпы, в равной степени склонной возносить хвалу и хулить?»

А еще я подумала, что уродство и красота – две стороны одной медали, чье весовое достоинство есть помещенная меж-

дуними счастливая, неприметная тяжесть существования, прикрывающаяся их отлитыми в медную память чеканными профилями. Ибо все, что мы помним, – красота да уродство. Внутри них, как в ядре, должна быть сокрыта субстанция жизни – та сердцевина, мякоть, золотая середина, та *посредственность*, что всегда ускользает от памяти, а значит, защищена от случайностей и ошибок, вызванных грехом людской гордыни: посредственность неинтересна, ее некому обсуждать. Тем и спасается...

Допустим, что так. Но тогда, если вокруг все твердят мне, что я *несравненно красива*, означает ли это, что я уже избрана памятью и обречена себя пережить в чьих-то сплетнях, не слишком правдивых полотнах и вероломных, клеветующих рифмой стихах? За что же мне этот позор? За что мне эта *поверхность*? Как-то, право же, глупо – быть в настоящем красивой лишь для того, чтобы тебя изуродовало в своем прокрустовом ложе изуверское будущее...

Другое дело – искусство. Там живо все. Только мне туда, боюсь, не добраться: я слишком пока что жива...»

Браво, графиня! Неплохо для колыбельной после сумбурного дня...

Суворов брезгливо размышлял. По теории Лиры, сам он должен быть отнесен к золотой середине, к той самой *посредственности*, которой, по большому счету, ничего никогда не грозит. Будь иначе, он вряд ли сидел бы сейчас полуголым страдальцем в мягких новеньких тапках, специально прикупленных перед отъездом сюда. Тапочки – было как приговор, предрассветное унижение, изощренный финал беспорядочной, сбивчивой ночи. Если вдуматься, то вся его жизнь была – тапочки. То, что с ним приключилось за без малого сорок лет, едва ли тянуло, с точки зрения строгого летописного синтаксиса, хотя бы на три восклицательных знака, и, если уж принято сравнивать проживаемый век с одоленьем дороги, нельзя не признать: для того чтоб осилить пройденный Суворовым путь, ни к чему было бы так уж тратиться на снаряжение. На все про все хватило б единственной пары подметок – тех же комнатных тапочек...

И ведь нельзя же сказать, черт возьми, что жил он очень уж бережно, пригибаясь или «ползком», но как-то так выходило, что с ним не случалось почти ничего из того, что могло бы запомниться как *происшествие*.

Не только, не столько запомниться, но спустя годы пересказаться как таковое – хотя бы ему самому. Жизнь его обходила ухабы, словно бы кто-то невидимый старательно мастерил из нее папье-маше и выстригал любые неровности или преграды умелыми ножницами, не забывая набросить мостки, по которым она, не теряя ленивой инерции скуки, перекатится с одного безопасного берега на другой – из *вчера* в *уничтоженье* вчера, которое было всегда лишь довольно условным *сегодня*, потому что ни разу (!) за тридцать девять теперь уже лет не задело его ни единым осколком беды или громкого счастья, будто судьба только тем и была занята, что переключивала Суворова, как лоснящуюся нулями облигацию, из сейфа в сейф, потом – в несгораемый шкаф, а оттуда – в банковскую ячейку. Рядом с ним постоянно бурлило, вскипало, дралось, воевало, взрывалось, страдало, кричало, рассыпалось, кровавело, порой выживало, только все это огибало Суворова стороной – непонятно было лишь, отчего: из особой симпатии (мол, имеется предназначенье) или, напротив, из-за презрения (дескать, *этот* совсем непригоден). Заподозрив неладное, Суворов нет-нет, а пытался двигаться наперекор: с детства закалка холодной водой, ночные пробежки по пьяным кварталам, изнуряющие, до взывших печенок, упражнения в спортзале. Однако все, что ему довелось в результате приписать себе в некий актив, да и то мелким шрифтом, было трижды сломанный нос (при-

чем все три раза по причине геометрической несовместимости шара с треугольником, из-за которой наточенный носатым наследством и уже шлифуемый литературным чутьем орган суворовского обоняния пал жертвой любимых круглых снарядов: футбольного мяча, баскетбольного мячищи и, для полноты комплекта, их меньшого братца с садистскими наклонностями – теннисного мячика, ужалившего салютом огней ему переносицу), дважды сломанный палец (эффeкт мышеловки, поочередно захлопнутой дачной калиткой и дверцей такси) и почти сломанная рука (двойной вывих: не так потянулся со сна).

Итог удручающ: слишком уж он уцелел.

Обреченный на выживание, ни разу не попавший в переделку чем-то походит на труп. Есть подозрение, что тот и другой – продукты смертельного равнодушия.

Чем провинился Суворов перед Раздатчиком, он не знал, но дефект в себе чувствовал. И когда час назад, обнаружив наркотики, застыл перед корзиной с грязным бельем, он повел себя так, как могли повести себя только опрятные нравом, верные тапочки: взять и попробовать кокаин (первые в жизни и, скорее всего, в последний, в единственный раз!) ему даже в голову не пришло... Не то что попробовать – замешкаться хоть на минуту, чтоб представить себе себя пробующим, – его не хватило даже на это. Вдохнуть в себя одним махом чужой, сумасшедший, несправедный мир, пусть мир всего лишь заемный, – его не хватило. Не то чтобы не достало отваги (до отваги дело и не дошло), а – широты, что ли, безрассудства, *дыханья*. И виновники – вот они, тапочки...

Он улегся в постель. Потом вспомнил, склонился с кровати, поднял обоих за шкуру и запустил плашмя в стену...

Застучало хорошим в груди. Потихоньку светлело.

Утро подкралось шуршанием измороси и вздохнувшим рамой окном. С твердым намерением послать время к черту Суворов взбил подушку и, вместо счета до тысячи, устало размял свою память примерами русских ругательств. Когда запас их иссяк, в ласкаемой потеплевшим дождем тишине вдруг послышалось хныканье. Поймав на ощупь, чутьем, почти иллюзорную ниточку звука, Суворов осторожно, чтоб не порвать, потянул за нее и обнаружил, что звук сочится не из-за стены, а как бы исподтишка – из-под дощатой пазухи пола. Поверить в то, что Расьоль способен заплакать, сосед сверху так и не смог. Но сочинять другие объяснения было уже недосуг. Воззвав к милосердию сна, Суворов решил притвориться глухим. Помогли только дождь и несмелые, вялые птицы...

Сопровождаемый их робким щебетом, он бродил почтальоном по парку и впотьмах искал след тропы. Найдя же, поднялся сквозь строй пляжных зонтиков к одинокому маяку в глубине набиравшего ход кинокадра. Под прицелом невидимой камеры протиснулся внутрь стеклянной шайбы-клетушки, из которой, дымясь черно-белыми лентами, полосил внизу по воде быстрый свет. Суворов пригнулся, вынырнул из зарослей паутины, так похожих на пряди волос, и, почему-то на цыпочках, двинулся к тусклой слезе исцарапанной временем ставни. Оставалось ее распахнуть, чтоб пустить, словно парус по ветру, зажатый под мышкой конверт. Когда он к ней потянулся, ставня вдруг раскололась, обдав его брызгами льда, залепив лицо водорослями. Его передернуло.

Пришлось возвращаться к себе на поклон, бубня оправдания в рыхлое брюхо подушки.

Клип с маяком отдавал дурным вкусом. Если бы сегодня окно на башне не заклинило, эффeкт дежа вю отравил бы изысканность спиритической кухни Бель-Летры вульгарностью каннибальской резни. Дважды за месяц увидеть разможенный череп – привилегия лаборантов в резекторской. Привилегия Суворова – заказать иной сон...

Избрав правый бок, он вскоре покинул страницу. Отныне см. на другой.

ГЛАВА ПЯТАЯ (Батрахомиомахия)

Автор поэмы «Батрахомиомахия (Война мышей и лягушек)» неизвестен. Плутарх приписывает эту пародию на «Илиаду» некоему Пигрету, высмеивавшему в ней греко-персидские войны. Если это так, то перед нами пример исторического памфлета, сочиненного человеком, который, явив незаурядный дар, обнаружил и столь же незаурядное пренебрежение к морали: его никак не заподозришь в патриотизме. Скорее даже этот эллин воевал на стороне персов, эллинских врагов. Этакий перевертыш, создавший перевертыш-текст...

*Гаиска Гримальди. Измены и изменения:
литература против этики*

На завтрак он опоздал. Пришлось довольствоваться апельсиновым соком и парой бананов, оставленных сердобольной кухаркой на блюде рядом с газетами. Настроение было паршивое. Перед тем как спуститься в столовую, он увидел с балкона мансарды прогуливающуюся по лужайке особу. Одета в белое платье до пят, она прошла по дорожке вниз, обогнула склон и, воспользовавшись запасной калиткой, покинула виллу, скрывшись в зеленом парке. Широкополая шляпка помешала Суворову разглядеть ее лицо, но старомодный наряд, скользкая, как перо по бумаге, походка, сложенный веер в руках да прямая закалка спины наводили на мысли о том, что стеснительность привидений преодолима. Настанет день, и они начнут таскать десерт со стола...

Дозвониться до Веснушки не удалось. Суворов попробовал снова, уже после завтрака, – безуспешно. Вдобавок ко всему порезал палец о листы взятой в библиотеке книги («Фон Ретгау в воспоминаниях современников», Мюнхен-Лондон, 1921 г.), оставив на корешке кровавым доказательством своего соучастия в преступлении отпечаток бурого цвета. Вопрос лишь в том, какой из способов душегубства теперь предпочесть...

Несмотря на криминальные наклонности закоренелого литератора, ответить на него он по-прежнему затруднялся: не хватало задора пройтись по столетним следам – так, чтобы дать себе волю вытравить затянувшуюся апатию и найти то самое первое слово, с которого и затеется непоправимость заказанного контрактом трагического финала.

Он не писал уже много месяцев и, как бывало в подобных случаях, испытывал ощущения человека, который был раньше срока изгнан на пенсию и вмиг оттого постарел. В кабинете на письменном столе пылилась пишущая машинка, но сама мысль о том, что нужно к ней подойти, снять чехол и заправить каретку чистой страницей, угнетала, как ноющий копчик. Только наивные дилетанты полагают, что писателю в радость его ремесло. Если по правде, ему оно – в гемморрой.

Суворов тщетно стыдил себя, убеждал, что негоже оправдывать собственное безделье ссылкой на то, что счастливой привязанностью к непрестанному сочинительству отличаются безнадежные графоманы, в то время как большинство из тех, кто *умеет* писать, ненавидит это занятие! Как ни крути, еще горше им ненавистно молчание – непременно плата за то, что сказал.

Своей последней книгой Суворов высказал все, что имел. Избрав главной метафорой остров, он обратился к нескольким хрестоматийным сюжетам, соединив их прочным узлом, который – в том-то и заключалась беда – связал самому ему накрепко руки, не пуская двинуться дальше с тех пор, как роман был окончен.

(... Одиссей возвращается после скитаний домой на утлом суденышке, которое в ночной шторм прибывает к заветному берегу, расколов лодку в щепы о скалы. Выброшенный пучиной на мель, герой теряет

сознание. Очнувшись наутро, он видит, что остров пустынен. Сомнений в том, что это родная Итака, быть не может: здесь знаком ему каждый камень, родник, каждый куст. Только нет больше улиц, домов, нету рыночной площади, нету даже развалин. Ничего, кроме острова, который и есть – **ничего**. Так одиссея превращается в робинзонаду. Год за годом герой строит лодку, мечтая куда-то уплыть, но любая попытка его терпит крах: челн упрямо кружит, огибая по милости волн заколдованный берег. Покинуть его не дано. Похоже, это и есть конечная цель путешествия – Одиссей осужден возвращаться домой, даже если сам этот дом никогда к нему не вернется.

Смирившись, герой сидит вечерами на холодном прибрежном песке и слушает время. Оно плещется пеной у его босых ног и смывает следы, как насечки бесплодных надежд. Паллада молчит. Боги теряют к нему интерес, равнодушные к приносимым им жертвам. От бывшего хитроумия остается лишь неутолимая жажда рассудка познать то, что познать он не в силах: страдание зряче лишь до тех пор, пока измеряется одолением страха и боли. Одиссей – не боится. Для этого он слишком слаб. Боль съедается день ото дня безразличной тоскою. Постепенно в ней тают воспоминания – последняя точка отсчета себя.

Когда она почти стерта, на горизонте он замечает корабль. Тот приближается. Укрывшись за скалой, Одиссей наблюдает, как сходят на берег какие-то люди. Среди них узнает он супругу. С нею – юноша, чье лицо ему тоже знакомо, пусть его он и видит впервые. Пред собою они почему-то пускают слепца, который ведет их, ладонями щупая воздух, туда, где когда-то стоял Одиссеев дворец. За ними, послушные, следуют слуги. Сам бывший царь крадется за молчаливой процессией по пятам, стараясь ничем не нарушить покой тишины, почти полной, – такой, что сопутствует разве что смерти в ее бескорыстных трудах по очистке земли от излишков. Наконец, слепец останавливается и, кивнув головой, произносит: «Копайте». Слуги берутся за дело. Телемах с Пенелопой стоят и взирают, как разверзается яма – в том месте, где прежде в дворцовом дворе бил из-под плит целомудренно-чистый ручей. Вскоре заступы упираются в твердую массу. Одиссей слышит скрежет – так железо скребет, натываясь на то же железо. Сделав знак слугам, Телемах прыгает вниз, нагибается, чтобы выволнить из глубины какую-то тяжесть. Озадаченный тем, что увидел, отец протирает глаза, но, сколько бы он ни старался исправить ущерб восприятия, картина все та же: из ямы на свет всякий раз извлекается с грохотом лишь пустота. Ее грузят в тележки и переправляют на судно. Не выдержав, Одиссей покидает укрытие и идет во весь рост к этой странной толпе, окликает жену, потом сына, потом снова жену, только те и не слышат: слишком заняты тем, что лежит в сундуках. Пенелопа перебирает руками звон драгоценных камней и монет, которые для Одиссея здесь нет, – ровно так же, как нет сундуков, как и нет самого Одиссея для всех тех, кто здесь есть. Подойдя вплотную к родным, он вопрошает покрытое тучами небо: «Почему я их вижу, а они так не видят меня? Почему они видят сапфиры и золото, я ж вместо них – пустоту? Что все это значит?» Небо узрюмо молчит. Проводив пришельцев на судно, неузнанный, не сумевший предстать для них во плоти, он понимает, что отправиться с ними, не будучи ими узренным, еще более худшая мука, чем остаться, как прежде, содержать свое одиночество на обезлюдившем острове. Он даже не знает, называется ли то, что с ним происходит, как отречься ему от скитаний по своей бесконечной судьбе? Но отныне он знает наверно другое: человек – это остров. Таинственный остров сокровищ, которые, пусть сам он от них не вку-

сил, для других куда как нужнее, чем сама его жизнь. Или смерть. Или даже его возвращение из смерти...

Роман завершился сценой того, как Одиссей разбивает челн и пускает по морю обломки, посылая миру тем самым знак своего обретения родины. Он добрался – туда, где нужнее всего.)

Несмотря на недостатки (перегруженность символикой, чрезмерный пафос, медлительность фабулы, длиннющие абзацы, полное отсутствие диалогов, подробность деталей, которые тоже – символы), книга получилась в целом такой, какой и добивался Суворов. То, что она снискала успех, было приятным сюрпризом. Как видно, пластичность повествования, исповедальная интонация, лишь окрепшая голосом оттого, что ни разу ее не разбавил какой-либо вскрик или всхлип, обилие метафор и образов вкупе с тщательной выделкой стиля перевесили многочисленные ее недочеты. Кроме, разве что, очевидного минуса: Одиссей застрял у себя на Итаке не один, а в компании автора. Суворов пытался отчалить с постылого острова, призывая на помощь то волю (которой всегда недостаточно), то лень (которую после никак не уймешь), то любовь (которую, сколько б ее ни искал, не находишь такой же желанной, как грезил). За год он дважды уходил в запой, дважды страшно трезвел, дважды влюблялся в Веснушку и даже дважды сходил с бывшей женой, но, дважды поняв, что не в силах войти в ту гавань, что бросил до этого дважды, расставался по-дружески с самым заклятым врагом, чтобы блуждать затем месяцами в тиши по страницам чужих умных книг, лелея надежду найти в них намек на спасение. Однако любая подсказка оборачивалась на деле все тем же испачканным в грязь, омерзительно-лживым листом, набитым пустопорожними словесами, как сортир мухами. Дойдя до последней степени отвращения к своему состоянию, Суворов вдруг понял, что начал к нему привыкать, как привыкает патологоанатом к своим специфичным занятиям – с той лишь разницей, что являлся к рабочему столу (этому средоточию острова) не регулярно, по будням, а в дни настороженного замешательства, обещавшего волной нахлынувшего беспокойства канун близкого откровения, на поверку оказывавшегося лишь зачином очередной и унылой недели прогулов.

Вчера после ужина Суворов, правда, работал: собрав в библиотеке английские переводы писем фон Реттау к ее богемным поклонникам, он углубился в чтение, от которого на губах у него остался подозрительный привкус проглоченного обмана, словно вся эта эпистолярная изысканность была рассчитана не на конфиденциальность признаний, а на пристрастный интерес третьих лиц. Впрочем, людям свойственно проверять изнанку своего белья на просвет пронизательной смерти. Чаше другого нарочитая небрезгливость дневников выдает тщеславие распознанного в самом себе мессианства. И так – почти у всех. Почти у всех...

Подводя итоги прочитанному, Суворов склонялся к выводу, что Лира фон Реттау являла собой пример азартного игрока, получавшего особое удовольствие от риска и блефа, ибо, насколько он мог судить по отзывам современников, графиня не гнушалась раздавать авансы одновременно сразу нескольким воздыхателям, предпочитая, однако, общаться с ними издалека, посредством дерзостных писем, отличавшихся изощренной и на редкость изобретательной сладострастностью. Очевидная нелюбовь к фотографии (Суворову удалось обнаружить лишь пару снимков, где она представляла во всей своей соблазнительной красоте: роковая брюнетка со взглядом вампирши, многократно вкусившей крови невинных жертв) только добавляла опасной загадочности ее коварному обаянию. Между тем никто из тех, кто претендовал на роль ее любовника, не предьявил нигде сколько-нибудь веских доказательств того, что был с нею чувственно близок. Лишь три претендента – Фабьен, Горчаков и Пенроуз – в подробнос-

тях описывали проведенную с нею ночь, предшествовавшую ее таинственному исчезновению, каковое обстоятельство, разумеется, отнюдь не добавляло ясности в ее ускользающий образ, а, напротив, вызывало законные сомнения в искренности самих упомянутых авторов.

В общем, констатировал Суворов, доверяя источникам, мы вынуждены признать, что имеем дело с этакой Беттиной фон Арним, Жорж Санд, Лу Андреас-Саломе, Колетт, Маргерит Дюрас, Александрой Коллонтай и Симоной де Бовуар в одном лице. И лицо это по-прежнему над нами смеется...

Обойдя дважды виллу, он дошел по тропинке к фонтану и, обернувшись, поглядел на фасад. На веранде сидел человек. Это не был Расьоля: тот бы так не сидел. Этот сидел на веранде так, словно сиживал на ней не раз и не триста раз, причем от того, что он на ней сиживал да еще и сидел, веранда будто бы приосанилась столбиками, вздернула бровками тент, раскатала перильца, как губки, и преобразилась в Веранду. Человек сидел себе на Веранде и покуривал трубку. Суворов кивнул и получил кивок в ответ.

– Оскар Дарси, – отрекомендовался незнакомец, поднявшись, когда Суворов приблизился.

– Очень рад. Георгий Суворов. Вы только что прибыли? Я не заметил машины.

– Я приехал вчера, что-то около десяти.

– Вот как? Я и не знал. Стало быть, вы все слышали?

– *Слышал?* Но что?

– Поздравляю. У вас крепкий сон.

Рассказывать Дарси о драке Расьоля и Адрианы он, понятно, не стал. Черт его знает, может, и вправду не слышал... Как-никак джентльмен.

О Дарси Суворову было известно немало: сорок пять лет, сын английского пэра, гордость Оксфорда, где остался лекторствовать и после того, как сделался всемирно знаменит. Талант беспощадный, холодный, сухой, как алмаз-стеклорез. Некоронованный король постмодерна, создавший три бесспорных шедевра за какие-нибудь десять лет. В прошлом году последний из них наконец был отмечен заслуженным Букером. Любитель конкура и мотогонок. К тому же красив, как одетый для гольфа Давид.

Перед Дарси он преклонялся.

Дарси он не любил:

Дарси был гениален.

– Не желаете присоединиться? У меня здесь отличный коньяк.

Пока они пили, англичанин не изрек ничего сверхъестественного: как видно, старался быть великодушным и внимательным собеседником, что ему вполне удалось. Поболтав о парусниках, яхтах, восточных кальянах и табаке, они перешли к обсуждению парковых статуй и греческой мифологии, о которой Дарси, как оказалось, был осведомлен лучше взятых вместе Гомера с Софоклом и в случае чего мог попенять на дряхлеющую память самому громовержцу-Зевесу, однако говорил на античные темы так, будто извинялся перед Суворовым за собственное невежество. Он умел очаровывать. Как ни крути, а с Расьолем было приятней...

– Вы видались с этим испанцем, Турерой? – прервал свою речь о фатальных причудах венецианского стекла и его символической связи с водой англичанин. Поняв, что ответ отрицателен, выбил трубку о пепельницу и пояснил: – Не скрою, меня немного смутила эта манера – предлагать нам конверты с безвкусной печатью и притом не связаться хотя бы по телефону. Пару раз я пытался звонить ему сам, но наткнулся на автоответчик, сообщавший, что хозяин офиса в отпуске и вернется не раньше июля. По крайней мере номер на бланке письма – не фальшивка. Однако разве не странно, что председатель Общества друзей фон Ретгау, даже когда является на работу, делает это не в почтенном к ее памяти Мюнхене, а в знойных Афинах?

– Насколько я понимаю, он скорее финансовый распорядитель, чем раздувающий щеки на конференциях свадебный генерал. По-моему, организовано все здесь неплохо.

– Вы находите? Что ж, доверимся впечатлениям старожила. Видимо, на мои подозрения повлиял разговор о венецианской воде, в частности, рискованная гипотеза о том, что нет ничего непрозрачней прозрачности. Вынужден покаяться: любая непрозрачность начинается с того, что кто-то напускает дыму...

Дарси покрутил перед собою трубкой и мило улыбнулся. Они распрощались. Суворов поднялся к себе. После выпитого коньяка пришло состояние чуть тревожной и вместе с тем благостной лени, которое он решил разделить с незнакомой пока что тахтой. В крошечной комнатке в два карманных окна стоял только скромный доспехами шкаф да обитое бархатом мягкое кресло. Они быстро сливались в пятно.

Пятно родило Адриану. Та парила по тонкому обручу полусознания, задевая ресницы дыханьем. Суворов хмурился, порывался укрыться ветрилом и искал по палубе щит, в чью блестящую медь собирался выловить солнце, дабы отбить его пламенем атаки назойливой гарпии. Щит куда-то запропастился, отчего воин, отражаясь в ином, размером с тахту, измерении, обиженно шамкал ртом, а время от времени еще и плотоядно всхрипывал, и тогда лицо его, будто бы репетируя другую, параллельную главному действию пьесу, принимало жалкую мину вины. Оно и понятно: все мы виновны за то, что нам снится...

Когда он очнулся, часы на столе показывали без пяти минут два. Прямо под ними противно звонил телефон.

– Алло? Георгий? Куда вы подевались? Я носился по парку, подвернул до коленок штаны, но вас там и след простыл... Разрешите навеститься в гости?

– Валяйте. Дверь не заперта.

Сквозь очки у Расьоля раздавленной вишней красовался роскошный синяк.

– Что, не в силах оторваться? Можете хохотать вслух – пожалуйста, я подожду. Не хочу, чтобы приступ настиг вас за обедом. Крошка Гертруда не простит, если вы испортите ей представление, подавившись костью здешнего карпа, которого она как раз сейчас потрошит на кухне ножом, икая какой-то мотивчик... Я на минутку: кое-что у вас тут забыл.

– Расческу? – спросил участливо Суворов.

– Вот-вот... Я смотрю, вы уже близки к истерике. Зря, молодой человек. Поверьте старику: лысина требует ухода более тщательного, чем ее беззаботная юность из ежа себорейных волос, которые, если вникнуть, являются лишь эманацией подростковой эрекции. Когда же на место перхоти и испуганных всенощных эякуляций заступает поднаторевшая в любовных утехх мужественность, она избирает своим отражением гладкое зеркало плещи – эманации лимба и нимба. Подружить ее с жалким *венчиком*, оставшимся от былого великолепия курчавого шлема, – значит *увенчать* этот *лимбо-нимб* изящным *венцом* примирившейся с неизбежным течением времени мудрости. Вот вам прекрасный экспромт стилистически оправданной и онтологически безукоризненной тавтологии. Берите бесплатно – но в обмен на мой гребень!

– Найдете там, где оставили, – стеклянная полка под зеркалом... Давайте я помогу.

– Нет-нет, отдышайте! Я сам... – Расьоль скрылся в ванной и как бы невзначай притворил за собой дверь.

Суворов включил телевизор и устался на экран, с любопытством считая секунды. Прошло минуты три, а гость все не выходил. Наконец, маскируясь, Расьоль спустил в унитазе воду, поплескался руками под краном и бодро приступил к расспросам:

– Итак, чем вы тут занимались, пока ваш конкурент зализывал раны? Писали анонимки в «Монд»? Вам мало тридцати тысяч, еще и надобны тридцать сребреников? Признавайтесь, дружище, что у вас на уме?

– На уме у меня, дружище, иное: вы нас крепко подставили.

– Чем это? – Расьоль насторожился.

– Пока вы забавлялись игрой в следопыта в местном лесу, меня три часа кряду подвергали глумливым допросам.

– Вот как? И кто?

– Ваш полицейский приятель. Справлялся о том, как долго вы пробыли давеча в ванной.

Расьоль побледнел. Фонарь под глазом, напротив, пуще прежнего разгорелся.

– И... Что еще?

– Да так – глупости.

– Пожалуйста, не уклоняйтесь. Что за ребячество – подтрунивать над такими вещами...

– А чего это вы всполошились, Расьоль? Помнится, вчера после драки вы задиристо кукарекали петушком.

– Послушайте, сейчас мне не до пустой болтовни. Чего он хотел, этот «флувытель вакона»?

– Я так и не понял. Но вид был такой, будто он припас для вас огромную клизму.

– Проклятье! Я ведь предчувствовал, только решил не тревожить ваш утренний сон... Теперь мне крышка, Суворов. Вы, случаем, не помните, во сколько ближайшая электричка до Мюнхена? Мне надо уладить там кое-какие дела.

– А как же обед?

– К черту жратву! Дайте мне кепку.

– Какую?

– Какую угодно, хоть Ульянова-Ленина!

– У меня только зонтик...

– На хрена мне ваш зонтик, когда нет дождя?! Затолкайте его Дарси в зад! Когда коновал с кобурой зайвится вновь, передайте, что я прихватил полотенце, желтые плавки в цветочек, кислородный баллон и сомберро, сунул внутрь моток туалетной бумаги на случай поноса и пошел до утра полоскаться в Вальдзее. Причем вряд ли всплыву...

– Как прикажете, мой господин.

– Перестаньте кривляться! Речь идет о... – не став уточнять, Расьоль стремглав выскочил на площадку. Суворов напустил на себя озадаченный вид и, будто размышляя вслух сам с собой, пробормотал:

– Так спешил, что лекарство забыл...

Шаги смазали дробь, поперхнулись ступенькой, каблуком кашлянули и замерли.

– Эй, Суворов, это вы обо мне?

Голос Расьоля перетек из грозного баса в угодливый дискант.

– Тут наемни нашел я пакетик со снадобьем... Подумал, что ваш.

Француз издал странный звук (что-то среднее между отрыжкой и кошачьим мурлыканьем), потом тяжело, словно Каменный Гость из страны лилипутов, затопал наверх. Насупившись, точно бычок на корриде, стал надвигаться на Суворова:

– Дайте взглянуть.

– Ваше?

– Вроде бы... Да, конечно, мое.

– Это соль, идиот!

Вот и потешились! (Зависть – сильное чувство. И всегда, между прочим, сильнее стыда). В глазах у Расьоля страдание. Видно, как угасает в них промельк вспыхнувшей было надежды.

– Где само... Где лекарство?

– В унитазе. Там, где ему и положено, – вместе с дерьмом...

Француз присел на половицу у двери и, обхватив руками виски, перевел с облегчением дух.

– Ну, Суворов... Так пытать умели когда-то иезуиты, да и то лет уж двести, как утратили навыки. Но ведь ты православный?

– Заткнись. На тебе вообще креста нет. Разыгрываешь из себя помесь де Сада с Вольтером, а у самого, поди, в штанах мокро.

– Еще бы не мокро! Я, как назло, запасаю на три месяца вперед, причем на двоих, что уже не просто хранение дозы, а провоз контрабанды наркотиков... Немецкая полиция – это же волкодавы с планшетом инструкторий вместо башки. Ты не знаешь, на что они способны.

– И потому ты решил, им удобней закусьвать мной?

– Брось! Вчева тебя не допрафывали, а вначит, обыфкивать бы не фтали.

– А если б вдруг?

– Где твое чувство эстетики? Где чувство меры, Суворов? Ты что, взялся писать дешевые триллеры? Лучше дай мне по морде, и дело с концом, – он задрал кверху голову, преданно заморгал, ухмыльнулся и демонстративно простился с очками.

– И дам.

– Вот и дай.

– Вот и дам.

– Вот и дай.

Вот и дал. Француз оказался летуч. Приземлившись под самым бюро, Расьоль всхрюкнул, приподнялся, помотал головой, встал на колени, отряхнулся собачкой, поцеплялся блуждающим взором за нависшую тень, погрозил гуттаперчевым пальцем и, издав некий «бз-дык!», рухнул, уютно воткнув в глянецвитость паркетин полирующий глянец раздетого лба. От виртуозной эксцентрики, завершившейся полуккульбитом, зритель обмер в восторге. Сам солист отдышал, всецело, казалось, предавшись романтической сладости грез, покуда его силуэт – эманация стойкого духа – чертил на полу безупречную в совершенстве окружность, хотя и с досадным зигзагом, торчащим из-под нее в виде голосующих туфлями ног. Исправляя чертеж, Суворов зигзаг ловко стер, надлежаще сложив лодыжки Расьоля на плоскость – по давней традиции, более воздуха родственной обуви пол. Получился логический *раунд*.

Засим раунд был вроде как кончен. Итожа картину, соавтор негромко воззвал:

– Вставай, якобинец! Пойдем распевать «Марсельезу»...

Расьоль воспрянул из праха уже через пару минут. Реаниматору всего и потребовалось, что выдернуть овощ из грядки, донести до раковины и запустить в него холодной струей.

– Что за жизнь! Каждый день мне бьют морду. Ты тоже хорош! Мог бы дать понарошку.

– Сам напросился.

– А ты что, слабоумный? Два нокдауна за неполные сутки! Если начнется в мозгу кавардак...

– Не начнется. Дай-то Бог, чтоб закончился.

– Знаешь, что у нас тут с тобой приключилось? Дуэль. Как у тех двух придурков.

– Там стрелялись, а здесь – избивали... Чуешь разницу?

– Граф Суворов, не будьте свиньей. Как я выгляжу, хам?

– Удальцом.

– Вот и ладно. Пойдем-ка закусим. На голодный желудок ты зол. Дикий скиф, где мой гребень?

– Удрал по ступенькам. Придется тебе на обед заявиться лохматым. Не забудь про очки. Поднеси-ка сюда мне свой нос...

– То-то мне показалось, что я вижу будто из дзота – как-то расплывчато и пополам: полплощадки, пол-люстры, пол-лестницы, пол, слава Богу, тебя... Должен признать, что твоя половинка вполне состоялась: она... как бы это помягче сказать... отвратительна, гадка, противна, мерзопакостна и, что хуже всего для нее, – половинка *тебя*. Теперь представляешь, как я страдаю, когда рядом с тобой да еще и в очках?

– Так сними. В твоем положении проще освещать себе путь фонарем.

– Как-нибудь я дам сдачи. Ты слишком доволен, герой³.

– Не буду скрывать: еще как!

– Осторожнее: жизнь – колесо. Оно крутится, Суворов. Сегодня ты наверху, а вот завтра...

– Расьоль, ты банален.

– Разумеется!.. Я же писатель. А банальней писателя в *жизни* бывает сама только жизнь, а она – колесо. Перестань аплодировать, сволочь...

– Ладно, приятель, прости.

– Наконец-то!

– Нет, без шуток, ты уж меня извини.

– Перебор. Сейчас я уверен – ты русский.

– Ну а ты – русским битый по морде француз...

ГЛАВА ШЕСТАЯ (Орестея)

В трилогии Эсхила «Орестея» находим характерное свидетельство того, как патриархат грубо разрушает моральные устои прежней эпохи, оправдывая убийство матери (Клитемнестры) ее же сыном (Орестом) устами не кого-нибудь, а бога искусств Аполлона. Какие еще нужны доказательства, чтобы признать наконец: испокон веков европейская культура зиждется на идее насилия над женщиной при полном попустительстве небожителей, созданных по образу и подобию агрессора-фаллоса, готового вторгнуться и разрушить святая святых – материнскую колыбель!

Изабель Кастро. Человек значит женщина

Невозмутимый Дарси и бровью не повел, когда они ввалились в столовую. Он будто и не заметил, что многострадальный расьолевский глаз после завтрака обзавелся новыми красками. За едою француз, словно желая отыграть за свое мансардное унижение, порывался было пикироваться, но обидчик только кривил в безразличной улыбочке рот, англичанин же уклонялся от спора и, подобно опытному слаломисту, легко объезжал представляемые Расьолем флажки.

У Суворова ломило руку. В какой-то момент и очень уж вдруг⁴ ему сделалось не по себе. Он вздрогнул, одернулся, потом медленно, словно вдыхая туман, погрузился в уныние. Так бывает, когда мелкая речка беседы, наконец позабыв про тебя, ускользает журчащею мимо водою туда, где нет смысла, а времени – не существует... Как там у Конрада? «*Проклятие бессмыс-*

³ Герой – тот, кто а) совершает подвиг; б) воплощает черты эпохи; в) привлекает внимание всех негероев; г) работает главным действующим лицом в литературном произведении. Редко – все вместе. Еще реже – что-то одно.

Последнее, как правило, утешает.

⁴ Всего на секунду. Но такую, что парализует леденящим весь организм хладнокровием чистого, абсолютного ужаса. Инстинкт живой мишени, мимо которой проползает крестом толстый зрачок прицела (см. об этом подробнее в главе № 1). Выходит, наш герой почувал наконец твое присутствие, но, соблюдая правила игры, виду почти не подал. Секунда меж тем миновала, уходя, захлопнула створки, притворив за ужасом посланный им сквознячок...

ленности, какое подстерегает все человеческие беседы...» Точнее не скажешь. В сущности, что есть наше стремление переложить слова на бумагу, как не атавистический инстинкт самосохранения, свойственный человеческой особи, пытающейся спорить с неизбежностью увядания и распада? Когда-нибудь, размышляя в угрюмости Суворов, и этот хвост отомрет. Но, лишившись зудящего копчика, станем мы больше людьми, чем сейчас? И, главное, как нас будут читать сквозь мглистые стекла столетий? Разве что разбирать по слогам на уроках протозоологии. Сдать по предмету экзамен им будет непросто: память пращуров – это искусство забвения. Рано ли, поздно, а любая медаль стирается и превращается в плоский безликий кругляш. У красоты и уродства тоже есть свой срок годности. Потому, как бы ни тщилась та же фон Ретгау вступить в диалог с алчущими ее откровений потомками, вразумительного разговора не получалось.

Письма Лиры к ее именитым знакомцам, даже собранные под одной обложкой, мало что проясняли в ее предпочтениях. Документы сильно различались как по тональности:

«Благодаря Вам я открыла в себе внезапную жажду мучений. Это плохо, но я была счастлива. Теперь я доподлинно знаю: где-то на карте судьбы уже пущен по рельсам спасительный поезд, что подхватит меня на перроне вокзала, с которого мне суждено пуститься в свой самый отчаянный путь. Ваше мужское неведение воистину гениально. Спасибо!» (фон Ретгау – Толстому).

«Возможно, я Вас расстрою, но, по-моему, Нора – это фигура отчаяния, за которой Вы постарались упрятать свое неверие в то, что женщина действительно может изменить свой удел. Пьеса Ваша прекрасна, но – кукольна. В ней место женщины занимает идея. Признаюсь, мне по-прежнему больше по нраву Софоклова Антигона: по крайней мере она предана мысли не выжить, а, рискуя собою, похоронить. Примирить людскую жестокость с землею. Разве не в этом последнее преимущество нашего женского предназначенья?..» (фон Ретгау – Ибсену),

так и по разбросу затронутых тем:

«Милый юноша, Ваш приятель Беляев рассказал мне о том, что Вы видите звуки. Берегите в себе это проклятье: в нем залог Вашей избранности. Мир умеет раскрыться своею палитрой перед тем лишь, в ком нет страха ослепнуть. К тому же все краски этой палитры давно сплошь отравлены. Способны ли звуки служить здесь противоядием? Не знаю. Не думаю. Очень надеюсь» (фон Ретгау – Скрябину).

«Вы как-то писали мне, что для Вас математика – интуиция эстетических парадоксов, а не цепи тюремного надзирателя, имя которому – Логика. Я в восторге от Вашей образной формулы. Но позволите попенять Вам за тавтологию: эстетика – это всегда парадокс. Не так ли и с логикой? Надзирайте за ними, откуда вам хватит тюремных цепей» (фон Ретгау – Пуанкаре).

«Mon cher ami! Вы сетуете на свою неприглядность, а зря: Ваш недуг дал Вам смелость проникнуть туда, где таится, всегда ускользая, пресловутая женская сущность. Я говорю о мгновении. О его загадочном танце, вне которого, как Вы догадались, нас, женщин, не существует: именно мы плетем время, сшивая его в тех местах, где мужчинам не терпится рвать на кусочки. Мы охранницы неделимости, так что ошибочно полагать, будто несклонность слабого пола к серьезной рефлексии есть недостаток нашей природы. Ничуть! Просто мы заняты более важной задачей, чем игры в прятки со своим переменчивым разумом: наше призванье – ткать время, где каждый стежок и есть главный смысл» (фон Ретгау – Тулуз-Лотреку).

«Мой беспокойный Дионис! Не там Вы ищете своего Сверхчеловека. Лучшие взгляните на Лу да поучитесь у нее мудрости: одна ее лукавая улыбка или новый каприз вмиг собьют спесь с Вашего Заратустры. Кстати, удалось ли Вам ею в конце концов овладеть? Только не вздумайте лгать, безаветный обманщик! Между прочим, я Вас совсем не ревную: я не настолько наивна, чтобы растрачивать ревность на тех, кто влюблен лишь в себя. В этом мы с Вами чертовски похожи» (фон Реттау – Ницше).

«Великий и славный мой Райнер! Я так Вас люблю, что готова, как побирюшка, скрестись в Вашу дверь. Только Вы меня ведь не пустите, правда?... Вот за это я Вас и боготворю!» (фон Реттау – Рильке).

*«Ваш дар уникален. Вы видите все, но при этом – вот чудо! – отвращение Ваше обручено навеки с любовью. Подарите мне Ваше пенсне! Я желаю отныне смотреть на мир **Вашим** взглядом. Подарите мне Вашу чахотку: я хочу заболеть этим миром, как Вы. Подарите мне Ваше терпенье. Да, первым делом – его. Я хочу дотерпеть этот мир после Вас» (фон Реттау – Чехову).*

Вспоминая эти выдержки, Суворов испытывал двойственное чувство: с одной стороны, они многое раскрывали в характере Лиры (острый ум, ироничность, тонкий вкус, оригинальность воззрений, пусть подчас и сомнительных, браваду, заметную склонность к позерству, проницательность, бойкость пера), с другой – куда больше рождали вопросов. Например, такой: насколько вольным, естественным, искренним был ее собственный «танец»? И какая мелодия задавала тут ритм? Докучные намеки на ущербность мужского сословия вроде бы неизбежно изобличали в графине экзальтированность воинствующей суфражистки. Вместе с тем сам масштаб рассуждений очевидно противился сведению ее неясного облика к графитному портрету феминистки рубежа веков, бросающей вызов общественным устоям, в основе которых – ненавистный фаллоцентризм, проклинаемый истерическим хором охрипших от папиросок сопрано. Что-что, а фон Реттау, и это вне всяких сомнений, не подпевала в каком-либо хоре. Она вела свою (в лучшем случае контрапунктную) партию. Чего стоит одно ее упоминание о своем заветном желании:

*«Больше всего я мечтаю всецело отдаться – и жадной душой, и опасливym телом – тому, кто познает во мне **просто женщину**, покорит эту женщину и заставит ее трепетать от восторга, служить, угождать, распинаться, стелиться, рыдать, унижаться, плодиться, повелевать, **стареть**, говорить невпопад, умиляться, быть другим... Я хочу, чтобы он заменил мне и бессердечие Бога, и снисходительность дьявола. Хочу стать вместилищем его стойкого, теплого семенем мужества, терпеливой жестокости, быть распятой которою на смертельном любовном древе для меня – высший смысл. Пусть гвоздит мое лоно, сжигает мне кожу, пускает мне кровь, пьет ее без остатка – то по крошечной капле, то жадно, взажлеб. Пусть терзает мне душу, пытает без устали плоть – я согласна! Лишь бы он не успел утолиться... Не успел **никогда!**» (письмо к Малларме).*

Смутное, неуютное ощущение уже совершенного промаха не давало Суворову покоя с тех пор, как он очутился на вилле. Невзирая на то что он тщательно осмотрел ее в первый же день, его не покидало подозрение, что где-то, в каком-то укромном чулане или обтянутом паутиною темном углу, прячется еле заметный, петляющий след, мимо которого он все время проходит, плугая, ошибаясь глазами, осгупаясь чутьем.

Словно вторя его сумрачным мыслям, голос Дарси, прорвавшись сквозь их глухоту, произнес:

– Не знаю, как вы, а я не уверен, что справлюсь. – Похоже, Расьюлю удалось пробить брешь в вежливом холодке англичанина, если в интонации последнего вдруг зазвучали непривычные исповедальные нотки.

– Да неужто? Тогда вот вам мое предложение: чуть разделаюсь со своею новеллой, принимаюсь за вашу. Только, чур, гонорары за оба рассказа – мои!

Дарси улыбнулся и возразил:

– Дело не в новелле, дорогой Жан-Марк, а в ее *качестве*. Нет-нет, не поймите превратно: я не имею в виду, что из-под моего пера непременно выйдет что-либо более содержательное, чем из-под вашего... – (Черта с два, подумал Суворов. Это-то ты и имеешь в виду. Иначе откуда взялось твое «непредменно»?..) – Здесь другое. Порой мне хочется верить, что на свете есть-таки прошлое, способное им, прошлым, и оставаться вопреки нашим потугам ворошить его истлевшую могилу. Так сказать, прошлое *навсегда*. Такое, что заранее отреклось от всего, что пребудет за ним, и на века вперед выбрало для себя надежнейшее из укрытий – непостижимость. Железная константа умолчания, отрезающего на корню возможность своего дальнейшего использования в каких-либо расчетах и графиках...

– Чтобы «прервалась нить времен»? К чему вам эти эксперименты? Вы что, меняете ориентацию?

Дарси побледнел. Памятуя о слухах, которые, подобно консервной банке, прицепленной к хвосту льва, сопровождали мстительным треньканьем каждый шаг англичанина с того дня, как взойшла звезда его популярности, Суворов попробовал перевести разговор в более продуктивное русло:

– Сундук, Жан-Марк. Оскар предлагает изловить прошлое по крупинам и упрятать в надежный сундук.

– Это зачем же?

– Полагаю, из желания вернуть времени его утерянную триаду. Слишком долго варились в одном котле прошлое-настоящее-будущее. Ирония, любимая похлебка нынешней повседневности, растворила их, как в кислоте. Вопреки ожиданиям, суп получился не очень съедобный: бросать в кастрюлю с лапшой еще и жаркое, а потом поливать этот взвар киселем, пока не перекипит, – лакомство не для гурманов. По-видимому, Дарси хотел нам сказать, что тотальное смещение времен, чему он сам посвятил немало страниц – и страниц выдающихся, – уничтожило идею прошлого как такового. А без него и настоящее с будущим оказались вполне в дураках: сложновато без точки отсчета. Если нет пункта А, как попасть в пункты В или С? Потому-то и нужен сундук. От него будет легче плясать.

Расьюль скептически фыркнул:

– Едва ли Дарси не прочь реанимировать убиенную им же *историю*. Не зря же трудился, столько лет репетируя траурный марш, оркестр деструктивистов! Не для того ей устроены были вселенские похороны. Присовокупите сюда отпевание в храме Святой Буржуазной Мечты, где залиvisto отсолировали симпатичные теноры вроде Фрэнсиса Фукуямы или самого сэра Оскара, и вы убедитесь, что для такого рода искусников история все равно что вилка в самом насиженном месте – неизвестно, когда крутанет за кишки. Не верю я, что Дарси сказал от души. Поглядите на это лицо: ни морщинки, ни возраста! Там же не за что зацепиться истории...

Англичанин невозмутимо молчал, затем и вовсе принялся раскуривать трубку. Наблюдая за этим длиннющим обрядом, с минуту Расьюль в нетерпении дергал себя за губу, потом все же не выдержал:

– Или вы немножечко мазохист, а, Оскар? Я прочитал все ваши книги и могу поклясться измученной завистью селезенкой: они насквозь пропитаны патологическим постмодернистским душком. Вы ведь искренне полагаете, что между личинкой, хоботом слона, ухом немытого конки и лонот Данаис холста скряги Рембрандта разницы не больше, чем между пятью тридцатью и половиной шестого. Для вас сюжет – лишь агония тупиковых идей, причем такая, когда и умирать-то, собственно, нечему, потому что

ничто в действительности не живет... Откуда вдруг такое странное желание – вернуть прошлое и поверить в историю – у того, кто нас на нее обокрал? Похититель решает покаяться?

– Разве это ему возбраняется? – спросил Дарси и, устранив завесою дым.

Как же мерзавец красив! – невольно восхитился Суворов и вдруг ощутил к англичанину жалость (даже живот заурчал), однако сразу это утробное чувство пресек, заподозрив в нем каннибальское умиление варвара, примеряющего мысленно деликатесную жертву к костру. Где-то в гостинной звякнуло время, пробив половику. Как-то было неважно – чего... А ведь он горемыка, подумал Суворов вдвонку беззубо зашамкавшим колокольчиком часам. «Ах ты, Господи, – воззвал про себя, все больше, все непростительней трогаясь этим мгновеньем, отчеканившим профили их бессердечьем дневной светотени, – как же мы все тут стары! И старше всех – Дарси. У хлыща даже голос из бронзы, а глаза такие, что глядеть совестно. Триумфатор не столько нетрудных над нами побед, сколько наших пред ним поражений. Талант царя Мидаса: чего ни коснется – все золото, а внутри-то снедаем убийственным голодом. Напрасно Расьоль бередит заскоруждые раны покойника: оживить не оживит, только праху зря наглотается».

«Покойник» пустил над собой парашютиком облако и негромко добавил: – К тому же вряд ли вы поручитесь, что у меня оно выйдет – покаяться...

– Я – нет, – подтвердил охотно француз и перевел стрелки по часовой стрелке. – Это – к Георгию. Как-никак он мастак рассуждать о загадках души. Я же парень простой. Для меня человечество делится на две очень неравные группы: тех, кто в стеснении отворачивается, если вы плюнули против ветра, и тех, кто злорадно глазееет на ваш обесчещенный галстук. Сам я, надо признать, отношу себя к группе второй. Но в меру скудных ресурсов своего организма симпатизирую раритетному меньшинству группы первой.

– Простите мне мой вопрос. Но так ли необходимо плевать?

– Почему бы и нет? Всегда укрепляет фабулу. Вот вам *мая* концепция времени: жил себе поживал благородный такой господин, наслаждался своим настоящим, а потом вдруг раз – и в него полетело слюной позабытое прошлое. Все смеются. На спектакле – аншлаг. Кто-то из зрителей, сам не ведая, завтра сменит на сцене актера. Вот и вернулись три категории времени. Всего только и потребовалось, что плевануть. Я вам так скажу: хорошенько потрясите настоящее за грудки, и оттуда, как из дырявой копилки, просыплется мелочью прошлое. Соберите его по монетке и с лихвой наскребете на билетик до первой же станции – будущего (а другой и не нужно!). Все эти разговоры про гибель истории кое-кому очень выгодны: подобной болтовней прикормленные истеблишментом либералы венчают свои достижения и, зависнув банкетным фальцетом на карнавальной ноте, живописуют всеобщий экстаз пира во время чумы. Дескать, мы наконец добрались до финала. Дальше – только задача призов. Я не играю в эти бирюльки. Поверьте, нас еще так тряханет, что концлагеря с Хиросимой покажутся сонной забавой. Все-то мы врем, притворяемся, будто спаслись, хотя сами в это нисколько не верим. Потрите сильнее мочалкой под ложечкой и сразу почувствуете, что в вашем желудке, как и сто лет назад (как и тысячу, двадцать тысяч), царит тот же ужас – первобытного дикаря, распознавшего в луже свое отражение... И не надо меня загружать заумными философскими выкладками. Избыточность интеллекта, что грыжа для брюха, – источник сплошных неудобств. Поскорее подшейте там, где готово порваться, – и полный порядок. Так же и с временем. Человек не меняется, как бы это избито для вас ни звучало. Вместо него меняется человечество.

– Эка вас занесло!.. – подавив наглядно зевок, сказал Суворов. – Не хватало еще погрузиться в дебри вульгарной социологии. Я – пас. У меня без того аллергия на прессу: слишком пачкает пальцы.

– С вашей щепетильностью только крылышки ангелам щипать. Бьюсь об заклад, Оскар, у него под подушкой лежит накрахмаленный чепчик, а на тумбочке вместо контрацептивов – увоженная слезами библия с автографом тезки из бражки святых... Ага, задело! Лучше уж я пойду, а то мы с ним снова рассоримся. По губам вижу, его распирает желание прочитать мне духовную проповедь.

Расьоль встал, сделал шаг, потом передумал и, почесав себе ухо, воротился на место. Обхватил воинственно локти, скрестил ножки ромбиком и пояснил:

– Пожалуй, все же послушаю, окажу любезность почтенному Дарси: в одиночку ему будет трудно не зарыдать.

– Шли бы вы в... да хотя бы в библиотеку, Расьоль. Поищите цветные журналы со вкладышами.

– Проняло! Князь Мышкин почти сквернословит.

– Джентльмены, довольно, прошу вас, – сказал примирительно Дарси. – Лучше обсудим свою героиню. Нет возражений?

Суворов щелкнул огнем, закурил.

– Ни одного, – подхватил пас, ударив в ладошки, Расьоль и принялся раскладывать дугой вокруг себя тарелки. – Я и сам хотел предложить посудачить про эту особу, но постеснялся: как-то неловко затевать разговор о происхождения аферистки, чья склонность к разврату даже мою порочную душу повергает в благоговейную оторопь.

– А что вам конкретно известно о ее происхождениях? – Взгляд англичанина вдруг сделался мутен, тосклив. Отложив погасшую трубку, он придвинулся к центру стола, сцепил пальцы в замок и, отвердевши лицом, осторожно, как стеклодув за работой, вдохнул раскалявшийся воздух. Собеседникам как-то сразу стало заметно, что шитый на заказ пиджак застегнут на все пуговицы, а бледные щеки свинцово блестят, будто выбриты в мрамор. Одно слово: бюст. Бюст сморгнул какую-то мысль и продолжил: – Реального подтверждения любовным приключениям Лиры я, например, не нашел. Может, вас посетила удача?

Закрутив в колючку салфетку, Расьоль уложил ее посреди фарфоровых укреплений, заткнул бокалом с вином и умело обживал возведенный редут:

– Мне хватило воображения. Правда, его не достало на то, чтобы, подобно вам, вообразить себе столь беззаветно-похабную девственницу. Полно, Оскар, расслабьтесь! А то еще немного, и ваша серьезность заговорит с нами эхом. Не хочу, чтобы у меня за обедом ухало медью в ушах, сбивая в иней пенку на кофе. Неужто вы и впрямь решили, что этот дым без огня?

– Я просто не знаю, кто *действительно* грелся у этого пламени. Фон Реттау всегда уклонялась от встреч со своими корреспондентами. Только письма.

– Зато какие! – вскричал Расьоль и завихлял зачем-то бокалом. – По ним можно, на выбор, составить эротический справочник, написать пособие по физиологии или защитить диплом по шизофрении на почве сексуальной распушенности.

– Это ничего не меняет.

– Вот как? А неотступные фантазии о том, чтобы совокупиться с силуэтом душегуба из навязчивых сновидений, кромсающего ключом от сейфа тело ее ненавистного дядюшки? Помните, где она признается, что мечтала б укрыться за пологом, на белом экране которого, пойманные ночником, орудуют тени сражающихся фигур, – укрыться и *предаваться блуду* с призраком убийцы-освободителя? Или описания истекающей соками девственности с перечислением дюжины способов того, как в одиночку достигнуть оргазма, не утратив в пути целомудрия? А дневниковый трактат с красноречивым заглавием «Оправдание зоофилии», где в блажи «приятно в лоно все формы жизни» она не прошла, кажется, лишь по тушканчикам

да индюкам? Куда ж еще более, Дарси! Попади вы к ней в руки, от вас бы носка не осталось – проглотила бы целиком, вместе с трубкой...

Тут он вылил вино себе в рот, издав горлом курлыканье. Англичанин только поморщился и повторил:

– Это ничего не меняет. Если бы человека судили по его фантазиям, нас бы с вами, Жан-Марк, сослали на каторгу. Дневники и письма – не факт. Давайте не отступать от презумпции невиновности. Тем более в отношении той, кого нам не довелось даже лицезреть.

– Вы что, не видели ее фотографий? Достаточно мельком взглянуть на них, чтобы понять: у этой девицы и вместо подмышек – мохнатка!

Почему-то в эту минуту Суворов, пролетая взглядом от горящего кончика сигареты – мимо зеленевшего в патину Дарси – к блеснувшим искрой очкам, вспомнил об Адриане и, пока не успел покраснеть, возразил:

– Во-первых, снимки как снимки. Во-вторых, я бы не стал так уж им доверять. Потому что, во-первых, их только два, причем оба сделаны в один и тот же день на одном и том же месте, так что, можно сказать, фотографий не две, а одна. Во-вторых, нельзя судить о субъекте лишь по единственной фотографии. Представьте, если б после вас, Жан-Марк, сохранился только сегодняшний снимок. Лет через сто кто-нибудь бы решил, что вы трудились корсаром на озере Вальдзее. Пошла бы гулять по свету легенда про кривого пирата Расьоля...

– Во-первых, представил. Во-вторых, не смешно. Что здесь меня интригует, так это отчего в одну минуту и на одном и том же месте было дважды «во-первых» и не меньше двух раз – «во-вторых»? Учитесь считать, или у вас лишь два пальца гнутся?

– Есть еще в-третьих, – вступился за Суворова Дарси и растопырил три пальца (в отличие от коллег англичанин считал не на сгиб, а на выгиб, как человек, кому *в нормальном состоянии* привычнее сжимать кулак, а не раскатывать пятерню. Ничего удивительного, если учесть, что замкнутость – это скромное обаяние скульптур). – Специфика фотографии, которую неспроста любят сравнивать с посмертной маской мгновения. Уточним, что умирает в этом мгновении и для кого?

– Хотите услышать, что смерть? Так же заточена в бумажной клетке мгновения, как и мгновение – в ней? Клетка в клетке. Курица и яйцо. Ну а дальше-то что?

– Легко хватается суть, Жан-Марк, – сказал Дарси. На вкус Суворова, чуть серьезнее допустимого: чистопородный мрамор трещин, как правило, напроць лишен. Зато зубилом колетса – на загляденье... – Очевидно, что, умрев на пленке, мгновение выживает – за пределы наступившей смерти... Не мумифицируется, а, подчеркну, выживает – пока будет кому на него посмотреть. Разумеется, на мумию тоже найдется кому посмотреть... (*что мы и делаем, кольнул Суворов исподтишка, втихомолку, и почувствовал, как сбоку уже подморгнул сообщник-Расьоля*) ...но, в отличие от фотографии, пересушенный труп прежде всего труп и есть: в каком-то смысле символизирует отречение от времени, плод его окончательной выжимки...

– ...А фотография есть его оттиск, случайно-подробная «вжимка» в него, – заключил недовольно Расьоля. – Все это ясно, как дважды два. Но если вы намерены и дальше жевать свою кашу, предлагаю подвести черту: снимок – не труп, потому что он жив – тем мгновеньем, которое умерло. Вы об этом?

Дарси кивнул. Расьоля, настроившись бровями, усмехнулся – кривенько, с вывертом к уху:

– Кулинар вроде вас, Оскар, мастак выдавать трюизмы за трюфели. Хватит умничать. Переходите к делу!

– Терпенье, Жан-Марк. Основная посылка понятна, теперь ничто не мешает обратиться к частностям. На одну из них Суворов нам уже указал: благодаря своей единичности снимок может вполне исказить объект, сосредоточив внимание на деталях, в обычной жизни тому и не свойствен-

ных. Например, на вспухшем ячмене подглазом, опухшем от насморка носе или распухшей пчелиным укусом скуле. Возможны и другие дурачащие нашу доверчивость мелочи: перекрашенные волосы (всего раз в жизни, да и то на несколько часов!), испорченное настроение (основательно портит физиономию) или испуганный взгляд – потому, что за секунду до съемок в двух шагах от того, кто попал в объектив, разорвалась хлопушка. И, наоборот, по фотографии незнакомца мы никогда не увидим, что тот картавил, хромал, заикался или страдал нервным тиком. Наш *познающий* взгляд на пожелтевший от времени снимок будет значительно отличаться от *знающих* взоров современников: рассматривая фотографию неизвестного, мы напрямую зависим от свидетельств тех, кто с ним встречался воочию и помнит, как пахло у него изо рта. Так вот, свидетельства эти, Жан-Марк, не дают никаких доказательств того, что графиня фон Реттау была столь же развратна, сколь было изобретательно ее воображение... Что же до фотографии как таковой, я бы сказал, она и есть смешение времен: и мертва, и жива, да к тому же еще плодоносна. При желании в застывшей ее амальгаме мы разглядим что угодно: под предпочтения несведущего она подладит какой угодно сюжет, повернет его в какую угодно сторону и насадит в какое угодно время. Да-да, в какое угодно время, ведь никто не запретит нам думать, будто запечатленные на снимке костюмы и антураж – постановка и маскарад, призванные сбить нас с толку. Странно, Жан-Марк, что именно вы, защитник истории, доверяетесь постмодернистским трюкам, ради которых, собственно, сатана и подбросил человечеству фотокамеру.

Расьоль ковырнул пальцем стол, размял с хрустом шею, поглядел в потолок и ответил:

– Всегда поражался, как люди вроде вас, прознав, что Земля круглая, выводят единственное заключение – о том, что все мы ходим вниз головой. Представляю, как страшно бывает вам каждое утро мочиться... Что ж, если снимки фон Реттау не помогли, перечитайте тогда на досуге новеллу Фабьена.

– Ну конечно. А заодно уж рассказы Пенроуза и Горчакова! – подпустил яду Суворов. – Почему бы сразу не предположить, что в то утро расцвет наступал трижды рядом?..

– Сравните детали – и вы все поймете! – Расьоль упорно стоял на своем, похоже, избрав теперь позу факира (руки в стороны, вспученный глаз, не хватает лишь громогласного «опля!»). – У Фабьена вы слышите *пальцами* ее волосы, губы, шею, что еще важнее – грудь, задницу и соски. А это, доложу вам, улика. Бедняга Пенроуз в сравнении с ним – позорный скопец, у которого все замешано на жидкой сыворотке неубедительных рефлексий да конфузливых иносказаний. Словно он пишет не о прыгнувшей к нему под одеяло лишенной стыда жадной плоти, а о собственных грезам, которым привык предаваться, надев котелок, в наполненной под клин бородки ванне с галлюциногенными благовониями. Что до Горчакова – так тот и вовсе толкует о некой богине, посетившей его эфемерным видением, которое он, сам тому подивившись, вроде бы даже и трахнул, но *как, чем и куда* – об этом ваш соплеменник умалчивает. Воображаю, как это взбесило Фабьена, когда они, по заведенному ритуалу, зачитывали друг другу отрывки из черновиков.

– Выходит, вы для себя все уж решили, – констатировал Дарси. – А как быть с исчезновением?

– Тут-то и возникает интрига! Вариантов четыре: либо кто-то из них ее укокошил, либо стерва их всех одурачила. Я, не скрою, склоняюсь к последнему.

Суворов прокашлялся, потом передумал, хотел героически перемолчать, однако не утерпел:

– Такое ощущение, будто мы ведем речь о трех проходимцах, а не о писателях. Послушать вас, Жан-Марк, они всю жизнь только и делали,

что таскали в штанах мужскую свою атрибутику, чтобы при случае поостязаться размером. Хотя вы не хуже моего знаете, что каждый из них отстаивал принципы конкретной поэтики, причем, черт возьми, последовательно! В этом смысле все трое являлись антагонистами. Как-то неловко об этом здесь говорить, но Расьоль меня спровоцировал: упомянутые в качестве непреложного доказательства *соски* помогут убогому разве что лишний раз разжечь похоть, но никак не приблизиться к истине. Фабьен был банальный натуралист, а потому и не мог – не хотел, не пытался! – разглядеть ничего, кроме чисто животных примет объекта своего (вероятно, все-таки тщетного) вождения. Я скорее доверюсь Пенроузу – по крайней мере он ничего не *доказывает*, а *воплощает* (кстати, талантливо) события той ночи. Точь-в-точь так, как и должен был символист. Потому – ощущение потери, не обретения. Словно он заранее ведал, что проиграл.

– Значит, ваша ставка – русский кобель? Горчаков? Кто бы в том сомневался! – Расьоль поддержал себя гомерическим хохотом. Вышло противно.

Обращаясь к Суворову, Дарси спросил:

– Вас что-то смущает в новелле Пенроуза? Ощущение потери естественно: рассказ был окончен после того, как каждый из них с содроганьем постиг, что Лира для всех безнадежно потеряна.

– Все так. Только, читая их опусы, по-настоящему я был впечатлен лишь раз. Помните описание Горчаковым рассвета? Могу процитировать эти две строчки: *«Луч оказался предателем. Он уничтожил богиню. Она покидала остывшую комнату женщиной. Я ее предпочел позабыть»*.

– Типично русская песня: когда все хорошо – это очень нехорошо. Что могло вам понравиться, Суворов? – Расьоль откровенно сердился. Дарси гулко молчал. – Ведь строчки плохие. Дурацкие строчки!

– В том и штука, что он это знал. Но боль не пустила исправить.

– Боль за то, что он лгал?

– За то, что сознался... Получалось, что он обманул. На деле любил не ее, а ее постоянную прежде *недостижимость*.

– А она поняла, что разрушилась как идеал и теперь между ними все кончено? – Обидно, но Дарси проявлял к интерпретации Суворова не более чем вежливый интерес – так поглядывает на прохожего манекен из витрины. – Ваша версия – самоубийство?

– Не знаю. Возможно.

– Ага, значит, несчастная Лира поперлась топиться в Вальдзее, а Горчаков, подобрав для себя водоемчик помельче, окунулся в трясины славянских страданий? – встрял, ликуя, Расьоль. – И после допросов, отмолчавшись в полиции, всякий раз укорял свое малодушие? Вы могли бы сделать карьеру на слезливых дамских романах. Не забудьте добавить сюда его непосильные муки из-за творческой трусости: ведь новелла его лишь туманит разгадку... Уверен, Дарси припас нам не менее ловкое чтиво. Что-то с убийством, не так ли? И кто из троих?

– Полагаю, Пенроуз.

– Разрешите полюбопытствовать, почему?

– Этого вам, любезный Жан-Марк, я сейчас не открою. Сначала мне надобно разобраться во всем самому.

– Так нечестно! Суворов, скажите ему. Где ваша российская гордость? Вы что, безропотно стерпите выходку потомственного колониста-эксплуататора, только что выпотрошившего нас подчистую, и притом за дарма?!

– Сожалею, мсье, но обсуждение моей версии придется отложить. Мне нужно сделать пару звонков, извините.

Дарси откланялся. Расьоль показал уходящей спине средний палец.

Наблюдая за ними, Суворов признался себе: сплошное вранье. Никто из нас не сказал ничего из того, что надумал. Никто ничего не подумал

сейчас из того, что не мог не сказать. Разговор фарисеев, держащих за пазухой камень... Лицемерная перепалка для отвода глаз, чтобы скрыть плутовство и притворство. Каждый из нас подбирает сюжет, маскируя свое безразличие. Нам и дела нет до того, что случилось в реальности. Скользим по поверхности, как фигуристы по льду, рисуя на нем цветочки холодных узоров. Что мы, в сущности, ищем?

Пока не находим – конечно, графиню. Как только найдем – конечно, себя...

Он поглядел на француза. Тот орудовал зубочисткой во рту, поводя круглым глазом по сторонам, как бычок на корриде.

– Хотите водки, хищник?

– Нет. Но, если вам станет от этого легче, согласен составить компанию.

– Не пойдет. Меня и так воротит от вашей побитой физиономии, а если еще она будет трезвее моей, боюсь, придется мне до утра замещать в туалете мадемуазель Адриану.

Расьоль, картинно вздохнув, засопел:

– Бедная девочка! Рыдает, поди, в своей парижской каморке и мечтает вернуться сюда.

– Так снимите трубку.

– Э-э, приятель, за кого вы меня принимаете? Я хоть малый доверчивый, но не так наивен, чтобы опрометчиво подвергать себя риску. А вдруг она где-нибудь шляется? Или, того хуже, барахтается в постели с каким-нибудь волосатым ублюдком и в перерывах между забавами нюхает кокаин...

Суворова вдруг осенило:

– Кстати, а какова еверсия исчезновения фон Ретгау?

Расьоль вскинулся, чуть не съехав со стула, всплеснул руками и возмущенно воскликнул:

– В том и дело, коллега! На этой жаровне у нас с ней и вспыхнул костер. Представьте себе, она оказалась пошлячкой – придумала ревность служанки: мол, та лишь прикидывалась глухонемой, а сама между тем следила за Лирой, карауля каждое слово под дверь. Наплела мне такую галиматью, что я поперхнулся. А известно ли вам, как это неприятно и гнусно, когда пиво течет через нос? Вот и пришлось огреть по-отечески, чтобы знала границы приличий.

– Считаете, что Гертруда...

– Ну да. Полная достоверность. Этот бродяга Турера знает толк в режиссуре. Разве что перестарался: наверняка та была попригожей, чем наша, хоть и тоже не лань. Говорят, через год после смерти хозяйки подалась в монастырь к молчальницам. Я там был.

– И что?

– Ничего. Жила-жила, молилась, постилась и померла.

– Ни единой зацепки?

– Ни даже крючка от вязальных спиц. Пойдемте пить водку.

За пару часов они потрудились на славу.

Ужин их не узнал. Дарс благородно спрятался у себя и на стук в дверь бессовестным образом не отзывался. Расьоль обозвал его педиком и по дружески нарисовал на стене у проема гиперболический член.

Суворов вернулся к себе ближе к полуночи в мокрых носках, смутно припоминая, как вылавливал ныряющего француза из озера. Было трудно найти глазами, где у пола кончается скат. Кровать оказалась врагом. В ней можно было только сидеть, прилепившись к спинке затылком. Всю ночь Суворов провел на электрическом стуле в душевной тюрьме. Палачи никак не могли починить заклинивший толстый рубильник. Собравшиеся на казнь журналисты сердились и швыряли в пленника его же позорными книжками. Кухарка с виллы молча грозила ему кулаком. Адриана курила, гася сигареты о плешь Расьоля, на протяжении всего действия сохранявшие

го философическую задумчивость. Дарси нервно грыз ногти и укоризненно покачивал головой. Тем временем три дюжих мавра, в которых Суворов узнал измазанных гуталином Фабьена, Пенроуза и Горчакова, катили к помосту тухлявую гильотину с ржавым ножом. Перед казнью преступнику предложили парик с белыми буклями. Он же требовал срочно доставить ему самолетом с Итаки какой-то сундук. Спорили громко и даже навзрыд. Кафкианские тараканы сверлили усами розетку. На стене вместо дамы с боа висел портрет Лиры фон Реттау. Портрет чем-то лгал, но разбираться с ним было некогда. Перед тем как упасть, нож задрожал подбородком...

– Что-то стряслось?

– С чего ты взяла?

Веснушка молчала, не веря.

– Доктор, со мной все в порядке. Солнце взошло. Над Баварией утро. Остается облечься в доспехи и потыкать копьём в новый день. Может, что из него и прольется на слепую ледышку листа...

– Ненавижу, предатель!

Суворов подумал: она дальше, чем кажется. Прошло всего ничего, а расстояние между нами как будто бы выросло. Ее «ненавижу» сейчас прозвучало фальшиво, как гармошка на кладбище. А вот «предатель», напротив, очень похоже на правду.

– Посторонись: у меня в голове как раз друг на друга мчатся два паровозных состава... Погоди, передвину стрелку на рельсах. – Он подышал под себя, сперва робко и часто, потом, перелиставшись на спину, как можно глубже вдохнул. – Фу-уф, успел! Пронесло.

– Ах ты, пьянь! Алкоголик... – Сделав паузу: – Тебе очень нехорошо?

– Нет. Просто воротит от света, а его здесь – тьма-тьмушая. Когда закрываю глаза, то как будто полегче.

Показалось, захныкала – далеко-далеко. Не стал утешать. Интересно, однако, как ни с того ни с сего в нас просыпается индифферентность.

– Суворов, обманщик, ты же мне обещал!

Усмехнулся (не в трубку): впервые не видит насквозь ни меня, ни моих паровозов, ни рельсов. От мысли ему полегчало: полезно порой уползти куда-нибудь в тень.

Он ее сразу усугубил, накрыв одеялом лицо. Из-под тени светло и толково всходило: сколько б мы ни искали в других понимания... едва обретя его, осознаем, что в реальности понимание для нас... невыносимо – так же точно, как непонимание. Все, что нам нужно, – недопонимание... чтобы хотя бы на йоту возвыситься над собеседником и испытать к нему благодарное... подлое чувство, близкое к снисхождению, которое обычно даруется нами лишь собакам да мертвецам. Самое время погладить...

– Все хорошо, успокойся.

– Врешь! Ты же врешь. Я же чувствую, врешь!...

– Ну вот, – сказал он. – Отсюда мораль: говори правду молча.

– Суворов!..

– Ну ладно. Все плохо, что хуже всего.

Трубка подумала и хохотнула.

– Идиот! Я люблю идиота, хоть это и плохо. А что хуже всего – что я его не люблю. И хуже уже не бывает... Хуже бывает лишь, когда мой идиот так далеко от меня и молчит, оттого что все попросту плохо.

Ну что тут возразишь? – подумал он. За годы, что они вместе, Веснушка от него натерпелась – как может натерпеться только совесть от своего взыскательного, переменчивого и мнительного работодателя.

«А познакомились они назад тому девять лет...», как раз тогда, когда жена Суворова должна была вот-вот родить, а ее сестра уже побывала у него в любовницах, по-настоящему ею так, увы, и не став. Поскольку эмоций не получилось, пришлось их выдумывать: вслед за рассказом «Крово-

смешение» Суворов замыслил второй, где вознамерился возместить свою душевную тугоухость колоритным живописанием ужаса, которого в нем самом вовсе не было, но как бы он в нем и был – не сам по себе, а будто бы эхо его. Даже не эхо, а зов, пусть едва различимый, но томящий, заманчивый и, конечно, своекорыстный. Зов пройти по тем закоулкам растленного безнаказанностью подсознания, где обитает хвостатый зверинец возвращенных греховною скукой чудовищ.

Для реализации замысла Суворову нужен был консультант.

В день их знакомства она предложила: «Завтра в десять утра. По-моему, то, что вам нужно».

Она угадала: он нашел, что искал. Мальшу было лет семь. «Родители опоздали. Теперь ему вряд ли поможешь, – рассказала она, когда прием был окончен и Суворов скинул с себя медицинский халат. Заметив его торопливость, она улыбнулась: – Что, испугались? Насколько я понимаю, вы затем и пришли?» Вместо ответа он лишь покосился плечом. Она продолжала: «Вы даже не представляете, сколь опасна бывает любовь пап и мам. Здесь, например, все началось с умиления. Сперва умиляло, как спит младенец – эдак купечески, по-хозяйски раскинув в стороны руки, словно готовый обнять целый мир. Потом умиляло, как ребенок, облаченный в зимнюю шубку, идет, растопырившись, из-за того, что кургузый тулупчик ему уже жмет и сделался тверд в руках. Потом умиляло, как их карапуз копирует позой сельское чучело в поле. Потом – пролетевший над ним самолет. Умилялись они и тому, как в пять лет он подолгу стоит, неотрывно взирая на образ в углу. Потом умилялись, как внимательно смотрит на картинки с распятьем. Потом с изумлением поняли вдруг, что это, как правило, длится не час и не два. Затревожились, стали следить, обнаружив, что сын их, отвлекшись на вентилятор, вмиг теряет нить разговора. На всякий случай сходили к врачу. Тот успокоил и посмеялся: эка невидаль! Просто немного рассеянный, как всякий *нормальный* мечтатель. Так что какое-то время, наблюдая за сыном, приходилось им лишь гадать, о чем тот мечтает, когда лежит на полу и без устали, еще не умея читать, держит перед собою газету (словно крыло, пояснила мамаша). Потом все это стало их раздражать. Устрашившись своей – как вы понимаете, умолчанием прикрытой – тревогой, они все еще притворялись, что странности эти – пустяк, хоть пустяк из досадных. Но тут вдруг заметили, что, стоит им посягнуть на его тишину, как сын замыкается и, свернувшись улиткой, дрожит. Он дрожал и дрожал, не желая ни плакать, ни вымолвить слово. Наконец, их терпенье иссякло, и тогда мать, предварительно нарыдаввшись (как доктор отмечу, что подобного рода особы рыдают обычно с намереньем рассвирепеть)... Так вот, мать, заведя себя до истерики, принялась одевать свое чадо, чтобы сию же минуту отправиться к доктору. Еще утром, вняв совету подруги, она созвонилась с врачом (не мной, а другим психиатром), и теперь, чересчур торопясь у двери – по женской привычке спешить, когда опоздать очень хочется, – все никак не могла уловить растворенном пальто ладошку мальчонки. Стремясь подсобить ей, супруг, только бы не видеть ее истерических жестов (думаю, больше всего в этот миг призванных бросить упрек в адрес мужа и его пассивного, на протяжении месяцев, выжидания), взялся за второй рукав, сунул в него пойманную пятерню, вздернул кверху, но, наверное, слишком резко, так что в то же мгновение сын отчаянно вскрикнул. Дальше вы сами легко дорисуете сцену...»

Суворов дорисовал. Вот как было в рассказе:

«Взрослые, сильные люди ошеломленно глядели, как он застывает меж ними, распятой (так им тогда показалось. Так и теперь ему кажется. Так будет казаться всегда, если всегда – это вечно, все чертовое время без каких-либо вычетов) на кресте их внезапной, но стойкой отныне, на годы, неприязни друг к другу. По мере того как сердца их не-

отвратимо, взахлеб, заполнялись густым и приземистым ужасом, отец понимал (как в считалке – на счет раз, два, три), что сын онемел.

Это была катастрофа.

Потеряв способность говорить, мальчик превратился в слепок с кошмара, который, преследуя их день за днем, лишь по ночам иногда отпускал побродить их фантазии в гавань свершившихся грех. Однако стоило отцу заглянуть незамеченным в детскую, он заставал все ту же картину: растопырив в стороны руки и почти не моргая, сын смотрит вдаль, куда-то туда, где его стережет разъятый надвое мир...

Сменив с десяток врачей, не сумевших ничем обнадежить, они наделали множество необязательных глупостей в жестоком и эгоистичном усердии победить покровившийся с ними недуг. Но ни попытки удерживать малыша часами в объятиях, ни пути, которыми они пару раз, ненавидя себя, прижимали тонкие, точно лозы безумия, руки к туловищу, ни банальные хитрости вроде кидания сыну мяча эффекта не возымели: руки всегда возвращались на место – стрелки компаса, привязанного к беде...»

Дня через два он снова явился и сразу, с порога, сказал: «Вы не спросили меня, для чего это нужно». Она пожала плечами: «Наверняка чтобы что-то припрятать. Разве творят для чего-то другого?» Он присел рядом на стул и сказал: «У меня скоро должен родиться ребенок». Она же, напротив, поднялась, сняла халат и распорядилась: «Пойдемте отсюда. Все равно моя смена закончилась. Перенесем вашу исповедь на потом. Вы на машине? Тогда едем. Я хочу вам кое-что показать».

У пятиэтажки на Шаболовке рядом с трамвайным депо она попросила притормозить. Войдя в подъезд, набрала, не глядя, код на железной двери и, прежде чем войти, предупредила: «Здесь темная лестница. Спускаемся вниз. Осторожней: ступеньки». Очутившись в подвале, щелкнула зажигалкой и передала ее спугнику, чтобы тот осветил. Потом отперла низкую дверь и нажала на выключатель: «Мастерская приятеля. Располагайтесь. На диване – удобней всего». Суворов повиновался. В комнате было сыро, но душно из-за пущенных по периметру труб отопления. Ни мольберта, ни станка с надетым поверх холстом он не нашел. Она пояснила: «Художник. Хотя и не обычный. Визуальный артист. Вот, поглядите». Суворов принял в руки альбом, стал листать. Какие-то фотографии, ни одна из которых не тянула, впрочем, на то, чтоб считаться шедевром. «Что, не нравится?» «А должно?» «Вовсе нет». «Не понимаю... Кто эти люди?» «В некотором роде человеческий идеал». «Вот как?» «Все они идеально здоровы. Мой приятель охотник. А я ему помогаю. Всякий раз, как приходит к нам в поликлинику совершенно здоровый типаж, я делаю снимок. Почти все фотографии в этом альбоме – мои». «И в чем же здесь смысл?» «Не спешите. Посмотрите внимательно и постарайтесь потом описать хоть кого-то из них. Правда, это непросто? Их лица почти что безлики». «Пожалуй». «Но каждый из них уникален: абсолютно здоровых людей днем с огнем не найдешь». «Вы к чему это?» «Сейчас поймете». Выключив свет, она прошла в центр комнаты, где стояли четыре прожектора, и попросила: «Закройте глаза». Через мгновение сквозь сомкнутые веки он ощутил настолько яркую вспышку, как если бы над головой у него блеснула разрядом молния. «Теперь можно».

Комната преобразилась. Все сплошь стены ее оказались увешаны небольшими портретами, повторявшими в точности фотографии из альбома. Портреты светились, озаряя пространство лучистым, плавучим скольжением, напоминающим колебания сумрака... или скорее купание под водой. То, что поначалу Суворов принял за несвежесть обоев, было огромным холстом, натянутым от пола до потолка и испещренным сотней рисунков. «Это воск. Наносится шпателем на полотно. Кропотливая, согла-

ситесь, работа». «Не думал, что воск так способен удерживать свет». «К сожалению, очень недолго. Сейчас убедитесь». По мере того как портреты тускнели, помещение медленно погружалось во тьму, отчего возникало странно тревожное чувство. Ощущение беспокойства усугубилось, когда Суворов вдруг обнаружил, что изображения гаснут не равномерно, а, коверкая лица, выделяют на каждом из них какой-то намеренный штрих, который, сквозь наступающую на видение темноту, обретает зловещие очертания уродства, почти карикатурного в своей нарочитости. Через пару минут графариетные, пресные лица превратились в противные маски, искаженные гримасой идиотизма и тупости.

Веснушка зажгла торшер. «Ну как вам?» «Не знаю, что и сказать». «Тогда скажите: талантливо». «Очень. Он болен?» «Художник? Конечно». «Ваш пациент?» «Один из любимых. Гордость клиники. Собрание всех патологий, которые можно только вообразить». «А эта его инсталляция – месть всем здоровым?» «Не месть, а протест. Его нежелание излечиться – больше позиция, чем каприз». «Где он сейчас обитает?» «В стационаре. Отделение для обсессивных невротиков. Чемпион по количеству маний и фобий. Между прочим, весьма проникновен». «Наверное, я в этом смысле ему не соперник: хоть убей, не пойму, для чего вы меня сюда привели. Не затем же, чтоб мы с вами, сидя в подвале, обсуждали чужую болезнь?» «Разумеется, нет». «Ваш приятель действительно псих: так ненавидеть людей в состоянии только сошедший с ума мизантроп». «А вот тут вы неправы. Вчера я его навещала. Рассказала о вас и о мальчике. Он схватил карандаш и... Взгляните на это». Она достала из сумки рисунок. «Узнаете?» Суворов был потрясен. Сходство было полнейшим. «Тот самый малыш?!» Она дала ему время прийти в себя, потом тихо сказала: «Удивительно, правда? Особенно это распятие... О нашем разговоре с вами я и словом не обмолвилась, лишь показала, как малыш держит руки, а он тут же набросал на бумаге крест и сочинил лицо. Поверьте, я и сама растерялась, когда увидела, что оно как две капли воды... Эй, вы в порядке?» Суворов держался, хотя язык онемел, превратившись в подошву. Изловчился лишь хмыкнуть. «Хотите салфетку со льдом?» «Н-м п-хочу». «Вот и ладно. Теперь вам ясно, что я имела в виду, пригласив вас сюда? Все творчество – это перенесение. Два варианта: интуитивная попытка оградить благоу реальность, вывести за пределы ее свои страхи, или, наоборот, бегство от страхов реальности в лучший мир. Каждый творец выбирает свое. Вам, думаю, ближе путь первый». Суворов сказал: «Ну хорошо. А какой же тогда выбрал путь ваш художник-приятель?» «Он не выбрал. Он отторгает пути. В том и проблема. Разве вы сами не видите? Всем известно, что в первооснове искусства лежит неумение творить саму жизнь. Но не все от этого так сильно страдают, как он. Поверьте, *ваши* муки на сей счет вполне невинны и не опасны для вашего разума». Она улыбнулась. Суворов смотрел на нее. Смотрел и дивился тому, что слышит, как ровно, толково бьется в нем сердце. Потом поднял руку и коснулся щеки: «Веснушка». Опять улыбнулась: «В ночь, когда я появилась на свет, с неба упала звезда. Мама считает, что к счастью». Он согласно кивнул и сказал, не стыдясь, откровенную пошлость: «Веснушка, а можно я вас поцелую? Очень хочется сотворить себе новую жизнь...»

С тех пор они виделись чуть ли не каждый день. Исповедоваться у Суворова вошло скоро в привычку. Веснушка проявляла завидное терпение и никогда его не перебивала, даже если он нес очевидную чушь. Поскольку в основе их связи лежал его эгоизм – самый надежный фундамент под будущее, – опасаться за то, что она вдруг прервется, не приходилось.

Любовниками они стали быстро – говоря по чести, было бы странно, будь оно иначе: постель делить проще, нежели тайны души, а начав со второго, трудно не вспомнить о первом. Слава богу, этой стороной отношений они не злоупотребляли: сказывалась боязнь охладеть друг к другу раньше, чем настанет пора наскучить партнеру беседами.

Иногда Суворов задавался вопросом, нет ли во всем этом того особенного и расчетливого цинизма, за которым кроется обоюдное желание до конца доиграть партию «доктор и его пациент», но поведение Веснушки было слишком искренним и естественным, чтобы подозрения не рассеялись сами собой. «Если ты полагаешь, что я, подобно фанатикам своего ремесла, помешанным на медицине, готова на любые жертвы, включая попытки тебя соблазнить, лишь бы наградить мудреным диагнозом, ты заблуждаешься. Я не настолько предана профессии. Да и ты болен не тем, что можно с успехом лечить. Хронический эгоцентризм для вашей писательской братии – норма...»

С Веснушкой Суворову было не то чтобы очень легко, а в общем и целом уютно: ничто так не прельщает мужскую натуру, как удобная связь без каких-либо обязательств, когда беглое чувство влюбленности не отягощено серьезной угрозой любви.

И все-таки, размышляя порой о мотивах своего к Веснушке влечения, он не мог не признать, что в основе его лежит ее счастливейшая способность – к приятию и прощению.

Видишь ли, сказала она, когда он с ней поделился этим соображением, для меня не существует категорий «плохо» и «хорошо». С точки зрения психологии, все людские поступки в равной степени объяснимы. Я не могу выставить человека за дверь только за то, что он вел себя недостойно или, может быть, подло. У меня другая задача... Дать ему шанс не погибнуть, как бы громко это ни звучало. Дверь должна оставаться открытой. Несмотря ни на что... Кстати, твой синдром предродового адюльтера – лишь одна из десятков человеческих драм, чьим невольным свидетелем я становлюсь каждодневно.

Нельзя сказать, чтобы Суворова не покорило сведение личных его неурядиц к среднестатистической шкале, но в чем-то ее заявление успокоило: затеряться в толпе было кстати.

Потихоньку нарисовался рассказ. Когда он был закончен, Веснушка поначалу отказывалась читать: «Представляю, сколько там ляпов и глупостей». Однако он настоял. Вернувшаяся рукопись была исчеркана так, будто по ней ее ручка проверяла заправку чернил. Суворов был в ярости:

– Будь твоя воля, ты бы извела метафоры дихлофосом, а восклицательные знаки полила огнетушителем! Ты что, так ненавидишь эмоции? Сказываются перегрузки по должности? Спрашивается, чем не угодил тебе этот абзац:

Когда сыну минуло восемь, отец взмолился, обращаясь к врачу:

«Прошу вас, больше я не могу! Это просто невыносимо. Он стоял перед тортом распятым Христом, и в глазах его было все то же отчаяние. Отчаяние, спокойнее которого я в жизни ничего не видал. Он словно мертвец, чья душа не может уюмониться. Мы не знаем, как до нее достучаться». «Больше никому. У вас общий крест. Что жена?» «Как обычно: активно меня ненавидит. Зато научилась молчать. В первый раз не услышал упреков». «Берегитесь, она затевает войну». «Вероятно. По глазам было видно, что в ней закипает изрядное буйство. Совсем не похоже на ревность. Скорее на ярость из-за того, что всякая ревность прошла».

– Ну???

Веснушка, подумав, сказала: «Мне не понравилось. Слишком подробно. И потом, они с этим живут уже год». «Ну и что?» «Срок достаточный, чтобы страдание в них отупело. Сделай скупое, тогда попадешь».

Суворов послушался. В итоге рассказ получился. Потом получился и сын (мальчик был на диво здоров: *перенесение* миновало удачно).

Вслед за ним получилось еще много чего. Все эти годы Веснушка служила Суворову оберегом. Самое удивительное, оберегом по-прежнему тайным: жена не догадывалась. Не догадалась она и тогда, когда он, хлопнув дверью, ушел из дому и обосновался на даче.

Узнав про разъезд, Веснушка сказала: «Скоро ты к ней вернешься». «С чего это вдруг?» «Вовсе не вдруг. *Вдруг* никогда не бывает. И вернешься ты к ней потому, что ревность ее для тебя важнее ее к тебе ненависти». А когда он съездил домой за вещами, спросила: «Признайся, ты к ней приставал?» «Ты издеваешься?» «Нет?» «Нет, конечно». «Нет?» «Иди к черту!» «Вот видишь. Ты к ней приставал. Вы опять переспали?» «Нет». «Значит, нет?» «Значит, да. Разве это что-то меняет?» «Едва ли». «Ты шутишь?» «Нисколько. Доказательство – у тебя на столе. Подними, пожалуйста, лампу. На днище увидишь число. Ну как, убедился?» «Когда ты его написала?» «Недели четыре назад. В тот день ты обронил в разговоре, что больше она не опасна». «А потом ты спросила, когда день рождения сына и нацарапала дату на дне?» «Все достаточно просто, если умеешь читать по глазам». Оскорбленный ее снисходительным тоном, он счел излишним вдаваться в детали и, коротко попрощавшись, ткнул трубкой в рычаг.

К жене он вернулся не сразу: нужно было сперва заручиться поддержкой хандры. Дней пять он писал, ожидая звонка, но Веснушка была непреклонна. В терпеливом смирении ей не было равных. Хорошенько надравшись, Суворов вызвал такси.

Жена сделала вид, будто верит, что снова у них появилась надежда. Довольно добротная ложь – он выдержал месяц. На второй его не хватило.

«Новость как новость, – пожалала плечами Веснушка. – У меня интереснее: на прошлой неделе он выписался». «Снова? Ведь ты о художнике?» «Все еще не готов познакомиться? Зря. Он прочитал твою книгу». «И что он сказал?» «Сказал, что у вас с ним похожее восприятие мира». «Похвала! И в чем же оно заключается?» «В том, что оба отшельники. С той лишь разницей, что он это выбрал, а ты не сумел избежать. Сказал, из вас двоих, стало быть, ты одареннее, но зато и трусливей. Что у тебя кишка тонка взять канистру с бензином, выйти на площадь и сгореть у всех на глазах». «Предпочитаю истлеть в одиночку – меньше шансов спастись под пожарным брандспойтом и попасть к вам в палату... Извини, но он просто дурак». «Сказал, что ты меня бросишь – как только...». Она замолчала. «Как только – что?» «Этого он не сказал. Так и закончил: на этом *как только...*». «Почему не продолжил?» «Потому что не знает. Потому что не хочет. Потому что не может. На *как только* он взял и заснул». «Ну а ты? Где-то уже наказывала дату?» «Все даты хранятся всегда на моей открытой двери. Вход и выход свободны».

Об этом Суворов не забывал. Возможность войти в ее дверь ровно столько же раз, сколько выйти, вынуждала его дорожить их связью больше, чем тяготиться характером отношений, которые, если вдуматься, были не так безопасны. Их союз был игрой на измор, где побеждает не тот, кто выносливей, а тот, кто первым сойдет с дистанции, устав от изнурительной близости, подразумевающей порой такую степень обнаженности сознания и чувств, которую достичь можно, лишь обоюдно содрвав с себя кожу. До поры до времени такая забава могла сходиться с рук, но – только до времени.

«У меня к тебе просьба, – сказала Веснушка. – Обещай, что воспримешь ее без обид. Кажется, я тебя предала». «Переспала с художником?» «Если бы...» «Хуже?» «Хуже. Сегодня ко мне на прием записалась твоя благоверная» «Что она тебе наплела?» «Она лишь пришла за советом». «Ты рассказала про нас?» «Нет, конечно. Впрочем, она наконец как будто смекнула, но не про *нас с тобой*, а про *тебя*. Убеждена, что кто-то есть, но относится к этому, в общем, спокойно». «Любопытно: насколько спокойно? И отчего вдруг спокойно? У нее что, тоже кто-то завелся?» «Наша беседа была о другом». «Разве тебе уже не достаточно просто читать по глазам?» «Послушай, я не наме-

рена в разговоре с тобой затрагивать эту скользкую тему. К тому же слово *завелся*, которое ты только что употребил, рикошетом задело меня, хоть я и немышь, чтобы вдруг *завестись* в твоём темном подполе». «Хорошо. Извини. Это не ты завелась, я завелся, в смысле – сорвался. И все же: что она рассказала?» «Много чего. Самое главное – то, что, когда мужа поблизости нет, ей спокойней дышать...» (Тут вливается перенесением давний абзац:

Доктор сказала: «Когда вас нет, мальчик меньше задирает руки. Когда вас нет, он так не терзается. Перед ним лишь один источник притяжения воли, а не два, как когда вы вдвоем. Предпочтительнее, если вы на какое-то время исчезнете. Не имею права запретить вам с ним видиться, но при крайней форме полюсной шизофрении...» «Почему бы тогда не убрать и полюс второй? Давайте уж заодно припрячем от него мамашу!» «Чтобы оставить его вовсе без полюса? Все равно что лишить вас самого гравитации. Я уже объясняла». «Как и то, что ему нужен я». «Вы нужны. Только сейчас нужны большие своим непоявлением. В глубине души, полагаю, вы даже этому рады». «Еще бы! Я просто беснуюсь от радости». «Как бы ни было трудно, переживете». И он понял: переживет.

Суворов невольно поежился). «Вопрос только – с кем?» «Не позорься, товарищ мой Хорхе. Если все еще любишь, пойдй и скажи. Если не любишь, отстань от нее. Все очень просто». «Ты нарочно корчишь сейчас из себя остолопку? Не ты ли внушала, что для меня моногамия – якорь, без которого я соскочу неизвестно куда?» «А тебе неужели не хочется, Суворов? Поднатужиться духом, заорать благим матом, разрубить одним махом канат? Неужели не интересно, куда занесет тебя вольная воля волнительных волн? Эх ты, Одиссей! Хреновый из тебя моряк». Тут он понял, что она пьяна. И понял еще мимоходом, но совсем уж тоскливо, что ему самому *так* не напиться – чтобы спяну изречь столь беспощадно, нечаянно трезвые слова, тем более в чьем-то присутствии. Задолго до подступов к ним его попросту вывернет: более низкий порог тошноты...

То была первая их перепалка. Размышляя над ее фразой о совершенном предательстве, Суворов признал, что оно действительно было. Отказавшись впредь, как пристало любовнице, помогать ему тешить свое самодлюбие, поддерживая иллюзию того, что он необходим жене (мол, иначе та просто погибнет!), она вдруг взялась энергично ее защищать, преступив границы... как бы ни было это смешно, но – приличий! Вошла в «заповедную зону» соперницы, невзирая на то, что обычно ее передергивало от одного лишь цитирования произнесенных той перлов (здесь Суворов был хоть и мстителен, но объективен – как-никак уважение к слову). Сам он, оказавшись на месте Веснушки, вряд ли поступил бы тем же образом и не стал бы рисковать удобством интимно-приятельских отношений. Это не льстиво. К тому же из двусмысленной в нравственном отношении ситуации только Веснушка и умудрилась выйти с высоко поднятой головой – своего рода моральным победителем. По элементарной причине: ей было плевать, как ее поведение выглядит со стороны. (Любопытно, как осеняет порою крестным знаменем текст своего улизнувшего крестника. Вот пример из того же, постаревшего на десятилетье, рассказа:

И прежде не скупясь на правду, отныне она обрушивала ее на него без пощады, выговаривая ему за то, что он упрямо питается иллюзиями – мазохистскими иллюзиями своей утфированной вины: «Прекратите относиться к нему, как к персонажу романа. Ну и что, что вы изменили когда-то жене? Что, что вам снилось в ту ночь перевернутое распятие? Подумаешь, грешник! До настоящего грешника вы не дотягиваете: у грешника хотя бы азарт имеется, а у вас?.. Смиритесь с

тем, что это болезнь, которая зрела подспудно с момента рождения ребенка. И даже раньше. Скорее всего она вызревала годами не одно поколение. Не хочу быть жестокой, но в значительной степени он расплачивается за ваш чертов талант, а отнюдь не за то, что как-то раз вы с женой неудачно повздорили. Его раздвоение – лишь следствие отшельничества отца. Он распят той же болью – но с поправкой на ее природу: корни тут в физиологии, а не в метафизической галлюцинации, какой бы сюжет она вам ни сулила. Перестаньте же наконец умиляться страданием. Я вас очень прошу».

Насчет сюжета доктор попала в самое яблочко: не думать о нем отец был бессилён.

Воистину, мы в ответе за то, что понаписали. Каждый сам выбирает перенесение. Чтобы потом перенесение могло точно так же выбрать его самого...).

А привнесение – вот оно, все еще ожидает на проводе.

– Суворов, я, наверно, не вовремя?

Он подумал. Она помолчала. Было слышно, как она думает то же – словно идет за ним по пятам. Господи, сколько же раз в своей жизни мы убиваем влюбленных в нас женщин?

Он сказал:

– Наверное, вовремя больше не будет.

Слава Богу, не вслух. А вслух он сказал:

– Если б хоть что-нибудь в мире случилось когда-нибудь вовремя, я бы чего-нибудь где-нибудь да успел. К примеру, позавтракать. А так – вовремя только ты...

– Что ж, спасибо за откровенность.

Повесила трубку. Совсем как в России – пунктиром гудки. Подходящие позывные для зачина нового дня.

И света – тьма-тьмушая. Сухо так, будто в мире нигде нет дождя...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ (Мистерия)

В мистериях с особым размахом проявилась одна из основных черт средневекового мировоззрения и поэтики – соединение иносказательного толкования изображаемого с его подчеркнута чувственной остротой: мистерии как бы погружали патетический смысл «Священной истории» в стихию плотской натуральности. Чем более кричащими красками рисовались подобные сцены, чем более жестокими они были, тем большей оказывалась сила чувственно-мистического внушения. С другой стороны, религиозная патетика тесно соседствовала с бытовым и комическим элементом...

Георгий Косиков. Средние века

Ну а потом неделю кряду, не переставая, словно рухнув потоком с библейских страниц, лил дождь. Лил и лил.

Почти все время гости проводили у себя в апартаментах, строча не поспевающие за их хмурым азартом черновики. За едой предпочитали отделяться малозначащими репликами и спешили поскорее расстаться, чтобы ненароком не выдать конкурентам своих бесценных задумок. Периодически кто-то из них, прихватив из бара бутылку, шел на веранду и под шум ливня предавался в одиночку нахлынувшей тоске – извечному послевкусию сочинительства. На пробковой доске перед библиотекой каждое утро дразнящими коллег намеками появлялись листы снятых копий с подвернувшихся к случаю документов по делу Леры фон Реттау.

С балкона мансарды Суворов видел, как Дарси трижды в день, собираясь в столовую, запирает на щеколду окно, выходящее на их общую с Расьо-лем террасу, опоясывавшую второй этаж широкой буквой «Г». Шпиономания Жан-Марка была не так выражена, зато отличалась типично галльским коварством: как-то раз Суворов застал его за подвязыванием к ручке двери незаметного узелка.

Дождь окончательно спрятал Вальдзее за пеленой подвижной воды, будто вынудил озеро подняться в рост, предварительно стерев с лица земли потускневшие Альпы. Чтобы размять ноги, Суворов отправлялся к нему под зонтом пару раз на свидание и, вприпрыжку одолевая лужи, шел по размытой дорожке в звенящий разбухшими листьями парк. По пути то и дело кошачьим дерьмом попадались раздувшиеся от немерено выпитой влаги бездомные эксгибиционистки-улитки. Похожие на пиявок, они благоденствовали, не боясь нападения птиц: радикальный окрас даровал им малопочтенную неуязвимость. Мысль о том, что их собратья в России куда как успешней решили квартирный вопрос, придавала Суворову толику оптимизма. В остальном побеждали усталость и грусть: несмотря на исписанный ворох страниц, работа не клеилась. Что-то было не так, но вот где и когда захворала его интуиция, он никак не умел просчитать.

Попытавшись взять старт с начала, Суворов выстроил целый кроссворд, заполняя его именами и фактами по мере того, как сомнение сменялось надеждой разгадки. Однако что-то в квадрате все время шаталось, угрожая нарушить зыбкое равновесие и без того неустойчивой кладкой конструкции. Суворов ощущал себя измученным канатоходцем, у которого руки измазаны маслом и едва держат шест.

Родившись за тридцать лет до своего исчезновения, Лира фон Реттау оставила столько следов, что связать их в единую цепь обстоятельств было непросто. Начать с того, что день ее появления на свет был омрачен внезапным сиротством. Не вынеся кесарева сечения, спустя шесть часов беспощадной борьбы с застрявшим в утробе плодом ее мать, в девичестве талантливая актриса, прославившаяся исполнением на парижских подмостках тягучих трагедий Расина, словно мстя судьбе за вынужденный – по причине замужества – отказ от театральной карьеры, отыграла свою последнюю роль столь убедительно, что отошла в мир иной еще прежде, чем измученный акушер перерезал едва не задушившую младенца пуповину. Ральф фон Реттау, вельможный граф, знатный печатник, любимец Бисмарка и бескорыстный любитель-философ по совместительству, в то утро как раз закончил вычитывать гранки набора доселе неведомого трактата из Якоба Бёме, почитаемого им за непревзойденное умение слагать из мистических откровений будоражащую разум вселенную. Протерев спиртом руки, издатель поспешил на пролетке домой, бросив перед уходом директору своей типографии: «Вот день, когда дьявол и небо отступают в позоре перед мощью постигшего истину гения», чем впоследствии навлек на себя запоздалые упреки в кощунственной неосмотрительности, ибо не успел он проехать и двух кварталов, как врезался в летящий навстречу фэзтон племянника местного бургомистра, запомнившегося согражданам разве что этим вот эпизодом да своей страстью к юным субреткам и кутежам. Удар был столь силен, что фон Реттау успел только крикнуть подстреленной уткой и, словно того и ждал, ринуться из накренившейся двуколки в короткий, но броский полет, чтобы, раскидав ласточкой руки, с присущей мечтателям легковесностью вонзиться головой в придорожный столб, на котором вечером ранее нашли пристанище тяжелые механические часы, подаренные городку Ауслебену муниципалитетом итальянской Лукки. Часы устояли, а вот стрелки на них отказались продолжить свой ход, засвидетельствовав с железной бесстрастностью (и необходимой поправкой на апеннинское представленье о точности) минуту дождавшейся

Ральфа фон Реттау на углу его улицы кары – то ли небес, то ли их бесовской антигезы, то ли того и другого разом. Если верить врачу-акушеру, эта застигнутая врасплох минута совершенно совпала с мгновением, когда супруга незадачливого идеалиста издала последний свой вздох. Лирой младенец был наречен в честь погибших родителей, переняв по две буквы из первых слогов их имен (мать ее, если вдруг кто позабыл, звали Лидией).

Попечителем девочки выступил брат Ральфа фон Реттау. К этому прожигателю жизни, куда больше занятому ипподромными ставками, преферансом и дегустацией шустрых жокеев, нежели отправлением скучных обязанностей воспитателя быстро взрослеющей девушки, Лира не чувствовала ничего, кроме прохладной, ровной ненависти и пытливого, внимательного к мелочам презрения. Свою затянувшуюся (не исключено, что на всю ее жизнь... Фабьен, Горчаков и Пенроуз, автор должен быть честен!) пресловутую девственность в многочисленных письмах она объясняла тем подспудным, но, пожалуй, заслуженным отвращением, которое внушал ей к мужескому полу этот непривередливый в вопросах морали – и столь неопрятный в выборе объектов своего вожделения – монстроподобный сатир. Красоту свою Лира фон Реттау воспринимала как испытание – перед тем, что сулила ей страсть. Однако приблизиться к ней, чтобы встретиться с глазу на глаз, она не спешила. Вперед тела и изводимой сомнениями, не окрепшей покида души она предпочла осторожным дозором выстать разум. Как всякий пущенный самотеком ручей, он не гнушался выискивать закоулки сорных подробностей – в каждой строчке прочитанных книг. Воображение Лир охотно вступало в игру и дорисовывало нескромными штрихами заимствованные из фолиантов описания волнительных сцен, проверяя свои избыточные способности в беседах с ошеломленными подругами, которые вскорости неминуемо становились ее завистливыми и преданными врагами, тем самым невольно потворствуя желанию строптивой девы разорвать узы филистерского прозябания, посвятив себя горделивым утехам одиночества, в котором Лира только и находила отраду тревожной свободы. Делиться ею она, опять же, не горюпалась, пока, повзрослев, не нашла способ одалживать ее без всякого риска растратить – так появились на свет ее знаменитые письма.

Смерть опекуна от апоплексического удара во время игры в преферанс ей здорово в том помогла: Лира стала богата. Светская суета ее тяготила, но не настолько, чтобы не обнаружить в ней преимуществ для своего обретающего все большую опытность и разборчивость в прихотях одиночества. Довольно было лишь два-три раза в год появиться на особенно шумном приеме, как вокруг начиналось обхаживающее ее движение: родовитое происхождение и безумные деньги полученного наследства делали ее желанной партией для каждого, кто был по-прежнему холост или, напротив, уже пресытился плутнями вдовства. Таковых, как водится, было немало. Лира их только дразнила намеками, забавляясь придумкой сюжетных интриг. Непрестанное чтение и тысячи складных страниц, ежедневно выходящих из-под станка типографии, за процветание которой теперь отвечала она самолично, предприняли систему ее предпочтений: отныне преимущество даровалось творцам всего этого молчаливого и в то же время столь напряженного смыслами, почти волшебного спокойствия, рядом с которым любая роскошь мирского богатства становилась блефом, словно вынутым проигранной картой из колоды усопшего дядюшки. Так предметом ее интереса стали служители муз – драматурги, поэты, прозаики, сочинители опер, симфоний, ноктюрновых грез, кудесники гриффеля, кисти, мольберта, укротители мрамора, глины, резца. (Здесь уместно напомнить, что почти половину доходов типография получала от печатания партитур и литографических серий). Жанр письма позволял Л. фон Реттау оставаться невидимой, доколе она сама того хочет, и вместе с тем ося-

заемой, слышимой, близкой – как летучий чарующий сон. Так длилось годами. И, пока до бесстыдного смелый проделками разум развлекался игрою в любовь, тело было надежно сокрыто корсетом.

Разумеется, это бесило: укоруы в бездушии стали общим местом десятков посланий, подписанных дюжиной до обидного громких имен. Тогда Ли́ра, как будто смирившись, назначала свидание – но не в крохотном Ауслебене, а подальше от своего закрытого для посетителей особняка: в Берлине, Венеции, Лондоне, Зальцбурге или Давосе, – куда сама... не являлась, сославшись в последний момент телеграммой на недомогание или хандру. Так Ли́ра фон Реттау сжигала мосты – между тем, что могла ей дать страсть, и тем, что грозила украть у нее из мечтаний...

Приближалось тридцатилетие – тот рубеж, за которым ей виделся некий бесплотный, но тем больше безжалостный призрак увядания всей той красоты, что, будто припрятанный в сейфе бриллиант, покамест была взаперти. Облюбовав в лесистой Баварии два гектара земли на холме, Ли́ра фон Реттау пустилась на авантюру, в сравнении с которой былое ее озорство и проказы казались лишь милыми шалостями сметливого не по годам подростка. В точности следуя ее наброскам, мюнхенский архитектор разработал детальный план усадьбы: ви́лла в два этажа, мансарда, увенчанная острой башенкой с четырьмя смотровыми оконцами; овалы лужайки с морщинками узеньких троп; кусты ежевики, обрамляющие на подступах к скверу ворсистый сиреневый склон; частокол деревянной ограды. Хозяйка непременно желала, чтобы с террасы или балкона озеро выдилось как на ладони и чтобы каждая комната для гостей ненавязчиво, но неколебимо внушала отрадную мысль, будто именно здесь невидимым стержнем поднимается к шпилю громоотвода сокровенный сердечник некоей *духовной* опоры возводимого здания, которое, к слову сказать, подозрительно напоминало сомкнутой угловатостью контуров маленький форт или збмок. Архитектор изобразил на лице понимание и приступил к выполнению задач. Проект получился не сразу: фон Реттау была привередлива. Несколько раз своей умной и нервной рукою она нещадно правила чертежи, подавляя одним только взглядом любое сопротивление, любой растерянный стон: «Позвольте, но так же нельзя!..», пока, наконец, не добились того, что в письмах назвала «увы, лишь удачным подоби́ем».

Строительство заняло три долгих года. Говорят, перед тем как осуществить прихотливый свой замысел, Ли́ра настойчиво добивалась заполучить из Берлина геоманта-китайца, дабы тот совершил на участке мудреный восточный обряд, просчитав по магическим рамкам энергетику почвенных тяг, и выписал карту ветров, однако хитрющий старик, поначалу томивший ее отговорками, учтиво ссылался на занятость и беззащитно набивал себе цену. Когда же они сговорились, обтянутый шелком служитель Дракона уже по дороге в Потсдам был застигнут грозой, захворал и некстати преставился. Так неверный Восток отказался вдруг ворожить в пользу Лиры. Сей пробел неотступная дива порешила восполнить закупкой комплекта китайских столов. Вообще же, коль верить бумагам, до фатального лета она здесь была лишь однажды – когда приехала дождливым апрельским днем в старой отцовской двуколке, с которой, однако, даже не потрудились сойти, приказав кучеру дважды объехать готовую к сдаче усадьбу. Потом кивнула и распорядилась:

– Еще должны быть две фрески. На фасаде – «Идиллия», с торца – тоже «Идиллия», только наоборот.

– Вот как? – спросил архитектор. – Наоборот? Но...

– Просто найдите художника, который поймет, чту я имею в виду. И не скупись в награде... На арке вы написали три слова?

– «Altyt Waek Saem»? Конечно, все, как веле-ле-лели. Не соблаговолите ли... ли поглядеть?

Но Ли-Ли́ра уже веле-лела кучеру трогать.

Художником, угадавшим смысл ее поручения, оказался Матиас Лямке, известный впоследствии тем, что, вдохновленный сотворенными им по наитию фресками на стенах Бель-Летры, увлекся наследием Босха и в своих подражаниях ему достиг почти совершенства, но как-то раз, живописуя ад, переусердствовал в своем старании, отчего затем коротал оставшиеся дни в бесплатной лечебнице для душевнобольных в сострадательном городе Мюнхене.

Фрески действительно потрясли. Впрочем, первая из них, как две капли воды похожая на сотни других подобных изображений, вряд ли бы удостоилась чьего-либо пристального внимания, не будь фрески второй, где художник нарисовал как будто бы то же самое, один к одному, но, умело играя оттенками красок, незаметно добавил в них яду, чем сумел достичь эффекта воистину поразительного: небо, столь легкое и ажурное на фасаде, на торце вдруг зловеще зашевелилось, ангелы в нем превратились в коварных охотников на убогих костлявых людей, птицы были сплошь и рядом грифоны-стервятники, а земля, оскудев до бездущья пустыни, уже не искрилась ручьями, а словно кишела повсюду мрачным сонмищем змей.

Амбивалентность задачи, поставленной перед злополучным Лямке, могла бы немало открыть в характере Лиры фон Реттау, если бы только знать, с какой стороны к нему подойти. Суворов терялся в догадках. Чаще всего приходило на ум нехорошее слово «отчаяние», однако документов, подтверждающих, что хозяйка имени перед смертью испытывала особые муки сомнений, в архиве не находилось. Напротив, в письмах последних двух лет эта неподражаемая умелица эпистолярного жанра представляла всегда лишь решительной и бесшабашно-веселой. Она часто вышучивала учтиво-корыстных корреспондентов, изводя их самолюбие фейерверком насмешек, и на пути к осуществлению своей главной затеи действовала последовательно и твердо. Наметив в качестве жертв трех модных писателей рубежной эпохи столетий, она словно тем самым сделала свой окончательный выбор – в пользу словесности, подчеркнув его странным приказом убрать с территории виллы доставленный прямо из Вены роскошный звучащем рояль. Одновременно по ее волеию художническая студия со стеклянной кровлей, возведенная в полусотне шагов от фасада, была оборудована под тропическую оранжерею. Сохранилось ее суровое письмо, адресованное несчастному архитектору, где она поручала ему за неделю, оставшуюся до приезда гостей, выбить готическим шрифтом на арке ворот название «Бель-Летра».

Писатели собирались прибыть туда в первый день лета.

Несмотря на великолепие предоставленных в их распоряжение удобств, они испытали законное замешательство из-за того, что сама хозяйка, проявив в который раз бессердечие, нарушила данные им обещания и как-то слишком наглядно отсутствовала. Единственным существом, повстречавшимся им на вилле, оказалась глухонемая служанка, приставать к которой с расспросами было все равно что разговаривать со статуями улыбочивых муз в приусадебном сквере, с той, правда, существенной разницей, что последние выглядели не только привлекательнее, но и куда дружелюбней прислуживавшего литераторам создания, которое, судя по дошедшим до нас наброскам, характеризовалось ими не иначе как *колченогая Полифемка*, *Минотавр в юбке* и *Баварская Ипполита-воительница*, а потому едва ли уступало каменным барышням в мифической внушительности своего колоритного облика.

Постепенно, день за днем, тройка гостей достаточно свыклась с сопутствующими здешнему пребыванию странностями. Солнечная погода, прогулки к Вальдзее и бодрящие купания в его прозрачной воде благоприятно сказались на их самочувствии. Пахучие хвоей звездные вечера также не способствовали приступам ипохондрии.

Все шло довольно неплохо, пока вдруг однажды, поздним вечером 14 июня, течение привычно-щедрого ужина не прервалось появлением той, кто их сюда пригласил. Лира прибыла в той же двучке, в которой отправился в свой последний проезд ее злополучный отец. (Пенроуз об этом напишет: *«Колесница, впряженная в смерть и в рождение, привезла их взаимный губительный плод»*. Спрашивается: для кого губительный? Для смерти? Для рождения? Для литераторов? Не очень понятно. Метафорический нонсенс, хотя и изящно...) Войдя в столовую, фон Реттау пресекла все распросы одной только репликой:

– Мне надо было подготовиться, господа. Завтра настанет день, который ожидал меня ничуть не меньше, чем грезила о нем я сама. Ручаюсь, для вас он тоже станет сюрпризом...

Охальник Расьоль наверняка уцепился за эту фразу, предпочтя трактовать ее как обещание Лире всех одурачить. Однако толковать ее можно по-разному. Например (версия для оптимистов), как решимость одарить своей красотой того, кто покажется ей достойнее двух остальных. Или (версия вторая, «пессимистическая») как сигнал к раскручиванию сюжета своей смерти, уже назначенной на следующую ночь. Или (версия синтетическая) то и другое вместе...

Слишком путано? Этот упрек не для Лире: в ее жизни и смерти запутано все!.. Вся ее биография – словно тенета. И чем пристальней смотришь на эту искусную сеть, тем труднее увидеть в ней первопричину. Все так здорово сходится в этом узоре, что поверить в него – невозможно!..

Суворов сник. Бесконечный прожорливый дождь навевал меланхолию. Вот он съел неспеша новый вечер. К утру съест и ночь.

Отчего-то при мысли об этом делалось стыдно. Чужбина!..

(Продолжение следует.)



Юлий ГУГОЛЕВ

Впечатления из другой области

* * *

Ну что ж это за наказание!
Спокойно стою себе в тамбуре.
Курю сигарету приличную.
Ничем вроде не отличаюсь
от прочих командировочных.
Спокойно стою, но не робко.

Доехать хочу до Казани,
хотя согласился б и за море,
устроил бы жизнь свою личную...
Но тут, раскрасневшись не с чаю,
заходит мужик в тренировочных
и ростом мне до подбородка.

Нет, я совершенно спокоен.
Со мной как всегда мое прайвиси
(нет, чтоб он припёрся попозже!).
Курильщиков сдуло как ветром
(и мне бы уйти), а на кой им...
(Ну нравишься ты ему, нравишься.)
Он тянет из пачки вопрос уже.
Я лезу в карман за ответом.

– Ну, что, – говорит он, – татарин?
– А взгляд-то его все добрей. –
Ну, что, – продолжает, – покурим? –
и смотрит уже как на брата
и вроде действительно рад,
за что я ему благодарен,
но сам я не столь рад, однако,
и надо признать, что еврей,
а он говорит, что «не надо врат!
зачем, брат? не надо врат!..», –
так вот, без мягкого знака.

Дались мне поездки в неизвестное!
И я обещаю себе в который
раз не шастать впотьмах,
не называться евреем,
кушать один перемяч-ишпишмак
смотреть за окно,
а там все чревато делирием,

там все татары со мной заодно
ругаются бият-конторой.
Небеса над Казанью подобны валькириям.
Какими же им еще быть в ноябре, ё-моё!

Дорога-то тряская, скользкая.
И, глядя на все это воинство,
мне все очевиднее кажется,
лишь мне в целом свете не свойственно
все это татарское ханжество,
какой-то прям хамство монгольское.

Стансы

Как средь пустыни туарег
бьет верблюда, представив речку,
так я, завидев чебурек,
ударить рад по чебуречку.

И чебурек как будто рад:
так наслаждается ударом,
как бы в бессмертие снаряд,
запущенный как бы радаром;

так радуется маниак
последним хрипам жертвы милой,
которую он – так! и так! –
над свежевырытой могилой;

так жертв, умученных в лесу,
уж не страшит земля сырая;
так я гляжу на колбасу,
ее подравнивая с края.

* * *

Бросил на миг
обмолачивать рис крестьянин,
глядит на луну.

Басё

Призрачно все
в этом мире бушующем,
есть только миг..

Л. Дербенева

Из Басё я не помню ни слова –
я не очень вообще насчет книг,
но вчера я ж читал Басё,
строчки три, ну от силы четыре,
перечитывал снова и снова,
и прикинь, что увидел я в них, –
тот же смысл, что у Л.Дербенева.

Строчки три, ну от силы четыре,
хоть их смысл в мое сердце проник,
примириться оно не готово
с утверждением, что есть только миг
в этом... как там... бушующем мире,

в коем, где Дербенев, где Басё,
не поймёшь, ибо призрачно всё.

* * *

Не привык и не отвык,
что таджик с пяти утра, –
я-то знаю, что таджик,
я же чую, чья рука, –
то скребком, а то лопатой
тюк да тюк, всё вжик да вжик
возле самого одра,
по касательной пока
да с улыбкой страшноватой.

* * *

Чаю воскресения мертвых.

Символ веры

Услыхал еврей про три желания и говорит золотой рылке:
– Я хочу роллс-ройс, дом во Флориде, пять миллионов евро
и молодую, красивую, покладистую жену с хорошей фигурой –
это раз...

Из анекдота

Это, знаете, как бывает:
мрак ночной вас в гостях застиг,
разговор затихает и стих,
но решимости все ж не хватает,
чтоб убраться в ночную мглу,
и хозяйка, зевая глотая,
снова чайник несет к столу.

– Мне пора, дорогие друзья.
– Да мы все щас пойдем! А чаю?
Мне не думать об этом нельзя,
я с трудом за себя отвечаю:
– Чаю? – я! воскресения мертвых? –
тоже я! – И как с рыбкой еврей
торговавшийся: – Это во-первых, –
добавляю у самых дверей.

Книжки спят, знать, пора и нам,
с нами все ж веселей семенам
в пережное орковых грядок.
Говоришь, не постельный режим?
Ну а чё такой беспорядок?
А чего мы тогда лежим,
точно письма в пустых конвертах?

Кто надписывал имена?
Ну чего мы лежим, зевая?!
Ждём ль чего?
Воскресения мертвых.
Видишь, очередь тут одна,
но еще не вполне живая.



Прогулки в парке

ПОВЕСТЬ

1

Бабы Шурина квартира располагается на первом этаже. Очень удобно: что бы ни случилось во дворе, достаточно только переобуться, и ты уже тут как тут, в гуще событий. Подерутся ли два вечных врага, рыжий Мурзик и черный Босс, устроят ли конференцию дворничиха с почтальоншей, раскричится ли дитё в коляске у молодой мамочки, сей же час из подъезда выйдет в горошковом платке баба Шура, и все будут наставлены и вразумлены, включая котов и грудного младенца. Однако не следует думать, что она только ждет поводов, чтобы применить свою опытную распорядительность, – нет, баба Шура отлично умеет создавать эти поводы сама. Едва забрезжит рассвет, тормозит она супруга своего, дядю Колю, кормит его таблетками и выводит на балкон, откуда он будет весь день ласково кивать проходящим – знакомым и незнакомым. На этом семейный долг свой она считает исполненным и потом уже предается всецело обязанностям гражданственным. Обмундировавшись в «куфайку» и войлочные боты, повязав свою православную голову платком, баба Шура производит ежеутреннюю инспекцию территории, вверенной ей, надо полагать, самим Провидением. Еще не допели своих песен коты; еще Киселева, дворничиха, не скребла метлой тротуара; еще даже ночной пьянчуга, очнувшийся на лавочке, не вспомнит своего ни имени, ни звания, а баба Шура уже делает этому пьянчуге материнское внушение и направляет стопы его по нужному адресу. Возвращаются с завода пропитчицы, сами пропитанные, пропахшие фенолом, одуревшие от лаковых испарений и бессонной смены, – и они обязаны бабе Шуре отчетом о своем житье-бытье. Студент из второго подъезда бежит, торопится на московскую электричку, но не мог и он проскользнуть мимо: остановись, будь любезен, и рапортуй о своих успехах. И держи на лице улыбку поприятнее, иначе уличен будешь в гордости. Бери пример с голубей, птицы божьи гордости никакой не имеют: суетливой сворой они пешком преследуют бабу Шуру, толкаясь и клюя друг дружку в затылки. Голубям она благоволит, чего не скажешь о собаках: собаки много виноваты перед бабой Шурой. Одна вина их первоградная, ибо собака животное нечистое, осужденное церковью, другая же, и главная, заключается в необъяснимом заговоре, который составили окрестные дворняги против насаждений, устраиваемых ею в палисаднике под своими окнами. Война эта началась давно, когда и баба Шура была моложе, и дворняжье племя стояло парой поколений ближе к нечистому своему предку. Каждый год, повыбрав из почвы окурки и стеклобой, под одобрительное кивание дяди Коли женщина высаживает у домового подножия древесный прутик и засеивает с молитвой крошечную огородную делянку. Но ни разу еще не довелось мне узнать, какого рода дереву надлежало вырасти из саженца. В ту же ночь кобельки, сколько бы их ни болталось в округе, все почему-то сбегаются в наш палисадник и, выстроившись в очередь, насмерть записывают несчастный бабы Шуриной прутик. Мало это

го, облегчив свои пузыри, лохматые вандалы на радостях скребут задними ногами, взрывая и разбрасывая огородик, нынче только с тщанием возделанный. Подлость их состоит в том, что открытого сражения дворняги не принимают, а партизанят по ночам. Баба Шура же после захода солнца слепнет и может лишь наугад плескаться в палисадник кипятком, нанося больше урона растениям, чем собакам. Но с зарей псы-разбойники куда-то канут, как ночные тени... Я-то знаю, где обретается поутру четвероногая банда, но бабе Шуре не скажу. Вся шайка диверсантов встречает рассвет на пустыре за домом: кто катается спиной в росистой траве, кто вылизывает причинное место, кто спит и во сне бежит куда-то, тоненько привизгивая, а кто-то просто лежит и щурится на восходящее солнышко...

Баба Шура топает ботами по двору, показывает Киселевой-дворничихе, где мести.

– Здорово, баб Шур! – Это выходит из своего подъезда Калинин. Он со скрежетом открывает пасть своему двадцатипятилетнему «Мерседесу» и бесстрашно, словно цирковой дрессировщик, сует в нее голову. Калинин – мелкий предприниматель; знать, собрался сегодня ехать в столицу на «оптовку».

Двор постепенно оживает. Все чаще звучит переключка-перестрелка подъездных дверей: пятиэтажку покидают самые деловые либо самые далеко работающие из жильцов. Скоро и мы с Карлом выкатимся из нашего подъезда. Хотя мы с ним не относимся ни к деловым, ни к дальним, но у нас есть собственная причина, чтобы выйти из дому с утра пораньше.

Вот они мы – с грохотом обрушиваемся по лестницам с третьего этажа на первый. Я цепляюсь за перила, но Карл неудержим. Горе тому, кто станет у нас на пути. Однажды мой друг влетел с разбегу под встречную тетку и прокатил ее на себе задом наперед обратно на целый лестничный пролет. К счастью, сегодня нам в подъезде не попадают ни тетки, ни кошки... Трах-бах! Дверь едва не срывается с петель. Карл сдергивает меня с крыльца и влечет к ближайшей рябине, роняя на тротуар первые горячие капли. Ну наконец-то!.. Он надолго блаженно припадает к шершавому штамбу. Рябина, что ж, дерево крепкое; в отличие от бабы Шуриных саженцев она умеет держать удары стихий. Покуда Карл отводит душу, могу и я дух перевести.

– Здравсьте, баба Шура!

– Здравствуй, здравствуй...

Мне она кивает вполне благосклонно, на Карла же только холодно косится. Я думаю, она его побаивается и старается это скрывать. Впрочем, нам некогда особенно расшаркиваться с бабой Шурой – дел еще много, а времени в обрез. Путь наш лежит к пустырю, но не к тому, что за домом и где прохладается вольный собачий народ (я, знаете ли, не жажду дворняжьей крови). Мы – благо в городке нашем пустырей большой выбор, – мы идем за сарай; там сейчас никого, и я могу без опаски разнудать своего товарища. Правда, выглядят сарайные задворки не слишком поэтично: такая земная небритость в колючих бородавках кочек. В растительной щетине еще подсыхают кое-где мыльные потеки тумана, которые, однако, никак не камуфлируют языв мусорных костровищ и коросты мелких стихийных помоек. В наше с Карлом отсутствие местоблюстителем пустыря оставался большой белый холодильный шкаф без дверцы, и сейчас он приветствует нас огромным прямоугольным зевком.

Карл нетерпеливо выдергивает голову из парфорса, рискуя оставить собственные уши на его шипах. Миг, – и трехпудовое ядро выстреливает в кусты. С этой минуты я только делаю вид, что отвечаю за происходящее. Будь у меня с собой большой барабан, я бы сел на него, как какой-нибудь полководец, и, нахмурясь, закурил. В душе-то я сознаю, что, когда войска выступили, от меня уже мало что зависит. Если судьбе будет угодно, чтобы в траве замышковалась кошка либо загулялся с ночи задумчивый ежик, вмешаться я не успею. Тогда для кошки это утро может стать последним в

жизни, а бедный ежик уж точно не донесет куда-то там свой узелок. Что поделаешь; я давно уже философски отношусь к тому, что Карл способен причинить кому-то смерть; во всяком случае, не я создал его хищником, не я вооружил его для убийств, и не я научил разворачивать ежиков. Впрочем, подобные трагедии редко случаются на пустыре, потому что кошки в массе своей существа неглупые, да и ежи обычно убредают к утру в места, недоступные даже Карлову беспримерному обонянию.

Мой короткошерстный стремительный товарищ, сделавшийся от росы глянцеви́тым, как дельфин, выныривает то в одном месте пустыря, то в другом. Трепеща боками, он замирает на мгновение и даже схлопывает пасть, пока его чудо-нос ловит какие-то ветерки, не слышимые ни для кого другого. Внезапно он бросается в сторону и принимается неистово копать. Земляные комья летят из-под Карла на метры вокруг; он нетерпеливо выхватывает зубами куски дерна и фыркает громко, как лошадь... Увы: от мыши – или кто это прятался в почве – ему достается только исчезающий запах. Поуши грязный, дымясь паром, Карл, словно обескураженный маршал, подбегает ко мне, чтобы доложить о своей неудаче. Однако все эти скачки и бурные Карловы усилия оказываются не совсем безрезультатны: вследствие их его организм приходит в готовность избавиться от некоторого лишнего вещества, накопившегося в кишечнике за последние полсутки. Этот акт, собственно, и должен стать кульминацией нашей утренней прогулки. Совершается он традиционно на самой высокой кочке пустыря. Вот уже Карл взобрался на свой излюбленный курганчик; вот завертелся, поджимая обрубок хвоста; вот замер, устремив в пространство отсутствующий взгляд; еще немного... и мы оба празднуем победу. Я считаю, что мы шли на пустырь как раз за этим делом, а вовсе не поохотиться, как думает Карл. Вообще не он, а именно я являюсь стратегом наших прогулок; поэтому я встаю с несуществующего барабана, топчу ботинком реальный окурок и свисту войскам отбой. Карл подходит понуро-покорно и сам сует голову в зубастую петлю парфорса. Всё. Мы возвращаемся домой, а на пустыре вновь воцаряется неизбывно зевающий холодильник.

Мы возвращаемся домой налегке – мой друг в физическом отношении, а я в моральном. Оба мы испытываем удовлетворение. Наши ежедневные обязательные ритуалы внушают нам чувство устойчивости бытия.

Карл носом и лапой помогает мне открыть квартирную дверь, и:

– Ноги мыть! – слышим мы из кухни.

Вот пример житейской неизменности. Если бы она забыла сделать это напоминание, мир бы и впрямь пошатнулся. Ну, конечно же, вымоем, и не только ноги. Отработанный прыжок – и Карл не сразу обретает устойчивое положение внутри скользкой ванны. Всякий раз, отмывая его после прогулки, я благодарю судьбу, что природа остригла Карла от рождения. Будь он лохматым, я бы с этой процедурой каждое утро опаздывал на работу. А так минуты три умелых действий душевой лейкой, и он вновь обретает статус домашнего животного, что бы там ни говорила баба Шура и ее церковники. После того как я протираю Карла особым полотенцем, наш дуэт с ним распадается, и мы уже действуем каждый по индивидуальной программе. Впрочем, Карлова программа несложна: добраться бы до миски с мясной кашей. Я же, прежде чем получу свою чашку кофе, должен еще поцеловать ту, которая велела мыть ноги. Но, право, я это делаю не из одних ритуальных соображений.

Наш городок, несмотря на непарадность архитектуры, несмотря на упомянутое обилие пустырей и беспривязных собак, вовсе не так уж провинциален. В случае нередкого здесь зюйд-зюйд-веста мы оказываемся у Москвы с подветренного бока – тогда все как один поводим мы носами в

сторону юга: что там готовится нового на столичной кухне? Мы в курсе последних одежных фасонов, пользуемся активно мобильной связью, и уже мало кто из нас не купался в Красном море. А какими разборчивыми стали мы покупателями – любо-дорого смотреть на горожан во время субботнего почти священного шопинга, когда происходит материализация недельного трудового усердия. Живительные столичные ветры будят наше потребительское естество – то, которого мы научились не стыдиться. Даже баба Шура, слышал я, вместо вечной «куфайки» прикупила себе на зиму импортную «кухлянку». Да, жизнь не стоит на месте – она топчется, подпрыгивает и совершает кувырски.

Вот оно, завоевание цивилизации: каким бы путем я ни направился, выйдя из дому, везде на моей дороге встретится палатка, поражающая круглосуточным изобилием.словно некий фокусник забегает передо мной со своим волшебным ящиком: чего ни захоти, все найдется в такой палатке, плюс толстая, заспанная, но добродушная тетка-продащица.

– А, – говорит толстуха, – это вы. Здравствуйте.

И, не спрашивая, подает мне мою традиционную пачку синего «Пэлл-Мэлл». Это не телепатия; просто я умею поддерживать с окрестными продащицами интимные отношения. Я зову их по имени-отчеству, а они, благодарные, помнят, какое я пью пиво и что курю.

– Спасибо, Надежда Викторовна. Удачной вам торговли.

Удачной торговли, удачной работы, удачи в их разнообразных предприятиях желаю я в душе всем своим землякам. Деловитые поутру, они крестят городскую площадь во всех направлениях: работяги с «Беломором» в зубах и руками в карманах, школьники с пузырями жвачки изо ртов, мамы, лихо управляющие колясками, безусые джентльмены в галстуках и с кейсами. По проезжим частям, бубукая динамиками во чревах, ширкают автомашины самых разных размеров, возраста и национальностей... Все живет, все движется, и только белокаменный Ленин, вмурованный в пьедестал по самую жилетку, возвышается посреди площади, недвижим, как выброшенный холодильник.

Путь мой лежит не далеко, не близко. Четверть часа бодрым шагом, и я уже всхожу на крыльцо, пристроенное с торца обычного жилого пятиэтажного дома. Большим дубородым ключом я отмыкаю железную крашенную суриком дверь с табличкой, извещающей о графике моей работы. Над дверью домовую стену украшает вывеска, тронутая временем: «Ремонт бытовой техники». Все верно, я и есть мастер по ремонту бытовой техники – личность не последняя и небезызвестная в нашем городке. Лет уже двадцать, как я совершаю здесь свой труд, скромный, но общественно-необходимый. Мне приятно сравнивать мою мастерскую с какой-нибудь земской больницей, в которой лечатся стар и млад – всех состояний и сословий. Они мои пациенты: и модная лаватриса, и бабушкин «Зингер», смазанный подсолнечным маслом, и вакуум-клинер, похожий на выплюнутый леденец, и выцветший торшер-«шестидесятник», и кофемолка, обломившая зубы на кусочком сахара, и трехэтажный небоскреб-холодильник, двери которого открываются прямо в Европу. За умеренную мзду наложением своих умелых рук я оживляю всех этих домашних-лазарей – к утешению благодарных (по большей части) горожан.

Вместе со своими занемогшими механическими сожителями (полными порой тараканов, которых я, признаться, не лечу, а казнь беспощадно), вместе с ними клиенты приносят мне самые свежие городские новости. О, я гораздо более сведущ в делах и сплетнях нашего муниципия, чем бумажные «Ведомости», щеголяющие буквой «ять» в названии, но никак не оперативностью! В моем некоммерческом информационном бюро я первым бываю извещен о том, что греча в магазине опять подорожала, что седуксен в аптеке остался только импортный, что на улице генерала Громова прорвало канализацию и два дома там «плавают в дерьме». Я в

курсе всех значительных происшествий и битв, бытовых и уличных, с трагическими исходами и со счастливыми. И уж каждому городскому новопредставившемуся специально для моих ушей зачитывается подробный эпикриз. Все эти сведения доставляют мне посетители – знакомые, полужнакомые и незнакомые вовсе – в качестве нематериальной доплаты за мои труды.

Но, кроме разовых, есть у меня и «штатный» осведомитель – электрик из расположенной неподалеку жилконторы, Лев Никитич Завьялов. Мужчина запенсионного уже возраста, он зимой и летом вынужден путешествовать по городу в поисках утраченной фазы. Заявок от обесточенных жильцов предостаточно каждый день, да только ноги у Льва Никитича не казенные. Если он чувствует себя не в форме или просто душа не лежит к работе, старик знает, как отлынить. В жэке он сказывается ушедшим на вызов, а сам скрывается у меня в мастерской: сидит на кухне, варит чифирь и разгадывает кроссворды. Кроссворды служат электрику средством самообразования, а к чифирю он пристрастился в известных местах, посетить которые довелось ему трижды в его более молодые и деятельные лета. Когда в моей работе образуется пауза, я присоединяюсь к Завьялову. Пенитенциарный напиток его я развлекаю себе до нормальной общегражданской концентрации, а потом сажусь в свое продавленное креслице, вытягиваю ноги, закуриваю и... молчу. Обратись я к нему сейчас, когда Лев Никитич, склонясь над газетой, шепчет что-то про себя и по-собачьи шевелит седыми бровями, погруженный в бездны тезауруса, – обратись я к нему сейчас, он меня не услышит. А если услышит, то поднимет морщинистое лицо, розовое от чифиря и умственного напряжения, глянет из-за толстых очков почти удивленно и хрипловатым голосом переспросит: «Ась?.. Чего ты?..» Нет уж, я лучше дождусь, когда Никитич доберется до какого-нибудь оперного героя. Этих оперных героев, говорит Завьялов, для того и вставляют в кроссворды, чтобы их никто не мог разгадать. Наткнувшись на очередную оперу, старик сердится: «Опять, – бурчит он, – «гуно» какое-то... тьфу! То ли дело города или космонавты – этих я всех знаю». Лев Никитич снимает очки, отодвигает газету в сторону, закуривает, и, покуда шкворчит и постреливает вонючая «беломорина», мозг его остывает. Вот теперь, отвлекшись от умственного занятия, Завьялов готов потраптовать со мной на злобу дня.

– Слышал, – спрашивает он после нескольких задумчивых затыжек, – ночью-то?

– А что ночью? – интересуюсь я сдержанно.

– Как что? Стреляли опять.

– Да ну? А мы с Карлом подумали, это петарды.

– То-то что не петарды. Мужики базарят, двоих грохнули.

– Разборки?

– А то что же... Цыганка, говорят, шлепнули и Мазая-младшего.

Лев Никитич цыкает зубом и добавляет по-стариковски ворчливо:

– М-да... В наше время крайняк на мокрое шли, не то что эти...

Хотя сам Завьялов «завязал» лет тридцать тому назад, он продолжает живо интересоваться текущими делами местного криминального сообщества. Чтобы показать мне, что он действительно «в теме», Лев Никитич так и сыплет бандитскими кличками – их он знает и помнит куда лучше, чем персонажей классических опер. Для человека, несущего людям свет, он слишком неравнодушен к теневой стороне жизни. Впрочем, от ночных бандитских проделок речь Никитича почти без перехода обращается к проделкам собственной его любимой внучки – трогательным и, главное, безобидным. Вежливо умилившись внучкиной очередной забавной шалости, я гашу сигарету, встаю и иду опять работать. Завьялов тоже, дохлебнув свое горькое поило, подбирает с пола старый докторский саквояж, в котором устроена его рабочая укладка, и со многими вздохами отправляется наконец в поход.

А в мою ладонь снова ложится инструмент, и прирастает к ней, и оживает, как оживает привитый к дереву черенок. И снова фокус моего зрения сосредоточивается или на отверточном кончике, или на кромке сверла, или на жале паяльника – словом там, куда посылает импульс мой опытный разум. Работа моя так мне привычна, что даже не гнетет однообразием; я отправляю ее подобно другим естественным или ритуальным надобностям. Я чиню стиральную машину, потом еще одну, потом пылесос... Звенит колкольчик – это дверь выпускает и выпускает клиентов... А потом я вновь слышу знакомые шаги и пыхтенье. Лев Никитич по-хозяйски проходит на кухню, шуршит там принесенными пакетами и гремит посудой. Значит, мастерская уже полдня и нам пришло время обедать. Четверть часа спустя мастерская наполняется съестным аппетитным духом, который всегда почему-то бывает вкуснее самой еды. Сегодня, судя по запаху, у нас будут пельмени. Аромат все усиливается, и наконец:

– Эй! – До ушей моих доносится несколько суровый, но долгожданный призыв. – Тебе что, особое приглашение требуется?

Да, я люблю особые приглашения, если это приглашения к столу. У всех свои слабости. Я, например, склонен тянуть до последнего, если предстоит что-то приятное. Разве, скажем, не сладостно бывает задерживаться, балансировать на краешке сознания между явью и наплывающим сном... или наоборот.

Впрочем, в данном случае слишком задерживаться рискованно: Завьялов может осерчать и пустить в мой адрес выражения покрепче. Я запираю мастерскую изнутри, отмываю свои золотые руки средством для мытья посуды и иду к столу. Пельмени, поделенные на двоих со скрупулезной точностью, внушительными горками уже парят в больших суповых тарелках. Это «правильные» пельмени нашего местного производства, они уступают своим московским франтоватым собратьям наружно, зато внутри полны настоящего сочного честного мяса. На коленях у Никитича, конечно же, ждет своей минуты большая пластиковая бутылка пива, «сися», как он ее ласково зовет. При моем появлении Завьялов с хрустом сворачивает «сисе» голову, она шипит, выдыхает спертым солодом, и трапеза наша начинается... Хотя мы с моим приятелем держимся одного согласованного сорта пельменей и одной марки пива, но в процессе еды каждый из нас проявляет индивидуальность. Так Лев Никитич предпочитает выдуть свою кружку залпом, а я прихлебываю; пельмени он употребляет с перцем и уксусом, я же только с майонезом. Притом я не чавкаю, не соплю и не ковыряю в зубах вилкой.

Этот насладительный час мы проводим, отрешившись ото всех мирских забот. Бывает, что неурочный клиент поскребется в запертую дверь мастерской, мы обратим на это не больше внимания, чем на шорох мыши под полом. Души наши исполнены сейчас ненарушимой благости и потому утратили способность к состраданию. Еще минут двадцать мы медитируем в табачных воскурениях, но, увы, выйти в астрал как всегда не успеваем, – время, оно ведь тоже довольно безжалостно к своим клиентам. Грядет два часа пополудни; стуки в мою дверь делаются решительнее, и это значит, что нам с Никитичем не избежать обычной послеобеденной эманации. Между тем солнышко за окном легло на возвратный курс. Очередной день, достигнув своего пика славы, плавно покатился под горку.

С окончанием рабочего дня городские улицы оживляются. Словно какой-то поезд пришел на конечную станцию и разом выпустил на перрон гомонящую публику. От прибывших слегка попахивает потом, они немно-

го расслаблены, но души их жаждут общения, будто бы они и впрямь где-то долго странствовали. Сделав необходимые ежевечерние покупки, горожане и горожанки группами по двое и по несколько судачат на всех углах, а то и прямо посреди тротуаров. Вот у магазина толкуют о чем-то женщины средних лет: жестикулировать им не дают тяжелые кошелки с продуктами, зато мимика их весьма экспрессивна. Вот мужчины, мужья, быть может, этих женщин, беседуют неспешно у пивной палатки. Вот съехались на свой импровизированный фестиваль юные мамочки с колясками – сразу штук пять – и щебечут, и стреляют глазками по сторонам по неизжитой еще девичьей привычке, но стоит какой-нибудь склониться над запищавшим малышом, как качнутся ее по-женски тяжелые груди, полные материнского молока. А вот, мешая проезду, чуть что не поперек улицы припарковались несколько иномарок с затемненными окнами – это стриженной братве вздумалось «забить стрелку». Но лица бандитов против обывновения не мрачны, не насуслены, – стало быть, стриженные сейчас не решают никаких серьезных вопросов, а просто балагурят о том, о сем: возможно, калякают про Цыганка и Мазая-младшего, которых неизвестные «замочили» вчера ночью.

Наступает вечер, часть суток довольно продолжительная в наших северных широтах. Дневное светило, уже утратившее свою ярь, уже замутненное, уже сделавшееся похожим на яичный желток, долго еще будет крениться к горизонту, словно голова упрямого пьяницы, пытающегося превозмочь физический закон тяготения. Нескоро еще солнце сложит свои полномочия, а луна меж тем уже зачем-то маячит на восточном склоне неба, глядит сквозь небесный тюль, как чье-то бледное лицо, засматривающее из ночи в освещенную комнату.

Вечер для человечества – время привычного воссоединения семей, время усталых объятий и нефранцузских поцелуев; вечер – время тапочек. К вечеру наш биологический маятник за висает в своем крайнем положении, и поэтому мы не склонны к бурному проявлению чувств. Надо также принять во внимание, что человеческий век довольно продолжителен, и мы, как все долгоживущие существа, вялы по природе. Да просто большинству из нас не в новинку все эти ежевечерние встречи. Но Карл не человек, ему день, что мне десять, а десять дней – это вечность для любящего сердца. Едва лишь вставив ключ в замок, я уже слышу за дверью его прыжки и стенания. Что сейчас будет? О, это будет нешуточная схватка, и я буду побежден, смят, опрокинут на стул. Умри, гигиена! – лицо мое будет вылизано без пощады, со всей страстью: и в нос, и в губы, и в обе щеки... Да стой же ты, угомонись! Так я никогда не смогу тебя зауздать...

До ужина нам полагается сделать еще один небольшой набег на пустырь за сараями. Пересекая двор, ввечеру многолюдный, я беру Карла покорооче. Он не любит толпу: вид неорганизованной публики будит в нем кровь его полицейских предков. Даже когда он под рябиной справляет нужду, шерсть на Карле стоит дыбом от шеи до хвоста. Он взглядывает на праздных людей в упор, нехорошо, по-звериному, и издает угрожающее горловое клекотание.

– Ну-ну! – урезониваю я его. – Спокойней, дружище. Это ведь свой народ, наши соседи. А если они чересчур шумны на твой вкус, обратись лучше на себя: нет ли и за тобой каких-нибудь грехов?

Тем не менее рандеву со старым холодильником проходит без приключений. Карлов полигон, по счастью, свободен, и мой приятель, забыв обо всем, снова нарезает пустырь так и этак, сбивая пыльцу или просто пыль с растений, засовывая под кочки свой длинный нос и фыркая. Карл кипит нерастроченной силой, движения его полны мощи и спортивной грации. К его телесному совершенству не остается равнодушным даже пожилое вечернее солнце: увлекшись, оно глазурует золотом Карловы шоколадные стати.

Однако эта наша прогулка совсем непродолжительна и носит, так сказать, технический характер. У Карла еще будет возможность поработать ногами, но потом, потом... мы знаем, когда. Сейчас же мы возвращаемся домой, чтобы, наполнив желудки, провести вечер как полагается – в тихой заводи обывательского досуга. Газета обстоятельно перескажет мне вчерашние новости. Косноязыкое, задышливое от торопливости «ти-ви» отрыгнет последнюю, еще теплую порцию полупрожеванной информации. Жена это дело прокомментирует (она у меня женщина мыслящая, не в обиду остальным). Мы обсудим с ней политические события и особенно культурные, если таковые сегодня случились; поговорим и на другие темы. Позже я приготовлю нам чаю; мы станем пить его, кушать фрукты и смотреть кино. Если телевидение не припасло нам на вечер хорошего фильма – не беда: в доме у нас имеется собственная недурная фильмотека.

Баба Шура искрестилась бы, увидя такую непристойную мизансцену. Я полуприлег перед экраном, вытянув ноги на банкетку; жена справа от меня расположилась в подушках. С ней вместе мы занимаем одну половину дивана, вторую же узурпировал Карл. Прежде чем лечь, он еще долго топтался, мял пружины, вздыхал и, только когда получил шлепок по тугому задку, обрушился на диван, простонав томным баритоном. Теперь он дремлет, голова его лежит у меня на животе, и я удивляюсь, отчего она такая тяжелая.

Небо за окнами изощряется в немислимых оттенках – так меняют ряды и понапрасну тратится увядающая красавица. Ни к чему старания: вместо того чтобы любоваться закатными муарами, горожане вперились в телевизоры, в эти опаляющие, быть может, душу, но не греющие современные подобию каминов. И небо, словно простясь с надеждами, облакается в непроглядный траур: от крыши до крыши, от дома до дома – все затягивается крепом. Только уличные фонари остаются истекать неживым бледным светом да огоньки поздних авто пробегают и гаснут во тьме, как последние одинокие искры во прахе уже умершего костра. Так в городок приходит ночь, такой он ее видит своими мутными окнами сквозь слипающиеся шторы.

4

Метеоры то тут, то там словно скальпелем надрезают черную небесную шкуру, но она чудесным образом всякий раз регенерирует и остается цела – только по-прежнему поблескивает родимыми пятнами созвездий. Внизу, в чащобе парка, залегшего у подножия вселенной, царит крошечная тьма, однако мы с Карлом продвигаемся вполне уверенно в лабиринте спящих растений. Взрослые деревья, прислонясь друг к другу, опочили в тех позах, в каких застала их ночь; кусты, нежные плоды любви их, не просыпаясь, тянутся и гладят нас своими ветвями. В воздухе царит безветрие, и поэтому в парке очень тихо. Лишь по временам высоко в древесных кронах принимаются кричать и хлопать крыльями слепые птицы – это они пугаются собственных снов. Свет почти не нужен нам с Карлом, чтобы отыскивать гулкие от корневищ тропинки: ему помогают специальные палочки, содержащиеся в его глазных сетчатках, я же ориентируюсь по светлому пятну, разумно устроенному у моего лидера пониже купированного хвоста.

Таков наш еженощный маршрут: выйти на цыпочках из уснувшего городка, спуститься к речке и, сделав широкую петлю, вернуться самым малым ходом через старый заводской парк. Парк этот, или, если угодно, зеленая санитарная зона, высажен был между городком и химзаводом в качестве естественного фильтра, чтобы абсорбировать избытки заводс-

кого газовыделения, а заодно (после смены) часть трудящихся, отравленных техническим спиртом. Эта трудная роль оказалась по силам жизнестойкому растительному плеску, который со временем разросся, размножился, утратил регулярность и образовал вольную рошу. И, между прочим, получилось недурное место для выгула четвероногих аристократов, чье число тоже прибывает в городке год от года. Каждый вечер в положенное время в парке собирается очень приличное общество хороших кровей и – главное – воспитания. Карл благодаря своему происхождению, несомненно, мог бы украсить любое собачье пати, с танцами и без танцев; но... одно обстоятельство делает абсолютно невозможным его появление в свете. Стыдно в этом признаваться, но мой друг – не комильфо. Он известный всем бретер и притом убежденный демократ, так как никогда не признавал отличия между городским бродяжкой, чья морда, туловище и хвост унаследованы от трех разных неизвестных отцов, и, например, благородным далматинцем, не битым отроду даже газетой, у которого в услужении состоит целое семейство двуногих. Ни фамильные аттестаты, ни кроткий нрав не спасали несчастного, ибо если он мужеска пола, то другой вины иметь ему уже было не надобно. Оружия дуэлянтам выбирать не приходилось, а правила поединка у Карла всегда оставались одни и те же: коли противник пасовал, дело велось до первого визга, коли сопротивлялся – до последнего. Борясь с Карловыми воинственными наклонностями, я обломал об его зад немало крепких прутьев, но в конце концов исчерпал свой педагогический арсенал и отступился. Между тем в обществе против нас зрело законное возмущение, и, когда Карл в очередной раз испортил шкуру какому-то выставочному экземпляру, от него в категорической форме потребовали не появляться в парке без намордника. Тут уже Карл взбунтовался: надевать на голову клетку он отказался даже под страхом усыпления. Попав таким образом меж двух огней, я совершил вынужденный маневр, но не в пространстве, а во времени: я перенес наши прогулки далеко за полночь, на оборотную сторону суток. И – кто бы мог подумать – взамен сомнительных радостей светского общения мы обрели для себя новый, хотя и малоосвещенный, зато просторный мир...

Секретным бесшумным десантом мы с Карлом скользим в ночи, сливаясь с нею; мы – одна из ее тайн. И я, и он сейчас не те, что днем, – мы сторожкие, чуткие. Карл не дает сомкнуться обступающим нас теням, он по временам встрепetyвается и, заклокотав горлом, бросается, гонит кого-то во тьму. Издали доносится его вулканический рык, от которого даже у меня идут по спине мурашки. Через некоторое время подле меня слышится треск кустов. Карл возвращается так же внезапно, как сорвался с места, его глаза-катафоты победно вспыхивают, пасть извергает доменное дыхание. Мой друг-хищник чувствует и понимает ночь лучше меня. Сам же я, чем больше напрягаю свои органы чувств, тем меньше им верю. Мое зрение не в состоянии связать в цельную картину редкие огоньки, мерцающие вразброс, и неясные сгущения предметов – я даже не знаю, какие из них отнести к реальности, а какие к собственному воображению. Слух, главный сейчас мой уполномоченный, посылает в мозг сигналы, требующие долгой дешифровки. Вот то ли рядом, то ли вдали что-то грохнуло и словно рассыпалось; чей-то тяжелый вздох слышится после паузы. Что это? Наверное, завод во сне повернулся с боку на бок и что-то уронил. Вот посреди тишины будто странный кашель раздается на всю округу... Ах, это милиционеры – они крались на своей «Субару» меж спящих пятиэтажек, похожих на серые гробы, и дунули зачем-то в мегафон – быть может, сами чего-нибудь испугались. Звуков мало в ночи, зато все они существенно значимы. Иногда, чаще зимой, со стороны частного сектора слышим мы с Карлом ужасный треск, похожий на хруст ломаемых костей. Это нашел свою жертву ночной убийца – огонь. И тогда взывает где-то пожарная машина и, долго, мучительно стелая мотором, поспешает к месту преступления,

чтобы, добравшись наконец, плеснуть из шланга на оранжевый хвост уползающему насытившемуся гаду... В такие ночи даже Карлу делается не по себе: он держится ко мне поближе и, поставив нос на ветер, то и дело беспокойно принюхивается. И я, человек, тоже с наследственной тревогой чую гарь, смрад мгновенного катастрофического разложения – запах беды.

Однако сегодня ни носов наших, ни ушей ничто не огорчает. Метеоры продолжают беззвучно царапать небо. Птицы изредка заполошно вскрикивают над нашими головами и наугад неудачно бомбят нас экскрементами. Невидимая тропинка сама ложится под ноги. И сами в голову приходят мысли – беспешные, облаченные в добротные словесные одежды. Ночь внушает мне чувство величественного одиночества; надо мной одним раскинулась сквозная сень космоса, и я ощущаю себя тоже космическим явлением. Вот оно, естественное состояние мира! День суетен и короток, как благотворительный пикник, устроенный для поощрения местной белковой жизни, а ночь вечна и беспредельна. Через какие телескопы человечество ни засматривает, оно находит во вселенной одно и то же: ночь и звезды...

И тут внезапно... Крах!.. Небо разрывается с сухим треском лопнувшей ткани... Нет, треск мне только почудился, но в небе действительно открывается страшная рана: сквозь нее хлынул и затопляет нас отвратительный зеленовато-гноистый свет... Что это?! Карл шарахается ко мне и в страхе приседает, подобрав под себя свое куцее правило... Но спустя мгновение свет меркнет, и мы снова погружаемся во тьму. Ничего особенного не случилось: небесный камень пробил атмосферу, достиг земной поверхности и, плюхнувшись где-нибудь в болоте, шипит теперь, остывая. Однако... почему я словно прирос к тропинке? Отчего будто спазм перехватил мое дыхание?.. Ах, вот отчего: секунду назад, обнаженная небесной вспышкой, передо мной стояла... да, передо мной стояла женщина. Она и теперь стоит, невидимая во мраке, – там, шагах в десяти, обочь тропинки, меж древесных стволов... Карл, где ты?.. Вообще-то я не боюсь голых женщин, но – при других обстоятельствах. Сейчас, среди ночи, я бы меньше изумился, встретив мужика с топором. Тем не менее мне удастся превозмочь столбняк, и я подаю в темноту голос:

– Эй, – окликаю я неуверенно. – Слышите меня? Не бойтесь...

Ответа нет. Тогда я подзываю Карла и беру его очень коротко. Мы осторожно продвигаемся вперед по тропинке. Женщина должна быть где-то совсем рядом... точно: голое тело смутно белеет всего в паре метров.

– Пожалуйста, – прошу я ее, – стойте спокойно, он вас не тронет. Мы сейчас пройдем.

Фигура послушно стоит, не шевелясь. Мы бы миновали ее, но... мне кажется необычным поведение Карла: он молчит и проявляет в отношении странной встречной несвойственное ему хладнокровие. В душу мне закрадывается нехорошее подозрение... Я останавливаюсь, чиркаю зажималкой и подношу ее к лицу женщины... Бог мой! Теперь мне становится понятно, почему она не хотела идти на контакт. Женщина мертва! Причина смерти ее очевидна: горло несчастной черно от запекшейся крови. Труп же сохраняет вертикальное положение, потому что кем-то искусно закреплен между древесными сучьями.

В отличие от моего спутника я совсем не равнодушен к мертвецам, тем более развешанным в парке на деревьях. Прочь от ужасного места я пускаюсь со всей возможной впотымах прытью. Деревья бьют меня, ставят под ноги корни; кусты хватают не по-детски цепко... Это уж слишком! Скорее на свет, скорее выбраться хоть на выбритое лоно пустой площадки! Да, холодно льдистое излучение городских фонарей, да, похожи на гробы или комоды безмолвные слепые дома, но я приникаю к ним почти с облег-

чением. Так ребенок бежит среди ночи к матери поведать о приснившемся кошмаре и находит успокоение в самой ее снисходительной безучастности. Карл семенит подле меня и недоуменно заглядывает мне в лицо: что случилось? куда мы так спешим? Домой, дружище; не знаю, как ты, а я на сегодня нагулялся.

5

– Если будешь пихаться – прогоню! – говорю я строго.

Карлу не спится. Он встает в кровати, топчется и снова со стоном наваливает на меня свои полцентнера. Вытянув все четыре ноги, он упирается ими в стену и спиной теснит меня к краю ложа. Ему кажется, что заснуть ему мешает неудобная поза, однако дело не в этом. Просто не сплю я, и Карлу передается моя тревога. Я вижу, как звезды за окном, снявшись с мест, гурьбой бегут вправо, – это в голове моей от выпитого коньяка происходит вращение, противоположное вращению небесной сферы. В темной комнате до сих пор стоит табачный угар, и тот же горьковатый табачный привкус я ощущаю у себя во рту. Прежде чем лечь, я долго сидел в кресле, курил и безуспешно пытался навести порядок в своих мыслях. Но на беду два моих мозговых полушария никак не хотели сотрудничать. В то время как левое, разумное, строило версии по поводу убийства, покуда оно размышляло, стоит ли мне сообщить о найденном трупе в милицию и так далее, правое полушарие вперебив без комментариев транслировало жуткую картинку – в который раз и со все новыми подробностями. То же происходит и теперь. Сон не идет ко мне, зато снова и снова (чуть не сказал – как живая) встает перед глазами убитая; какова беспокойница – наверное, только мертвецы способны на такое упорство... Полуприкрыв глаза, она смотрит перед собой так странно и загадочно – куда до нее Моне Лизе... Нет, я правильно сделал, что не позвонил в милицию. Что случится, если она постоит в парке до утра? Не съедят же ее комары... Мертвая не глядит на меня, но по лицу ее пробегает тень укоризны... нет, это я повел зажигалкой... Тыфу ты, сгинь! Мне никак не удается депортировать настырную бабу из своего сознания – лезет обратно, как таджик-гастарбайтер. Вот уже и компанию привела: две неподкупные физиономии под милицейскими фуражками. Эти буравят меня взглядами. Один, грамотный, достает блокнот – стало быть, собирается учинить мне допрос. «Под деревьями возле трупа, – говорит он, не спуская с меня глаз, – да-да, возле трупа! обнаружены ваши следы. Как вы это объясните? И что вообще вы делали в парке ночью? Отвечайте!» Его обвинительный тон меня коробит. «Что ж, – возражаю я с достоинством, – это наш парк, то есть, наш с Карлом. Мы жители этого городка и имеем право гулять, где хотим, в любое время». «Ага, – шуруется мент. – Значит, вы местные... А какая ваша национальность?» Что за идиотский вопрос он задает! Я возмущен, но стараюсь сдерживаться. «Я – русский, а Карл – собака». «Так! – Мент захлопывает блокнот, победоносно озирается и объявляет: – Вы обвиняетесь в убийстве этой женщины на почве полового диморфизма!» Мысль моя бьется, не в силах опровергнуть нелепое обвинение, я ворочаюсь в постели и поддаю Карлу коленом в бок. Он негодующе мычит, брыкает меня в ответ, и мы оба просыпаемся.

Ночь за окном уже выцветает; из неба потихоньку вытравляется меланин; звезды все почти осыпались с траурной мантии – только одна какая-то дрожит и трепещет, цепляясь из последних сил за небосвод, как осенний последний листок на мертвеющем дереве. Я вздыхаю и слышу неприятную закись табака с алкоголем. Жена утром тоже непременно заметит, что от меня разит, и спросит, почему это я пьянствовал в одиночку. Что я ей отвечу? Мне не хочется пугать ее рассказом о встрече с крими-

нальным трупом, ведь она и так не одобряет наших с Карлом ночных прогулок... Кстати о трупе, как там он... то есть она, моя ночная знакомица? Стоит ли по-прежнему и нагишом встречает рассвет, не чувствуя предугрениго холода и уже не ведая стыда? А может быть, после нас с Карлом ее успел навестить тот роковой – тот, с кем она повстречалась до нас? Пришел, чтобы в последний раз насладиться, испытав прилив жестокого могущества... Если так, то напрасно: она уже не в его власти... Да, мертвые неподвластны живым и оттого исполнены к нам несокрушимого презрения... Кажется, я снова засыпаю, потому что чувствую, как мутнеют, туманятся мои глазные хрусталики. Правда, я вижу еще... я вижу ползающую передо мной худощавую невзрачную особь мужского пола. Гадкая тварь, он о чем-то молит, но... прочь, прочь!.. я отрицаю его и ухожу в небытие с ощущением торжества и печали.

6

Хорошо, если день начинается с чистого листа, как новая глава жизни, как новая повесть или даже песнь. Бывают такие дни: с утра они обрушиваются на тебя, едва родившегося, биллионами солнечных люмен, оглушают грохотом подоконника под голубиными лапами и ревом залежавшегося в комнату дурного спросонок шмеля. Смыты мгновенно ночные сновиденья, а с ними весь вчерашний душевный мусор. Папка совести твоей пуста, папка радости стремительно наполняется. Встать рывком, чтобы потемнело в глазах, чтобы опьянеть на несколько секунд и, придя в себя, снова проснуться – уже «на бис»...

Хорошо, если день начинается хотя бы с красной строки, но худо, когда он вытягивается и сучится, как недосказанная фраза. Ночь распустила вчерашнее вязанье, а утро вновь из старой пряжи плетет серенький будень. Ты же здесь, ты смотришь, разлепив глаза, в окно, где ветер мнет и комкает несвежие облака, а обоз твоих тревог еще ползет в ночи... Память, однако, уже хлопочет: как попало она отгружает тебе в душу твой же собственный прибывающий багаж. Подводки печалей, возы забот – увы, они не отстали, не заблудились в потемках – все приволоклись за тобой, принимай без расписки... Стылая кровь журчит, медленно заполняя вены; первый выдох твой отдает погребом и переходит в кашель. Но собирай же агрегат своего тела: с клацаньем дошли в суставы конечности, нанизывай позвонки хребта, навинти голову... словом, действуй. Впереди у тебя дневной отрезок пути, и, хочешь или нет, ты должен его одолеть.

Я еще не проснулся, но уже не сплю. Старый будильник почти выдохся и судорожно икает в моем изголовье. Раньше сознания душу мне заполняет безотчетная тоска, и я пытаюсь вспомнить ее причину... Но уже мою щеку затрагивает холодный, как с мороза, Карлов нос; я слышу знакомый, тонкий до свиста ультразвучовой призыв. Стоит мне открыть глаза, и Карл переходит в наступление: оглушительно лижет меня в ухо и довольно жестко тычет в бок передней ногой. Встаю... да встаю же я!

В чередe утренних дел мы с женой не успеваем перемолвиться и парой слов. Лишь уже за кофе она обращает на меня внезапно посерьезневший внимательный взгляд.

– У тебя в комнате, – говорит жена, – очень накурено с ночи.

Я пожимаю плечами.

– И еще ты выпил весь коньяк.

– Да, – признаюся ей, делая вид, что смущен. – Мне что-то не спалось.

Супруга глядит на меня испытующе.

– Говоришь, не спалось?

– Да.

Наступает пауза. Жена, опустив глаза, о чем-то размышляет. Потом берет у меня сигарету, прикуривает и, пустив решительную струю дыма, объявляет:

– Я знаю, отчего тебе не спалось.

– Отчего же? – спрашиваю я с усмешкой. – Только не говори, что...

– Нет, – перебивает она. – Тебе не спалось потому... потому, что мы скучно живем.

– Вот как?

– Да. Я сама устала от такой жизни. Скажи, когда мы с тобой выбирались в театр? Когда... ну просто общались с приличными людьми? У тебя работа, у меня работа... И каждый вечер телевизор, чтобы он сгорел... Вот ты и маешься, и ходишь звезды считать по ночам... вот тебе и не спится. Мне кажется, нам обоим не хватает впечатлений.

Понятно. Сейчас она предложит поехать за границу...

– Давай хотя бы съездим куда-нибудь! – предлагает жена. – Не в Турцию, конечно...

Я обещаю ей подумать, мы оба какое-то время молчим, а тут и завтрак наш подходит к концу. Я мою кофейные чашки и Карлову лохань из-под каши. В последующие минуты, как всегда по будням, наша теплая семейная федерация переживает неизбежный распад. Жена утверждает свой суверенитет при помощи макияжа; она подает себя в переднюю неузнаваемая с лица, постройневшая и косвенно, через посредство зеркала, проверяет на мне выходную полуулыбку, лучащуюся офисным сдержанным шармом. Карл, загрузивши трюмы, осоловел и чистым азиатом отвалился на диване. Он равнодушно наблюдает за нашими сборами. От полусонного созерцания его отвлекают лишь толчки в собственном животе: тогда он приподнимает голову и, приплюсываясь, укоризненно смотрит на свой хвост.

Что ж, я тоже отдаю концы, чтобы уйти хотя и в недалекое, но автономное плавание. Пусть в виду берега, а все же целый день мне предстоит грести в одиночку.

– Пока... – Дядя Коля со своего балкона благословляет меня напутственным кивком.

У третьего подъезда бормочет по-стариковски калининский «Мерседес»; согреваясь, он знобко передергивается и постукивает клапанами мотора. Он не тронется, пока дым его выхлопа не поменяет черный цвет на синий. Калинин в ожидании похаживает кругом своего авто, колупает ногтем отставшую краску и щепкой соскребает со стекол налипших засохших насекомых.

– Привет!

– А, здорово, сосед!

Во рту у Калинина две «фиксы»: наверху золотая, а внизу из нержавеющей стали. И предприниматель, и мужичок он, в сущности, ледащий, однако – хорохорится и потому в рукопожатие всегда вкладывает чересчур много силы.

– Хочешь, подвезу? – предлагает он. – Я в твою сторону.

– Спасибо, я пройдуся.

Он подвез бы, даже если б нам было не по пути, но я действительно хочу пройти пешком. Я надеюсь, что энергичный марш на свежем воздухе меня повытрясет, поразвеет в душе с ночи настоявшуюся скорбь.

– Как хошь...

На прощанье Калинин стреляет у меня сигарету. Уже отойдя, я оборачиваюсь и окидываю его взглядом. Малорослый, худой... Не он ли приснился мне нынче после коньяка?.. Но вон еще идет подобный тип, а за ним – еще и пускает, как «Мерседес», синий дым на ходу... Эдак всякого прохожего мужичка можно брать на подозрение – все спешат, будто по делам, а сами, я замечаю, прицениваются к каждой встречной нестарой женщине. К попутным же дамочкам они и вовсе, замедлив нарочно шаг, пристраиваются

в кильватер... Правду сказать, среди наших горожанок попадаются симпатичные, и, поскольку они в большинстве своем полноваты, вид сзади у многих действительно впечатляет. Да оно бы ничего, но почему-то мужички мои глядят хотя и жадно, но так неласково на природную колебательную игру женских форм. Никакого умиления, никакой сальности в их лицах – скорее что-то хищное... Я понимаю, что слишком впечатлен ночным происшествием, что надо стряхнуть с себя наваждение. Черт бы побрал все эти глупости! Ленин, застрявший в пьедестале, сегодня что-то хмурится, – наверное, видел, как мы с Карлом бежали ночью через площадь... Нет, не получается у меня развеяться; скорее бы уже попасть в мастерскую.

7

Лев Никитич появляется в одиннадцатом часу – как всегда с саквояжем и газетами под мышкой. Застав меня на кухне пьющим пиво, он удивленно вскидывает лохматые брови:

– Что это ты с утра пораньше? На тебя не похоже.

– Так... – Я делаю неопределенный жест. – Хочешь, и ты давай.

Но Завьялов, как все старики, консервативен и привержен распорядку.

– Пиво – к обеду. А с утра я лучше свое приму – для головы полезней.

Никитич снимает с гвоздя ковш, в котором варит чифирь, и достает с полки непочатый цыбик «Цейлонского».

– А ты что же, – спрашивает он меня, – никак гулял вчера?

– Гулял... – Я усмехаюсь.

– Ясно.

Завьялов сдвигает мой стакан на край стола, освобождая место для газет. Сверху, как всегда, ложатся «Ведомости». Никитич выписывает нашу «болтушку» за то, что она публикует самые легкие в мире кроссворды; я даже думаю – не он ли их туда и посылает. Пока мой приятель занят своим варевом, я поворачиваю газетенку к себе. «Обуздать преступность!» – Половина четвертой полосы посвящена криминальным новостям. Нет, я не чаю здесь вычитать об убийстве в парке – слишком свежо, да и не любят «Ведомости» страшать население. Большая заметка сегодня – о лицах БОМЖ, перевертывающих по ночам мусорные баки. Лишь внизу, мелким шрифтом, сообщение о том, что такого-то числа по выходе из бильярдной были застрелены, предположительно из пистолета, двое мужчин, двадцати шести и тридцати одного года отроду. Так безлично, будто это не Цыганка с Мазаем «завалили», а каких-нибудь кенгуру в Австралии. Ну да «Ведомости» – СМИ не для любопытных.

Кухня наполняется терпким благоуханием. Лев Никитич отцеживает в чашку свое питье, густое и черное, как «отработка» из автомобильного картера, и садится за стол. Из бесформенной пачки, украшенной мутным рисунком, он выщелкивает папиросу, дует в нее и прихотливо сминает мундштук. Зажигалками Никитич не пользуется, а прикуривает от толстых кривоватых белорусских спичек, вонючих уже самих по себе. Что же до «Беломора», то мне кажется, что с распадом СССР дым его стал только ядовитее. Завьялов вооружает свое зрение плюсовыми очками, достает из нагрудного кармана карандаш; брови его тучками наползают на переносицу... Минута – и он уйдет от меня блуждать по словесному бездорожью, скроется в энциклопедических просторах... Ушел бы, но я успеваю задержать его на пороге:

– Никитич...

– М-м?

– Подожди со своим кроссвордом.

– Ну чего тебе? – бурчит он, не поднимая глаз от газеты.

– Хочу кое-что рассказать, тебе занято будет.

– Ну?

Я отхлебываю пиво.

– Вчера... то есть этой ночью в нашем парке... ты слушаешь?... в нашем парке я нашел труп.

– Труп? – Завьялов снимает очки и смотрит на меня с интересом. – Какой труп?

– В том-то и дело, что труп непростой, – говорю я с невольным пафосом. – Не простой, а криминальный. Женщина, притом голая, и горло то ли перерезано, то ли что...

– Это бывает, – серьезно замечает Никитич. – Снасилъничал кто-то, да и того... пришел, чтоб не трепалась.

– Да, бывает... – Я опять прикладываюсь к стакану. – Но он ее зачем-то на дерево подвесил – представляешь? – как будто она на своих ногах стоит!

Переводя свои впечатления в словесный формат, я словно подвергаю их разморозке и оттого начинаю волноваться. Завьялов слушает, качая головой, и, когда я умолкаю, с минуту еще раздумчиво хмурится.

– М-да... – молвит он наконец. – В наше время такого не было... Ну ты снасилъничай, ну зарежь... Но на кой же к дереву подвешивать? Этого я не понимаю!

– Что тут понимать, Никитич? – возражаю я. – Ты телевизор смотришь? Это значит, что у нас завелся маньяк, извращенец.

– Стало быть, так, – соглашается Завьялов.

– Ну а мне-то что делать, Никитич? Вот вопрос.

Он смотрит недоуменно:

– Ты-то здесь при чем? Ты, поди, не баба – тебя он не тронет.

– Я не баба, но он в парке орудует, где мы с Карлом гуляем. Вдруг пересечемся? Теперь ни нам, ни ему покоя не будет.

– В парке... – Никитич чешет темя. – А ты ступай в другое место – тебе не все одно?

– Я уже думал об этом. Но ведь это наш парк... Ты пойми: получится, будто я его испугался, убудка этого.

– Ну, брат, не знаю... – Завьялов пожимает плечами. – Хочешь, ствол тебе дам на всякий случай?

Я не отвечаю. Лев Никитич со своей стороны больше не имеет, что мне предложить, и разговор наш завершается обоюдным продолжительным молчанием.

Но вот Завьялов произносит: «Пу-пу-пу...» – и возвращает на нос свои очки. Это значит, что мысль его более мне не принадлежит. Делать нечего, я допиваю пиво и иду работать. Хотя и с опозданием, я встаю на свои привычные рельсы – других у меня просто нет. Работа – перегон; клиент – полустанок. Дежурный колокольчик над дверью оповещает о прибытии и отправлении. Входят и выходят мои пассажиры, всяк со своей маленькой бедой, всяк со своей повестью – иногда застенчиво-краткой, иногда весьма пространной и даже со вставными главами. Вот сейчас только я познакомился с Варварой Петровной, приняв у нее в починку старый чайник. Человечество в лице Юрия Гагарина вышло в открытый космос, и в том же году мособлсовнархоз выпустил на земную потребу этот скромный кухонный сосуд. И тогда же его приобрел Василь Трофимыч (покойный муж Варвары Петровны) – приобрел в магазине гортопа за рупь двадцать новыми деньгами. Много воды перекипело в старом чайнике; ушли в предания гортопы и совнархозы; упал и разбился где-то в лесу Гагарин; потрудившись и выпив положенное, помер Василь Трофимыч; уже сама Варвара Петровна пошатнулась и «стала забывать», по собственному ее выражению. Год от года мир трещал и разваливался, и лишь этот чайник казался несокрушимым среди руин. Он сделался для Петровны не только источником кипятка, но другом и единственным собеседником. По нему сверяла она остаток сил своих: «Пока могу его поднять да сварить себе чаю, – сказала она мне, – я жива». И вот – такая драма... Детище семилетки обез-

носело, как майор Ковалев, и глядит печальным сифилитиком... Теперь я держу в руках две жизни – чайника и его престарелой подруги, и ощущение собственного могущества делает меня великодушным. Не тужите, Варвара Петровна, вы еще попьете чаю на своем веку. И не надо, прошу вас, рыться в кошелечке, дело-то пустяжное, ей-богу.

Не успевает старушка, слезящаяся от благодарности, покинуть мастерскую, как опять звенит колокольчик. Подняв глаза, я вижу перед собой девицу, достаточно миловидную, чтобы не стесняться мужским присутствием. Отчего же она смущена? Что такое достает она из сумочки, застенчиво улыбаясь? Ну конечно, эпилятор. Украдкой я взглядываю на ее конечности... так и есть. В городке у нас действует закон, по которому длина девичьих ног должна соотноситься с длиной подолов в обратной пропорции, – это при том, что ноги у нынешних растут со скоростью пять сантиметров в год. Бедным юницам приходится нелегко: в лучшем случае они вынуждены водиться со злодеями-эпиляторами, а в худшем... Ну да не печалься, красавица! Вылечу я твоего приятеля, электрического садиста, будут твои ножки снова гладкими, как фарфоровые!.. Только пусть они не занесут тебя совсем уж куда не следует...

За окнами мастерской все тот же пейзаж: липы, угол парикмахерской напротив. Но это – иллюзия, – я уже восемь часов в пути. Близок конец маршрута, и можно потихоньку подводить итоги трудового дня. А каковы они, эти итоги? День как день... Переложу заработанные денежки из кармана в кошелек да и двинусь восвояси. Уверен, что и вечер мало чем будет отличаться от вчерашнего.

8

Половина первого ночи. Я оказался не прав насчет сегодняшнего вечера. Я просто не предполагал, что кто-то из соседей устроит в нашем доме такую грандиозную пьянку. Даже не представляю, что могло послужить поводом для столь масштабного торжества. Карл отворил носом оконную фрамугу и, опершись передними ногами на подоконник, уже час тарашится во двор, откуда доносятся вперемешку попевки, матерная ругань и пронзительный женский смех. Его шерсть вдоль хребта, как наэлектризованная, топорщится гребнем; хвост-джойстик напряжен и подрагивает в крайнем верхнем положении. Не открывая рта, Карл рычит мрачно и монотонно, прерываясь только, чтобы взять дыхание. В этой своей позе он похож на незадачливого трибуна, у которого возбужденная публика вышла из-под контроля. Иногда он, не выдержав, яростно рывкает во двор... и тут же оглядывается на меня. Правильно оглядывается: за этот митинг ему недолго и схлопотать.

Сам я, признаться, тоже бываю не в восторге от соборного пьянства и коллективных гулянок под моими окнами. Впрочем, эти дворовые сатурналии случаются теперь все реже: они уходят в прошлое по мере наступления цивилизации, и когда-нибудь мы привыкнем наконец сидеть по вечерам, нишкнув в своих квартирах, как добрые европейцы... Да, я никогда не приветствовал подобных карнавалов и не участвовал в них, но сейчас я с неожиданно теплым чувством прислушиваюсь к шумам и людским воплям, оглашающим заоконный мрак. Самим своим неблагозвучием они развенчивают ночь, лишают ее пугающего траурного пафоса...

– Хорошо бы бросить туда гранату, – мечтательно произносит жена. И, построжев внезапно, Карлу: – А ты поди от окна!.. Кому я сказала?

Не надо гранату... Пусть себе веселятся, пусть скандалят. Сегодня я хочу, чтобы в ночи звучало живое...

Но Карл ошибочно полагает, что мы вышли во двор, чтобы навести порядок. Первое, что он делает, – раздражается громовым лаем. Испуган-

ное эхо вторит ему, и вторят нетрезвые преувеличенные взвизги женщин. Нет, нет, я держу его крепко... и нет, братцы, выпью я с вами как-нибудь в другой раз... привет, привет... Я увожу Карла поскорей со двора. Уже из темноты, оглядываясь на ходу, мы видим, как дом наш отплывает, уменьшается, покачиваясь, словно иллюминированное судно. Все слабее и гулче делаются людские зыки, а потом и вовсе растворяются в океане тишины.

Нет, ночь непобедима. Люби ее величество или... или принужден будешь полжизни проводить в домашнем заточении. Что из того, что ночные подданные таинственны и опасны, стань и ты таким же. Бери пример с Карла: сейчас – тот ли он неуклюжий балбес, не умеющий держать себя в обществе и сшибающий ушами кофейные чашки? Нет. Ночь преобразила его: то рядом со мной, то, спустя миг, уже поодаль он скользит, он струится, и луна не успевает прикладывать к нему свои прозрачные лекала. Сорок два сверкающих кинжала в пасти, пятьдесят кило неутомимых мышц и волчий холодный огонь в глазах – вот он каков, Карл ночью.

Мы минуем последнее, крайнее к речке жильё и спускаемся в ее пойму. Я не вижу воды за темными зарослями кустов, я вообще почти ничего не вижу. Но я слышу тихое причмокивание и ощущаю тинистое речное дыхание совсем рядом. Пожалуй, я еще не вполне освоился в потемках: я вздрагиваю и замираю, когда в паре метров от меня снимается с шумом и криками утка и уносится, невидимая, свистя крыльями. Карл влзаивает ей вслед, но лишь для проформы: утка – мелочь. Днем его может напугать хлопнувшая от сквозняка форточка, но сейчас Карл хладнокровен и бесстрашен. Не нам полагается бояться ночных обитателей, а им нас... Постепенно мне передается Карлова заряженная уверенность: я чувствую, что мы с ним делаемся партнерами; мы – стая, мы – два хищника на охотничьей тропе. Мои собственные мускулы, забыв дневной износ, наливаются первобытной упругой силой. Мне хочется рычать и носиться во мраке, пугая все живое... Да простит мне Карл мои дилетантские фантазии – мне хочется, настигнув жертву, впиться в нее зубами и замереть в упоении, чувствуя, как жизнь покидает трепещущую плоть. Когда же все будет кончено, я подниму свою морду к звездам и торжествующе завою. С клыков моих будет капать кровь, а глаза сделаются, как две луны...

Прочь отброшены дневные опасения. Хотя я не забыл, что в ночи этой может скрываться мой враг, мой соперник за место под луной, но сейчас я, пожалуй, готов с ним сразиться. У меня все преимущества перед ним: он мал и тщедушен, а я силен и спортивен; он одинок и слеп в ночи, а я вооружен зрением, слухом и челюстями Карла. Зачем мне завьяловский «ствол»? «Ствол» – это было бы уже чересчур.

Я слышу впереди громкое хлопанье: это пьет мой напарник. Карл всегда пьет из речки в одном и том же месте. Если он пьет, значит тропинка наша сейчас повернет и вверх по склону выведет нас из речной поймы. Так и есть; подъем доставляет приятную работу мышцам, а равнинная плоскость, на которую мы выбрались, дает хоть какое-то занятие моим глазам. Слева от нас мерцают уже на порядочном расстоянии нечестные городские огоньки, а справа завод подсвечивает небо и посапывает, выпуская зловонный пар бесчисленными своими ноздрями. Но наш с Карлом путь лежит не в городок и не к заводу, а между ними: туда, где плотно сбившись, большой молчаливой отарой стоят деревья. В лунном обманчивом свете кажется, что кроны их клубятся, но на самом деле деревья недвижимы, и только отдельные листочки шевелятся едва заметно. Карл ничтоже сумняшеся ныряет под полог ветвей и уже оттуда, из темноты, посверкивает на меня глазами: «Что же ты медлишь?» Однако я колеблюсь лишь несколько секунд и следую за ним.

Парк обхватывает меня тишиной – особенной лесной тишиной, какой не бывает на открытом пространстве. Хруст ветки под ногой, шепот лис-

твев только усиливают ее. Если нервы твои напряжены, если в крови избыток адреналина, лесная тишина не вызывает доверия. Словно чувствуешь кого-то рядом с собой – затаившего дыхание, готовящегося, быть может, к нападению... Я иду, правильнее сказать – крадусь собственной найденной тропой, как по незнакомому месту. Карл, мой дозорный, шныряет меж деревьев. Он выглядит спокойным и уверенным, но я знаю, что он не реагирует на трупы... Вот что это за тень?.. нет, что за свет вдруг отбросил странную тень?.. почему желтый?.. Тропинка огибает ширму кустов, и я вижу источник неожиданного света. Оказывается, это фонарь. Ну да, в парке зажгли зачем-то фонарь, который погас бог знает сколько лет назад.

Мой приятель щурится на желтую лампу под допотопным жестяным козырьком. Ему и в голову не приходило, что этот похилившийся столб, издавна используемый собачьим населением в качестве почтамта, может еще и светиться. Что ты знаешь, Карл?.. Даже я, твой бессмертный повелитель, был когда-то юн – слишком юн, чтобы войти в этот круг света. Мы, малолетки, жались по краешку, у кустов, и курили одну папироску на всех. Здесь же, под фонарем, питаюсь от него электричеством, гремела радиола... Видишь, Карл, эти проросшие бурьяном остатки асфальта? Как били этот асфальт ноги, обутые в подкованные кирзачи! Увы, многие из тех ног сложены теперь параллельно... А какие вздохи слышались из-за укромных кущиц, куда нам заказано было подсматривать... Врать не стану, то были отнюдь не идиллические времена: пролитие крови случилось и тогда, но – из разбитых носов, а не из разорванных вый. И отношения между полами не обходились без драм, однако приводили тем не менее к естественному зачатию, а не к повешенью на деревьях обезображенных трупов...

И все-таки мне хотелось бы знать, кому и зачем понадобилось нынче ночью затеплить этот фонарь воспоминаний? Может быть, власти решили с его помощью отпугнуть нечисть, что завелась в нашем парке? Но это смешно: фонарь освещает едва свое подножие. Уж лучше было бы пригласить священника... В недоумении мы продолжаем свой путь. Впрочем, скоро все мои мысли и чувства начинают вытесняться одним ощущением – какого-то мистического трепета... нет, скажем честно – обыкновенного страха. Как же – мы приближаемся к тому месту, где, по моим расчетам, висела вчера убитая. Где это было?.. Не здесь ли?.. Шаг мой ускоряется сам собой, и даже Карл, которому долг велит регистрироваться в положенных пунктах, вынужден меня догонять.

Но вот передо мной рвется лиственная завеса. В прорехах ее снова показывается свет, однако это уже нормальный дежурный свет городка. С облегчением, но и с каким-то тайным разочарованием выхожу я пред немигающие очи улицы. Фонари, как анемичные переростки, равнодушно взирают сверху, нагнув шеи. В морозно-сизых лучах их вяло танцует, не опалия крылышек, мошкара... Площадь пустынна, как всегда в это время, – только мы с Карлом идем и стоит Ленин. Что вам ответить, Владимир Ильич, на ваш немой вопрос? Докладываю: были мы в парке, и хотя никого в нем не встретили, но заочно удержали его за собой. Карл позаботился, чтобы где надо отметить. Так что пока все в порядке... спокойной ночи...

А назавтра ко мне в мастерскую приходит с своим чайником Варвара Петровна. Она уже не помнит, что я не взял с нее вчера денег, и потому проверяет мою работу весьма придирчиво: крутит чайник в руках, тянет его за нос и даже зачем-то стучит по нему костяшками пальцев.

– Не потечет? – спрашивает она с сомнением.

– Ни в коем случае, – отвечаю я. – Если только опять его на огне не забудете.

– Да, – сокрушается старушка, – память плоха стала. И очки забываю, и тапочки... А нельзя ему свисток приделать?

– Нет, Варвара Петровна, свисток нельзя.

– Что ж так – нельзя? Нету свистка у тебя?

– И свистка нет, и приделать нельзя.

– Жалко... – Она заглядывает чайнику вовнутрь, потом снизу изучает его закоптелое дно. – А он не потечет?

– Нет, ручаюсь вам. Хотите, воды в него нальем?

– А и давай! – соглашается старушка. – Вода-то у тебя есть?

Мы идем с ней на кухню, где в это время Лев Никитич корпит над очередным кроссвордом.

– Давай, милоч... давай спытаем... – приговаривает Варвара Петровна за моей спиной. – Ой! Кто это тут?

Она видит мужчину за бумагами и принимает его за начальство.

– Мы только водички набрать, – сообщает она Завьялову извиняющимся голосом.

Он поднимает голову и смотрит на нас поверх очков.

– Здорово, Петровна.

Старушка в свою очередь вглядывается и узнает Никитича:

– Эй... ты, Лёвка, что ли? А говорили, ты в жэке работаешь... А я вот тут с чайником...

Завьялов неопределенно мычит и отвечает вопросом:

– Ты это... сама-то как?

Забыв про чайник, она подсаживается к столу.

– Да как – как... Трофимыча схоронила, дочка за офицером гдей-то в Мурманске... Доживаю, одно слово.

Голова ее начинает мелко покачиваться, и, чтобы отогнать кручину, Варвара Петровна меняет тему:

– А ты, я смотрю, в начальство вышел... Знать, отошел от старых-то дел? То-то, поди, несладко было по тюрьмам скитаться...

Завьялов усмехается:

– У меня, мать, уж внучка растет.

– Скажи... – Ее лицо проясняется. – А у меня, милый, тоже внук имеется. Не помню – в том месяце али в позатом в отпуск приезжали... И такой молодец: восемь лет всего, а уже сам курам головы рубит.

Я ставлю перед Варварой Петровной наполненный чайник и ухожу работать. Старики беседуют еще долго...

И еще один день проходит – местного календарного значения. Ни бумажные «Ведомости», ни изустные не проливают света на убийство в парке и никак не подтверждают даже факт его. Без информационной поддержки это событие съезжает и в моем собственном рейтинге. Зато мне известна уже причина вчерашнего веселья в нашем дворе: оказывается, калининский сосед Ворносков выиграл пятьсот тысяч в какое-то телевизионное лото. Удивительную новость нам с Завьяловым сообщил сам Калинин. В растрепанных чувствах, с подбитым глазом предприниматель явился ко мне в учреждение, надеясь культурно опохмелиться, однако был вежливо выставлен. А вечером, встретив бабу Шуру, я узнаю от нее огорчительную подробность. По ее, бабы Шурины, недогляду, шальные гуляки «поднесли» вчера дяде Коле: угостили его водкой прямо через балконные перила. Бедняга всю ночь «чудил», а наутро у него сделалось расстройство желудка, продолжающееся по сию пору.

– Взяло кота поперек живота! – сердает баба Шура.

Я, впрочем, думаю, что раздражает ее не столько дяди Колин понос, сколько Ворноскова Верка, дающая без устали интервью перед своим подъездом в кружке возбужденных товаров. На Верке вечернее тугое платье с блестками, ниже подола которого светятся ее бутылочные икры, нагие и неэпилированные. О чем говорит сейчас избранница судьбы, я не слышу, но мина на большом комковатом лице ее серьезная и наставительная. Мы с бабой Шурой понимающе переглядываемся.

– Ишь, как раздулась! – Она сатирически усмехается. – Гляди, сейчас треснет!

– Не говорите... – поддакиваю я.

– В лотарею, вишь, выиграли... – Баба Шура строжеет. – Не божеские это деньги.

– Нет, не божеские, – соглашаюсь я.

– Слышь, а сколько оно будет в этих... в долларах?

Прикинув примерно в уме, я перевожу для нее ворносковские полмиллиона в у.е.

– Всего-то?.. – Бабы Шурино лицо слегка разглаживается. – Ну это они пропьют за год, вот увидишь.

– Может быть, может быть...

Я оставляю немного утешенную бабу Шуру, захожу в подъезд и поднимаюсь по лестнице. Приостановившись у почтового ящика, машинально его опорожняю... Шлеп... из газетных складок выпадает почтовый конверт. Он без адреса и не заклеен – в таких конвертах приходят обычно телефонные счета и всякие казенные извещения. Я поднимаю конверт с пола и, не заглянув внутрь, равнодушно присовокупляю к «Известиям». Иду дальше... Вот и дверь в родное жилище, обезображенная внизу следами когтей.

С трудом, как всегда, отбившись от Карловых бурных приветствий, я не сразу улавливаю его петлей парфорса. Увы, вместо того чтобы дать уже роздых усталым своим членам, я вынужден снова проделать путь по лестницам – теперь в обратном направлении. Словно отматываю назад кино: мелькают под ногами ступени, мы с Карлом скатываемся вниз, выбегаем во двор, и я опять вижу бабу Шуру и Ворноскову с подругами... Но бог с ними – мы спешим к рябине и далее, заведенным порядком, на пустырь за сараями.

После прогулки, вернувшись домой уже во второй раз, я застаю жену в передней.

– Здравствуй, милая!

– Здравствуй...

По голосу ее – слегка придушенному – я мгновенно догадываюсь, что случилось что-то неладное. В руках у нее я замечаю конверт, который вытащил из почтового ящика.

– Что это?! – Жена не дает конверт мне в руки, а швыряет на тумбочку.

– Откуда мне знать? – Я пожимаю плечами. – Я не смотрел.

– Ах, не смотре-ел?.. – Женино лицо кривится в сардонической гримасе. И вдруг она взрывается: – Перестань валять дурака!

Я отпускаю Карла, беру конверт, раскрываю...

– Пожалуйста, не кричи перед дверью, сколько раз я тебя про...

И тут речь моя пресекается. В руке у меня – квадратный полароидный снимок, на котором... о, черт!.. на котором изображена та самая убитая женщина в парке! Все так, как я увидел при вспышке метеорита: деревья и бледная фигура, стоящая между ними... На маленьком фото почти не заметны такие подробности, как шрам на шее и потеки крови, но что женщина как есть голая – это видно прекрасно. Похоже, что она просто позирует, хотя и не слишком артистично... Я несколько секунд оцепенело вглядываюсь в снимок, и когда первая мысль наконец проникает в мою голову, то это мысль о жене: надо же ей как-то объяснить.

– Послушай... – Я поднимаю на нее глаза. – Я не знаю, откуда это...

Но жена, хотя сама только что задала вопрос, уже не склонна меня выслушивать.

– Замолчи! – Голос ее делается почти певучим от презрения. – Лучше надо прятать свои гнусные секреты!

И она, хлопнув дверью, скрывается в комнате.

Карл вопросительно смотрит на меня, я смотрю на Карла. Он чувствует, что я расстроен, но вряд ли понимает, до какой степени. Да, признаюсь, я подвержен страху неизвестности, а сейчас я внезапно и очень остро ощутил угрозу, исходящую неведомо откуда. Даже если не задаваться вопросом, зачем мне прислана эта жуткая «открытка», очевидно главное: история с ночным убийством далеко еще не закончена. И я в ней с этой минуты не просто свидетель, а теперь уже участник.

Больше во весь вечер мы с женой не разговариваем. Да и что я могу ей сказать, когда сам для себя не в состоянии истолковать произошедшее. Собраться с мыслями мне мешают приступы острого беспокойства: время от времени в груди словно лопается какой-то сосуд – внутрь меня изливается свежая горячая порция тревоги и растекается, густея в теле, связывая разум. Что за игру затеял со мной убийца-сумасшедший? Что за знак он мне подаст?.. Только вопросы, и все без ответа...

Небо между тем постепенно гаснет. В западном окне запекся закат, как рана, осушаемая тампонами облаков. Я знаю: ночь уже здесь; она сейчас за спиной, за домом; ее можно увидеть из кухни, если отогнуть занавеску. Но скоро, скоро ночь найдет мое окно и заглянет сюда, недобро-лукавая, и пригласит меня на прогулку...

Я смотрю на Карла, Карл смотрит на меня. Идти нам сегодня в рощу или нет – для него этот вопрос даже не стоит. Для Карла наличие в этом мире врагов – тайных и явных – вещь естественная, и, уж конечно, не повод, чтобы менять свой распорядок жизни.

11

Итак, мы выступаем. Чту бы теперь ни думала жена о моих ночных походах, каких бы сюрпризов не приготовил нынче затейник маньяк, – мы выступаем. В этой игре, в которую я вовлечен против собственной воли, я делаю свой ход и свой выбор. Лучше действовать, пусть наугад, чем томиться в неизвестности. Для пущей уверенности я прячу под курткой за поясом оружие – кухонный секарь (сейчас бы и завьяловский «ствол» не помешал).

Мы с Карлом выходим из дому и, не успев приглядеться к темноте, попадаем словно на бал без свечей. Не зря весь вечер на западе хлопотали облака: теперь они набежали, заполнили все небо и теснятся, и, волнуясь, вздувают свои кринолины. Деревья то здесь, то там пускаются в пляс с ветром, налетающим изрядными, но прихотливыми порывами. Тысячеустым гомоном листья, то рассыпчатым, то согласным, холостыми вскриками подъездных дверей, хлопки неснятого белья, жестяным откуда-то громыханием – вот какой музыкой встречает нас эта ночь. Тем лучше! Пусть сами стихии аккомпанируют моей войне.

Подернутый мутью, лунный слепой глаз показывается, почти не отражаясь в речке, и сейчас же испуганно закатывается под облачную бровь. Природа взбудоражена, беспокойна, но... мне кажется, что Карл весь этот переполох принимает на свой счет. Он еще поддает суматохи: носится наперегонки с ветром, нападает на шевелящиеся кусты, откусывая у них ветки, и даже атакует в воде утку, которая почему-то не взлетает, а удирает от него вплавь с истерическим криканьем.

Несмотря ни на что маршрута своего мы и сегодня придерживаемся без изменений. Поднявшись наверх из речной поймы, мы оба принимаем-

ся чихать: ветер с завода угощает нас крепким зарядом химической, очень сложной на вкус вони. Однако мы продолжаем свой путь, и вскоре уже парк вырисовывается впереди грядой волнующихся крон. Деревья при нашем приближении взмахивают вздетыми ветвями, но непонятно, что в этих жестах – приветствие или предостережение. Я не слышу своего сердца за общим шумом, но чувствую его участвовавший ход... Нет, об отступлении не может быть речи, и я команду сам себе: лечь на боевой курс.

Роща внутри вся наполнена аплодисментами, как большой концертный зал. Балконы и галереи штормят: вспенивается, рукоплещет листва; птицы срываются с веток, галдят и без конца пересаживаются; деревья нервно хрустят сучьями и содрогаются под ударами ветра... Но все это там – наверху. Здесь же, в партере, где пробираемся мы с Карлом, слышен только шум, но движения никакого не происходит, кроме нашего. Попав в этот неожиданный штиль, мой товарищ как-то сразу сбавляет прыть и успокаивается. Время приступить ему к привычной обязанности: произвести ревизию окрестных собачьих почтовых ящиков. Эх, мне бы его заботы! Но как быть беспечным, если знаешь – знаешь уже наверняка – что настоящий, непридуманный враг таится где-то поблизости? Только Карлово молчание, его невозмутимая деловитая побегка неподалеку, внушают мне некоторую уверенность. Тем не менее я готов к любому повороту событий, поминутно озираюсь на ходу и ошупываю свой «томагавк» под курткой.

Однако мы углубились в парк уже порядочно – и без происшествий. По-прежнему сосредоточенно рыщет Карл, и все так же деревья – одни они – переминаются и покряхтывают вокруг меня в темноте. Я начинаю думать: не слишком ли я увлекся, изображая из себя индейца? Не стоит ли мне приунять свое воображение и слегка расслабиться? Я уже приостанавливаюсь с намерением закурить, как вдруг... Яростный Карлов лай раздается слева от меня из-за кустов!

Неужели мы встретились?.. Сердце, сжавшись на мгновение, дает форсаж. Секарь выхвачен из-за пояса. Зачем-то пригнувшись, я крадусь в обход кустов... Плохо видно, но... ага, вот он! Человек сидит, прислонившись к дереву, что-то бормочет и грозит Карлу кулаком.

– Эй!.. А ну!.. Ты кто такой?.. – Я подхожу к нему весьма решительно.

Карл в бешенстве – он вот-вот бросится на сидящего. У меня в руке грозно блестит секарь... Но, похоже, наш приступ мало производит впечатления. Мужичок, с трудом ворочая языком, длинно и неискусно обкладывает нас матерными ругательствами, после чего валится в траву. Тьфу, чтоб тебе! Я осаживаю Карла и сдаю несчастному пьянчуге его же монетой: нашел, понимаешь, место и время, чтобы слиться с природой...

Я все-таки закуриваю, и мы продолжаем свой путь. Нервы потихоньку отпускает. Вот показывается знакомый фонарь: он светит, хотя и мотает головой, словно его кусает мошкара. Все нормально, говорю я себе, все нормально – с поправкой на ветер. Отчего-то во мне зреет уверенность, что противник мой сегодня уже не объявится. Даже непонятно – рад я этому или нет.

12

– М-да... Где-то я такое в кино видел... – Лев Никитич рассматривает полароидный снимок, держа его на отлете, как все дальнорюрки. – А бенка-то ничего себе... И нестарая...

– Как вам не стыдно, Лев Никитич!

– Да ну... это я к слову...

Он бросает снимок на стол, прихлебывает из дымящейся кружки и переводит взгляд на меня.

– Ну и чего тебе неясно? По мне, так все как день.

– Экий вы детектив! – Я усмехаюсь недоверчиво. – А я вот издумался весь – зачем он мне прислал эту открытку?

– Здесь и думать нечего, – важно возражает Завьялов. – Малый тебя «на понял» берет – только и всего. Испугать хочет.

– Но зачем?

– Зачем, зачем!.. Стало быть, мешаешь ты ему.

– Вот оно что! – Я возмущаюсь. – А он мне не мешает?.. Завелась такая сволочь в моем парке и меня же выгоняет!

– Это уж вы решайте, чей теперь парк...

Завьялов закуривает и с минуту сидит молча. Потом снова берет снимок и крутит его задумчиво в руке.

– Я тебе другое скажу... Ежели у тебя эту картинку найдут...

– Кто найдет?

– Я говорю – к примеру... Ежели найдут, то как ты докажешь, что это не твоих рук дело? Улика, брат!

Я вздрагиваю.

– Скажете... У меня и фотоаппарата такого нет.

– Может, был, да ты спрятал. Нет, надо ее уничтожить.

Я соглашаюсь с готовностью:

– Конечно, давайте уничтожим.

Сначала Лев Никитич пытается порвать карточку руками, однако та не поддается. Завьялов удивленно ругается, но сейчас же придумывает злосчастному снимку другую, верную казнь. Он бросает его в пепельницу и поджигает. Карточка нехотя подергивается зеленым пламенем, корчится, коптит и наполняет кухню ядовитым смрадом. Горит она долго, несколько минут, и в итоге расплывается смолистой пузырящейся лужицей.

– Концы в воду! – возглашает Лев Никитич и заливает пепельницу цифирем.

Избавившись таким жестоким способом от моей «улики» и проветрив мастерскую, мы с Завьяловым больше не возвращаемся к мрачной теме. Он погружается в кроссворд, а я принимаюсь изучать свежие «Ведомости». Что здесь у нас?.. «Мэрские выборы» – смелая статья... «Синоптики предупреждают» – о вчерашней непогоде... «Крупный выигрыш нашего земляка» – конечно, о Ворношкове... так... так... «Утратили скромность» – это что такое? Заметка иеромонаха отца Гермогена. «В последнее время горожанки женского пола одеваются все более непристойно...» Поддавшись искушениям заграничной моды, девицы и молодые женщины блазнят и демонстрируют в публичных местах уже такие части тел своих, которые отец Гермоген не решается означить письменно. «Даже иныя приходят в церковь, у коих подол не достигает колен!» Удрученный иерей, разумеется, изгоняет из храма сих бесстыдниц. Но куда же им податься, – думаю я, – несчастным голоногим жертвам моды? Остается только фланировать по вечерним улицам, пить «джин-тоник» и хохотать. А ждать их будет ночь – хохочи, не хохочи...

Мне вспоминается, как отец Гермоген – тогда его звали Димкой – явился на одноклассниц во время физкультурных занятий. Удобно ему было – ведь он, по причине «привычного» вывиха плеча, сам от «физры» имел освобождение и отбывал эти уроки на скамейке в спортзале. Девчонки одна за другой прыгали через «козла», распахивая ножки, а будущий отец Гермоген каждую провожал внимательным взглядом. Был он мальчик, созревший не по летам (кажется, уже даже брился в старших классах). Девочки краснели под его взглядами и оступались. Целомудрие их наконец возмутилось, и они хором требовали удалить нескромного созерцателя. Учитель выгнал Димку из спортзала, но уже на следующем занятии тот как ни в чем не бывало снова сидел, приклеясь к лавочке, – серьезный и молчаливый. Когда и по какой причине потерял Димка свое имя, сделавшись Гер-

могеном, этого я не знаю. Только сдается мне, что нелегко ему нести в миру свой монашеский подвиг.

Я много лет не виделся с Димкой-Гермогеном и потому волен фантазировать на его счет. Если предположить, что с пострижением он надеялся закрыть для себя женский вопрос, то, как видно из его заметки, зря. Целибат не закрывает вопрос, а только делает его неразрешимым... как, впрочем, наверное, и брак... Я вздыхаю про себя. К сотне кошек, скребущих у меня на душе, сегодня прибавилась еще одна. Жена холодна со мной с той минуты, как заглянула в мою почту, – утром даже уклонилась от обычного целованья и кофе пила отдельно от меня в комнате. Увы, – думается мне, – каким бы прочным ни казался союз полов, он выстроен на вечной мерзлоте недоверия...

Вместо того чтобы идти работать, я сижу, погрузившись в невеселые размышления. Везде клин... С юга Гудериан, а с севера фон Клейст – берут меня в клещи. Положение мое тяжелое... но безвыходное ли?

– Лев Никитич... – Я кладу руку на его газету.

– Ась? – Он удивленно смотрит на меня поверх очков.

– Помните, вы мне предлагали...

– Чего?

– Ну... вы говорили... ствол...

Завьялов хмурится, молчит. Потом кивает:

– Угу. Завтра принесу. «Волына» чистая... Однако ж ты смотри...

13

Неудивительно, что работа моя сегодня не слишком спорится, – такой уж день. Пример трудолюбия подает нынче только дождик, с утра устроивший на всех моих четырех подоконниках маленькие кузни. Под его джазовый разнокалиберный перестук, при электрическом свете я и отбываю свой дневной номер. А когда подходит срок, то есть ровно в шесть вечера, я переодеваюсь, обсточиваю свое «учреждение» и, заранее поеживаясь, толкаю на выход железную дверь. Однако воздух на улице оказывается теплее, чем я предполагал. Он просто свеж и влажен, как в нетопленной бане, и полетному остро пахнет мокрой березой. Дождь-трудяга по-прежнему хлопочет, словно подрядился аккордно перечинить крыши всему городку. Что ж, это его дело. А я на сегодня свое отработал и направляюсь домой.

Осадки в виде дождя – вещь обычная для нашего региона и даже необходимая. Ведро хорошо в меру – не то пойдут гореть леса наши и чадить торфяники. Дождик наш – это не обломный ливень, а деловитое будничное ненастье. Он поклевывает тебя ненавязчиво в темя, а ты идешь себе, попрыгивая по-птичьи через лужи, уже довольный тем, что свободен от иллюзий. Дождик полезен и потому, что приготавливает тебя к житейским неприятностям, тренирует душу им противостоять... В ясную погоду я бы, пожалуй, сильнее удивился жениному внезапному отъезду.

Решив все-таки с ней объясниться и посвятить жену в мои ночные приключения, я всю дорогу от мастерской до дома слагал и правил свой монолог. Я представлял себе, как она станет слушать: сначала хмуро, избегая на меня смотреть, потом, поняв, что я чист перед нею, вздохнет с облегчением, может быть, даже всхлипнет. Потом до жены дойдет собственно криминальный смысл сюжета, и она встревожится: вытянет у меня сигарету, закурит и на некоторое время задумается... Что же, быть по тому. Я готовился выслушать все ее соображения по поводу истории, во что я влип, – выслушать с терпением, которое положил себе на этот вечер главной добродетелью.

Однако разговора у нас не получается – за отсутствием собеседницы. Под зеркалом в передней мне оставлена решительная нота, гласящая, что

не я один в этом доме имею право на частную жизнь и ночные прогулки. Сим предлагается мне испить сегодня чашу одиночества и жены не искать – ни по родственникам, ни по знакомым.

Ждал ли я такого поворота событий? Внутренне – да, наверное, – спасибо дождю. Но все-таки я огорчен. Чувство осиротелости накатывает, когда мне приходится самому замывать наши с Карлом грязные следы после прогулки. В жениной комнате толпятся на подоконнике ее фиалки – все глядят в окошко, будто брошенные дети. Наружное стекло густо обсели жирные, набухающие на глазах дождевые капли, а в цветочных горшках земля сухая, и фиалочьим стебелькам едва достает сил держать обмякшие пыльные листочки. Неполитые цветы, несваренная Карлова каша – все указывает на то, что жена покинула меня не по обдуманному плану, а под влиянием вдохновения.

При неотступном сопровождении Карла я обхожу собственную квартиру, словно принимаю хозяйство, – так я осваиваюсь с ролью соломенного вдовца. Конечно, я не стану никуда названивать в поисках пропавшей жены. Я без того знаю прекрасно, где и в чьем обществе проведет она эту ночь. Сейчас, наверное, жена подъезжает уже к Москве, в которой, в числе прочего многомиллионного населения, живет ее закадычная подруга и наперсница Суркова. Подруга действительно, ведь между собой женщины бывают способны дружить крепко и всерьез. Что их соединяет – плач по девичьим несбывшимся надеждам, тайная взаимная констатация увядания? Во всяком случае, именно друг на дружке они успешнее всего реализуют свой природный дар утешительниц. Этой ночью, я знаю, подруги вместе уложат в кроватку маленького «сурченка» (растущего без отца) и, закрывшись на кухне, будут эмансипироваться до утра за бутылкой «Мартини». В должной стадии они вспоют на два голоса, потом всплакнут, а рассвет встретят, как две чайки, глядя с шестнадцатого этажа на подернутое дымкой недвижимое море мегаполиса.

Завтра жена вернется из «самоволки» – усталая, с покрасневшими от недосыпа глазами, но обязательно с сумкой, полной продуктов. Я знаю, что она вернется, но мне все равно хочется грустить – грустить так, вообще, сидя в кресле и попивая коньяк. Карл поел и тоже не чужд элегических раздумий – тем удобнее, что диван сегодня в полном его распоряжении. Так мы с ним и вечеряем – при выключенном телевизоре, в тишине, нарушаемой только редующим, с уже большими пропусками тактов, боем дождя да гулками, как бы отдаленными раскатами, доносящимися из Карлова чрева. Сознание внезапного (и незаслуженного) своего одиночества будит во мне томление – какое-то очень знакомое, памятное, быть может, еще с детства. Печаль словно тихой скрипочкой выводит в душе мелодию, которая, думается, могла бы доставить мне даже род удовольствия, если бы неумолчным контрапунктом к ней мозг не засверливала все та же застарелая, надоевшая уже тревога, связанная с обстоятельствами последних дней... Кстати об обстоятельствах: время близится к ночи...

Небо подобрало живот, похоже, оно отдало земле всю воду, что могло. Облака отжаты и развешаны для просушки; завтра ветер соберет их и унесет до следующего банного дня. Однако городку нашему, устроенному на суглинке, сохнуть теперь предстоит не меньше недели. Он еще долго будет вылизывать себя вдоль улиц слабыми языками сквозняков, мучаясь от невозможности встать и разом встряхнуться всей шкурой. Растения, набравшись влаги, стоят, словно осоловелье, бездумно и тускло мерцают. Впрочем, многие из них охочи сейчас до мокрых шуток – несколько грубоватых на мой вкус. Карл поминутно приводит в действие свою центрифугу,

вращая телом сразу в двух противоположных направлениях, – так умеют еще только бразильские танцовщицы. Он делает это настолько энергично, что того гляди не устоит на ногах и покатится.

У меня ощущение такое, будто мы пробираемся подвалом какого-то большого дома. Небо над нами лежит, словно серое бетонное перекрытие. Воды, невидимые, журчат в потемках либо гулко и мерно отбивают капелью. Под ногами... Бог его знает – что там под ногами; земля сейчас напоминает морское дно после отлива. Каждый шаг по ней чреват неожиданностью: то сапог поедет на скользкой глине, то ухнет вдруг в яму колодезной глубины. Моя забота одна – сохранить подобающее человеку вертикальное положение, не клонуть в грязь ладошками. Четвероному моему товарищу куда проще – он устойчивее и пользуется притом преимуществом «полного привода»... И, кроме нашего чавканья по слякоти, во всем городке ни звука: ни собачьего взбреха, ни котовой рулады, ни даже треска вдали неперменного ночного мотоцикла. Кто еще, кроме нас с Карлом, вздумает гулять в такую погоду – разве что лягушки и дождевые червяки.

В этом я почти уже убежден, когда мы подходим к парку: ни один уважающий себя маньяк не станет болтаться в насквозь промокшей роще без малейшего шанса найти добычу. Даже без «волыны» в кармане сегодня я чувствую себя увереннее, чем вчера. Можно сказать, меня больше беспокоит протечка, обнаруженная в левом сапоге, чем сугубо теоретическая возможность повстречаться с неприятелем.

А в рощепряно пахнет сырой листвой и ожившей грибницей. Я иду, стараясь не касаться деревьев, а они нарочно норовят положить мне на плечи свои мокрые, отяжелевшие ветви и, стоит их оттолкнуть, раздражаются мстительными дождиками... Закурить бы, но, думаю, промочу сигарету... Все-таки на небольшой полянке я останавливаюсь и лезу за пазуху...

Но нет, я не успеваю достать сигареты, потому что в это мгновение Карл подле меня глухо предупредительно рычит. Теперь и я вижу, что от кустов впереди отделилась и выплыла на полянку какая-то тень... Не зрение даже, а какой-то внутренний инстинкт подсказывает мне – это не человек; однако спокойствия моего как не бывало... Некто решительно направляется в нашу сторону – бесформенно-лохматый, черный как сама ночь. В темноте зверь кажется неестественно крупным, но Карл мой, конечно же, храбро выступает ему навстречу. Они медленно сходятся – на прямых ногах, пригнув по-гиеньи головы, и – шея к шее – замирают... Истекает еще долгая-долгая секунда... и вдруг воздух разрывает ужасный, великолепный боевой рыв, на какой способны только Карловы соплеменники. Дело началось!..

Коты, как известно, вопят и дерутся по-японски – в их схватках и победа присуждается по очкам. Собачьи разделки кажутся мне гораздо драматичнее. Пусть от кошачьих воинских кличей кровь стынет в жилах, зато от псехих – закипает. Я всегда испытывал сильнейшее чувство вовлеченности во время Карловых поединков, а сейчас – особенно, потому что вижу, что другу моему вот-вот придется худо. Черный бронирован густой шерстью и много тяжелее Карла; он пытается навалиться сверху, ищет зубами – до чего же огромными! – ищет Карлово горло... Я бегаю кругом дерущихся и не нахожу, что предпринять. Чтобы растащить их за бедра, мне нужен другой и притом дюжий человек, но я один... Между тем ситуация становится критической: Карл мой уже повержен и хрипит – значит, черный добрался-таки до его горла! Спасать надо, спасти товарища, но как?... И тут в отчаянии я совершаю определенно безумный поступок: я бросаюсь третьим в эту схватку. Навалившись сверху на лохматого богатыря, я обхватываю, сжимаю локтевым сгибом его толстенную шею. Он выплывает Карла и в бешенстве пытается извернуться – теперь уже ко мне; могучее тело его бьется подо мной, но я сжимаю его ногами что есть сил. В ре-

зультате мы этаким «хот-догом» катимся с ним в мокрую траву. Несколько секунд мы отчаянно боремся, и я начинаю изнемогать; страшные зубы щелкают в сантиметре от моего лица... Где же ты, Карл?! Но вдруг – что это? – чудовище испускает истошный, совсем щенячий визг! Каким-то невероятным усилием черный все-таки сбрасывает меня с себя, но... не бросается в атаку, а, жалобно скуля, улепетывает с поляны. Bravo, камрад! – это Карл проявил смекалку и поразил врага в самое чувствительное место – так выигрывают сражения лучшие из полководцев.

Итак, поле боя остается за нами, но, скажем прямо, нелегкой ценой. Преследовать отступившего противника ни у кого из нас нет ни сил, ни желания. Укрощая собственное дыхание, мы с Карлом еще сидим в траве и не чувствуем даже, как промокают наши зады. В потемках не видно, но можно себе представить, сколь грязны мы оба... Мой товарищ приходит в себя раньше – он принимается лизать израненные грудь и плечи. Наконец и я догадываюсь, что надо встать. Ноги подо мной дрожат, руки тоже еще поплясывают в остаточном треморе. Я подношу ладони к лицу – они облеплены черной шерстью и разят псиной. Кое-как отеревшись о куртку, я нашариваю за пазухой смятую, истерзанную пачку и достаю сигарету – кривую, но, кажется, непорванную... Одновременно краем глаза я замечаю, что Карл почему-то перестал облизываться, вскочил и снова напряженно всматривается в кусты. Опять он ворчит – тяжело, угрожающе...

– Ну расслабься, дружище! Больше этот лохматый к нам не подойдет...

Зажигалка, слава Богу, не потерялась. Она срабатывает с пятой попытки, и я наконец прикуриваю. Ф-ф-ф-ф!..

Однако я успеваю сделать лишь одну затяжку. В следующий миг – БАХ!!! – в голове моей будто лопается сосуд. В глазах запечатлевается оранжевая кисточка огня...

Со мной происходит непонятное – даже не разум, но воинский инстинкт срабатывает мгновенно и оригинально: не помышляя об укрытии, я, напротив, бегом бросаюсь на вспышку! Что это – приобретенная привычка к рукопашным?

Эхо выстрела возвращается на полянку, а меня там уже нет – живым тараном я вламываюсь в кусты. Еще вспышка – прямо передо мной, но теперь почти беззвучная. Сделать третью попытку я ему не даю: прыжок – и мгновенное ощущение дежа вю: снова я качусь с кем-то по земле в смертельных объятиях. Что-то больно впивается мне в живот – да это ж мой секарь, забытый за поясом! Я слышу чужое вонючее дыхание у своего лица, бью... и получаю в ответ сильный удар... Ах ты, гад!.. Подонок, оказывается, совсем не тщедушен, хоть и плохой стрелок. Увы, я чувствую, что блицкриг мне не удастся, – начинается трудная работа. Рыча, хоть и не так впечатляюще, как псы, мы сплелись и не позволяем друг другу (враг врагу!) произвести решающее действие. Силы мои тают в бесплодной и, надо полагать, забавной со стороны борьбе. Еще немного, и я начну кусаться... Но стоит мне чуть отвлечься, как противник мой оказывается сверху – навалился всем весом и отвратительно дышит мне прямо в лицо. Я вижу его отверстый рот... Э, да он сам хочет меня укусить!.. Я уклоняюсь... Мы фехтуем зубами, пытаюсь ухватить друг друга за нос или за щеку... Сколько это будет продолжаться?..

И тут внезапно враг мой издает странный звук – словно чем-то подавился. Он отпускает меня и судорожно пытается встать, но падает рядом со мной на землю. Что-то с ним не так... В горячке я вскакиваю, чтобы продолжить схватку и развить нечаянный успех, но противнику явно не до меня. Он выгибается телом, словно в эпилептическом припадке, и беспорядочно бьет ногами и руками по земле... Вот оно что! Лишь темнота не позволила мне сразу понять, в чем дело, – теперь вижу: Карл склонился над ним, пережав челюстями его горло... Спасибо, друг! Покажи ему, как надо кусаться...

Я стою, тяжело дыша, и не вмешиваюсь... Кончай его, Карл, – этот грех нам простится... Через минуту человек перестает возить по земле ногами и умирает окончательно. Карл отпускает его, отходит и принимается чистить морду о траву.

– Пошли уже... – говорю я тихо.

Карл не возражает. Только напоследок еще раз подходит к трупу и – для памяти, что ли? – обнюхивает его окровавленную шею. Я стараюсь не смотреть...

15

Боже, сколько грязи можно натащить в дом на шести ногах! Я и под Лениным себя чистил, и под каждым фонарем – все без толку. Когда я брал водку в ночном киоске (в долг), Надежда Викторовна даже не сразу меня узнала.

Я омыл и смазал йодом Карловы боевые раны и свой живот, поцарапанный дурацким секарем. Какая удача, что жена сбежала от меня к Сурковой... А я вот сижу на кухне, пью без помех водку и шлю им обоим мысленный привет. Стол мой, помимо бутылки и обычной в таких случаях закуски, украшает еще одно блюдо – оно называется «собачья голова» и подано прямо на клеенку в лужице собственных слюней.



Григорий КРУЖКОВ

Одно и то же долгое «о»

Прощание Белого Рыцаря с Алисой

Секунда, ты еще не перешла ручей...
Остановись, замри в сиянии полудня –
В ромашковом венке, в короне из лучей...
Чем дальше от тебя, тем глуше и безлюдней.

Не я ль тебя учил, как мертвая, стоять
И, что там не случись, терпеть, не шевелиться.
Что вечности дала промчавшаяся рать?
Разводы на стекле и смазанные лица.

Чем дальше от тебя, тем злей и холодней.
Не знаю, отчего. У Смерти много дней,
У Времени – веков, у Зла – тысячелетий.

А ты моей душе была родной сестрой,
Моей зеркальной, послушливой мечтой,
Второй из половин. Не первой и не третьей.

На рассвете

На рассвете не хочется просыпаться,
так на ложе дрёмно, так тихо в доме...
Андромaxe снится прекрасный некто –
может быть, супруг ее, мертвый Гектор,
но легко обознаться.
Спит зигзица в дупле, воробей в соломе.

В этот час козырная приходит дама
к неудачнику – и он ставит на кон
все свои добытые кровью фишки,
проплывает труп мимо черной вышки,
во дворе у храма
умывается из рукомойни дьякон.

Крепко спится на рассвете ворам, бандюгам
и сирени, которую не ломают,
таракану, спрятавшемуся в дырку.
Бог на небе берет деревянный циркуль
и обводит кругом
этот мир, и в кровати дитё играет.

Шлюз

Сперва это было свечение
разлившееся по паркету
как лужа лунного света
или потоп из ванной

оно поднималось все выше
подтапливая ножки стульев
потом залило одеяло
подушку и спинку кровати

неведомое прибывало
пронзительнее чем жалость
прозрачней и глубже печали

он ждал как ждет водолаз
пред выходом из субмарины
пока не заполнится шлюз

и не откроется выход

Круг

1

Я – малый мир, созданный как клубок,
воздушный пузырек,
прилипший к стеблю лотоса, мой родич.

Я – нолик; с крестиками смерти
играю я в пятнашки.

Я – капля:

сосулька вечности, подтаяв,
меня родит, и я освобожусь
от пут неволи... Но об этом
не думать – чтобы голова не закружилась...

2

Бросая камушки в воду,
он смотрел на круги,
расходящиеся по волне:

Слух обо мне...

Лежа на диване,
наблюдая недолет,
он думал:

Здесь лежит тот...

3

Камень, канувший в воду, напишет вам имя мое
круглыми детскими буквами. Может быть, глупо,
а все-таки приятно быть геометрическим местом точек,
равноудаленных от некоторой, называемой центром.

Но, как подумаешь, что драгоценный сосуд,
брошенный в море, и сиганувшая в пруд
лягушка рожают одно и то же долгое «О-О-О»,
не захочется больше ни славы, ни имени – ничего.



Андрей БИТОВ

File на грани фола

ПОЛУПИСЬМЕННОЕ СОЧИНЕНИЕ

Где-то затерялся набросок – такая сценка – разговор графомана с гением.

Оба взяли рюмки и рассуждают на тему – ты как пишешь? На машинке? От руки? А на какой бумаге? Какой ручкой? Обсуждают перспективы. Получается, что оба друг другом совершенно довольны, потому что этот разговор их совершенно выравнивает.

Разговор о том, как мы пишем, выравнивает любых.

Но есть все-таки разница между тем, когда пишешь рукой и пишешь гусиным пером. Или пером металлическим. Вечным.

Каков был переход?

...Вспоминаю, как в старой моей школе шла *борьба перьев*. Перо должно было быть с нажимом – когда прописям нас учили. А переход на шариковую ручку был равносителен вредительству, и к нам применялись карательные меры. А ты попробуй еще достань ее, эту ручку! В то время это было способом выделиться.

Перо макать – значит меньше курить за письменным столом. Обмакнул – кляксу стяхнул.

Промокашки специальные делали...

Помню я, и как случился со мной *принципиальный* переход: тогда еще пишущие машинки были не в частоте, я сначала писал от руки, потом правил по писанному, потом перепечатывал, правил по напечатанному, потом отдавал машинистке. Поскольку возможностей опубликоваться было мало, от машинистки я и получал свой первый *опубликованный текст*. Он был напечатан по нормам, сдаваемым в типографию. Тогда я мог его прочесть и понять свое отношение по крайней мере к этому опусу.

Насколько *виден* текст.

Внутренний текст, написанный текст, напечатанный – вот это и есть технология «перевода».

И однажды, когда я сел в момент какого-то затора *перебелить* неоконченный рассказ и начало уже перестучал на машинке, у меня включилось дыхание и я не заметил, как достучал этот рассказ на машинке до конца. Не прописывая от руки.

Это был переход невероятный! Просто революция. Для меня это была революция 1961 года. Может быть, равнозначная тому, что Гутенберг придумал печатать книги тиражами... Правильно пришлось гораздо меньше, и напряжение было гораздо больше: на машинке неудобно вычеркивать – надо *забивать* буквой Х... Из-за этого напряжение создания текста возникает более-менее сразу и дыхание не иступленное. И период, в который попадал, – из него тоже надо выпутаться: сразу удлинилась фраза.

Дальше я все писал на машинку. Потом возник компьютер, а я уже сильно взрослый. Учиться работать на нем стал в 1992 году. Но никуда не продвинулся и решил на нем печатать, как на машинке.

С компьютером – другие соблазны: например, соблазн поправить текст сразу, целиком. То есть исчезают все черновые слои, пропадают навсегда. Можно и не тщеславиться, что ты там Гоголь или Пушкин! Но все равно: а вдруг какой-то слой был предпочтительнее по дыханию?

Довольно трудно привыкать: я уже научился думать страницей, вставляя лист в пишущую машинку, когда шло дело. А тут лист никак не кончается...

Хотя до этого у меня тоже была технологическая мечта – вставить в машинку рулон бумаги целиком, чтобы шел поток и ты бы его не прерывал.

Но довольно быстро этот рулон у меня запутался, и я понял, что нужен еще карлик, чтобы он перематывал рулон вниз.

Этот невидимый рулон – приводит к идее непрерывного текста, который существует в человеке вместе с его бытием и сознанием. По этой линии развивалось много попыток – во всяком случае, в прозе.

В то же время есть какая-то непрерывистость: если ты человек пишущий, ты проживаешь свою жизнь вместе со своим текстом. Ты течешь через текст. У меня даже целый ряд статей прошел: смерть как текст, поведение как текст...

Уже много позже я пришел к идее о врожденности текста и стал работать над собой и другими авторами, включая – высшие силы, да простят меня – Пушкина. Я считал, что необходимо издать Пушкина чисто хронологически. Чтобы увидеть сам процесс.

Этим и занимаюсь – расколачиваю тома, которые у нас формировались по жанрам. Пушкин ведь по жанрам очень хорошо пакуется! По законченности, по неоконченности... А вот когда это все равномерно и равномерно...

Для него, думаю, это было немаловажно. И для меня многое становилось ясно.

В 1999 году удалось осуществить проект издать полный свод пушкинских текстов за последний год его жизни – «Предположение жить. 1836».

Думаю, это – довольно верный принцип. Набокова я тоже рассматривал из этой перспективы. Бывает так, что в творчестве есть какая-то гора вулканическая – с подъемом, со спуском. В начале не хуже, но где-то есть вершина и спад, на который проецируется начало. У Набокова так проецируются русский и американский периоды. Но так же точно проецируются и возраст.

Везде – большие системы подобий.

Хотя не нужно преувеличивать значение текста: неизвестно, что впереди чего. Особенно у пишущего. Текст часто съедает его жизнь. Ведь потому – литература, что она *подобна* жизни, а не потому, что *отражает* ее. Вы попадаете в *процесс*, который переживает автор в *процессе* письма, который подобен переживанию жизни. Чтение – это со-чтение, со-чувствие.

Но когда я перешел на машинку, я стал гораздо дисциплинированной, гораздо строже – появилась какая-то жесткость, металличность, созвучная стуку машинки. И вот сейчас, у компьютера, я думаю: а не перейти ли снова на пишущую машинку, чтобы слышать этот стук по-настоящему?

Ну и к чему же я прихожу? Я все больше пишу на бумаге и от руки. Просыпаюсь с рассветом и, чтобы доспать – пока какие-то мысли придут в голову, не вскакивать, кладу рядом бумагу и ручку. Но – то одного нет, то другого. Начинаешь запасать письменные принадлежности. Потом – возиться с набросками. А возиться очень противно. Набросать легче, чем написать. И написать – легче. А вот перейти от наброска к письму очень тяжело. Так же, как, допустим, если вы дадите мне этот монолог на правку – это будет одно из главных моих мучений (смеется).

Все покажется несовершенным.

Никуда не деться от технологии.

Пропасть между устной и письменной речью непроходима. У меня даже статья была в «Звезде»: «Русский устный и русский письменный». Вот и сейчас, на этих страницах, я провожу эксперимент, соединяя устную речь и несколько текстов, которые я написал по нужде. Я сейчас предложу вам прочитать тексты, которые *написаны*. Они в то же время – *заказаны*, но в самом заказе лежит *устная форма*.

Одно дело, когда замысел ищет воплощения в письменной речи, а совсем другое, когда ты вкладываешь себя в рамки, даешь интервью самому себе. Интервью себе – вот что это такое. Тут моя питерская природа тоже что-то говорит мне. Однажды я вел круглый стол на книжной ярмарке, и там банально столкнули питерцев и москвичей, и в конце концов, как это бывает, в процессе дискуссии я договорился до *удачности*, сказав: разница московской и питерской речи в том, что Москва (недаром отсюда все время идут реформы русского языка!) – как слышится, так и пишется, а Петербург – как пишется, так и слышится. То есть Петербург по природе, даже по построению города, – более письменный город, Москва – более устный.

Так что здесь – совмещаю две столицы!

Вторая часть эксперимента – это файл. File.

Время с годами идет быстрее – значит, выходит, я уже с 1992 года пишу на компьютере, только иногда скучаю по машинке. Где же найти ее ту самую, что была родной?

Всё – машины: тебе надо распечатать кусок какой-то, выделяешь, даешь команду – а я иногда сбиваюсь. Собьюсь – и смотришь, вываливается всё целиком. Весь файл. Целый файл печатается вместо отмеченных страниц! И бумага – гибель, и не нужно это тебе, и ты сердиться... а он тебя не понимает.

Так однажды я получил в руки весь файл.

А мне еще говорят: что такое? Почему ты пишешь в одном файле? Что за глупость? Не можешь новую иконку завести!

Может быть, мне не нравится слово *иконка* в таком употреблении легкомысленном...

Но на самом деле это подтверждает, что человек слился со своим текстом. Жанрово нарезает и замыслово оформляет, но непрерывность эта есть. В данном случае тексты, которые я вам предлагаю, тоже выпали из одного файла, и между ними есть неожиданная преемственность, хотя все они написаны в разное время и по разным поводам.

27 июля 2005 года.

Искусство писать от руки¹

Утренняя морозная тьма и чернила, снег и чистый лист – ужас этих подобию детства не для Фрейда: чернила не черные, бумага не белая.

Я выучился писать шестьдесят лет назад, и это была Победа! Господи, чего стоили эти палочки и хвостики, чего стоила эта тетрадь в косую линейечку и перо № 86...

Андрей Георгиевич Тимов

Вставочка, перочистка, прописи, чернильница-непроливашка, промокашка – забытые русские слова, и впрямь прошлого века. Писали мы с *нажимом*, не отрывая руки, как я позже догадался, – гимназическим, семина-

¹ Вариант эссе выходит в журнале «Esquire».

ристским, сталинским почерком еще позапрошлого века. Не дай бог, к перу приставал волосок! Перочистка была, как большая тряпичная клякса: ею мы играли на переменках в маялку, запрещенную игру. О, эта идеологическая, многолетняя борьба с любым прогрессом в орудиях письма! Скручивали пружинку из тонкой проволоки, монтировали под перо – получалась *вечная* ручка. Когда же у богатеньких учеников стали появляться настоящие вечные ручки, то они категорически изымались у владельцев педагогическим составом. Когда же вечная ручка стала нормой, началась борьба с шариковыми ручками – разрешалось только чернилами, пусть и без нажима.

Нажима я здесь, без чернил и пера № 86, воспроизвести не могу, а пропись, пожалуйста...

Андрей Битов, бегун и автор

Потом, к старшим классам, некоторые буквы сами собой упростились (эти новые Т, Д, Б и т.д. – добыча для графолога), но в целом я так и пишу, как шестьдесят лет назад, включая свою литературу.

Физ-ра и Лит-ра²

Если согласиться с тем, что история делится на века, и представить себе их отдельность, как бы в виде каравана барж, груженных то готикой, то Ренессансом, то барокко, то Просвещением, – тогда XX век, из которого почти две трети выпало на мою долю, будет загружен спортом. Не буду даже спорить (*спорить* – *спорт*), что не только им одним, но и... по крайней мере от спорта настало меньше вреда, чем от всего остального неперечисленного (империализм, коммунизм, фашизм, терроризм, etc.), что стоит уделить спорту некоторое интеллектуальное внимание как не побочной ветви человеческой деятельности, наравне с наукой и искусством.

По крайней мере все это область больше славы, чем власти.

Власть окончательно и навсегда принадлежала *другим*.

Слава еще могла принадлежать *людям*. И если Героем Советского Союза после войны уже сложно было стать, то мастером спорта или лауреатом Сталинской премии еще можно.

Поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?»

Физ-ра и лит-ра... Какого будущего мужчине могло увлечь такое: канаты и маты, козел и конь... потное, серое, БГТо и ГТО? Или образ деда Щукаря или Татьяны Лариной? В образе Рахметова привлекало, что упорно тренировался.

Иногда я объясняю свое начало занятия литературой тем, что с детства мне не удавались коллективные игры – ни в войну, ни в футбол. Зато судьба мне шепнула, а я услышал: «Бегай!» Было это на пляже в Гудаутах в 1951-м, и года четыре я бегал, не пропустив ни одного дня, вокруг Ботанического сада, прибавив к этому доморощенную атлетическую гимнастику и контрастный душ. Никто еще не ведал ни о беге трусцой, ни о бодибилдинге – я был чуть ли не первый «качок». Внешние мои параметры стали таковы, что тренеры вцеплялись в меня, но вскоре разочаровывались: никаких талантов. Я занимался физкультурой, а не спортом. Выходит, что готовил я себя к соревнованию только в литературе... «Чертовское, однако, здоровье изволил потратить автор за годы работы головой!» (Мих. Зощенко. Возвращенная молодость). На полвека, однако, хватило.

² Предисловие к книге «Серебро-Золото», – М.: Фортуна ЭЛ, 2005.

Впрочем, что слава?.. В детстве, в последний год войны, мы играли под трибунами заброшенного стадиона и набрели там на *пьедестал*. В лохмотьях заплесневевшего кумача, он притулился в углу в компании лопат и метел, на правах инвентаря. Три ступеньки... нас тоже было трое. Двое постарше боролись за высшее место, у меня была повреждена нога, и я спокойно занял вторую ступеньку. «Назовем это опытом», – как назвал свою книжку о путешествии в Советский Союз один американский писатель.

Тогда же – первое золото: я съел свой первый мандарин. Это сейчас демократия, а тогда, при Сталине, со мной в классе учился сын первого секретаря горкома (впоследствии расстрелянного). Мальчик был красивый и нежный, другого цвета кожи. На большой перемене он разворачивал свой большой завтрак. Я был несколько замедленный мальчик, и, когда протягивал руку, все бывало уже разобрано. И понял я, что за колбасой нечего и тянуться, и однажды спокойно забрал менее востребованный мандарин. Съел я его в туалете вместе с кожурой.

Опыт этот пригодился мне и в армии. Мне с ней повезло: это был стройбат на территории бывшего лагеря в пятидесяти километрах от Полярного круга. Нам полагалось сливочное масло. Его подавали на стол одним бесформенным куском, и старослужащий делил его на десять равных частей. Равными они по природе быть не могли: пока старшой делил, мы жадно располагали кусочки по росту. Старшой колдовал и втыкал нож в самый большой кусочек, и девять жадных рук сцеплялись над вторым по размеру. Опоздав раз, опоздав другой, я стал сразу выбирать третий и с тех пор ни разу не прогадал.

Это я про первое, второе и третье... На *пьедестале* – кусок масла и мандарин.

Но однажды я занял среди них первое место.

Тот же старшой обозвал меня жидом, и я, вместо того чтобы отрицать это, сказал ему, что сам он... Этого ему нельзя было вынести: после отбоя была назначена дуэль. Трусил я ужасно: несмотря на свою «накачанность» я ни разу в жизни не дрался. И вот отбой, барак, тусклый свет, узкий проход меж двухъярусных нар... Напротив разъяренный дембель, за ним еще его кодла, на подхвате, – вот оно, *противостояние!* Пропал, что делать?.. Тут-то они мне и подсказали, что такое *противник*. Они распоясываются... и я. Они наматывают ремни на кулаки, бляхами наружу.. у меня ремень вываливается из рук, получается, что я его отбросил за ненадобностью. Дембель играет желваками...

Я растерянно (получается, с равнодушием) снимаю очки и протягиваю их своему единственному худосочному секундantu.

Дембель расставляет ноги пошире... Мне становится душно, и я рву ворот на гимнастерке. И это было решение! Не торопясь, стал я стягивать гимнастерку. Мало что через голову, так под гимнастеркой был еще мамой связанный свитер, и когда я справился со всем этим, то оказался голым по пояс. По удивленным лицам кодлы я сообразил, что у меня появился шанс: мой бицепсы и трицепсы произвели впечатление. Рождение паузы – триумф актера. Я набрал полную грудь воздуха, приподнял плечи и, напряжив грудные мышцы и бицепсы, сделал резкий и звучный выдох... «И полно, – благодушно сказал дембель, – ну, скажи, за что ты на меня так взъелся?..» И я не стал качать права, и до конца срока мне доставалась лишняя порция, так что я разжирел, как боров. Шел 1958 год, никаких «видаков» еще не было, ни одного фильма про восточные единоборства никто из нас не видел.

«Самое невозможное в жизни, – рассуждал я позднее об окружившей меня действительности, – это ускорить время или повисить уровень». И я не подумал тогда, что это опять о спорте: секунды, сантиметры, килограммы... что за таблица мер и весов?! Менделеев – с секундомером и динамометром в руках: ровно сорок градусов! Зачем так надрываться?.. Потому

что выпил рюмку или для того, чтобы ее выпить? Разница принципиальна – преодолев принцип, ты его утверждаешь... Священ ли грех? Чур, сатана!

(Действительно, чур... прервался на этой строчке, а тут и Рождество – опять! – случилось. Вот рекорд! Две тыщи лет не побит).

Меня всегда интересовала планка. Не та, что орденская, а та, что дрожит и не падает, когда прыгун преодолел высоту. На грудь ее не наденешь, она остается за спиной, пока ты неловко кувыркаешься на матах, приземлившись. Владимир Высоцкий, наверное, завидовал тому же: «У всех толчковая левая, а у меня толчковая правая». Он и про бокс, и про альпинизм пел... Тоже, поди, спортсмен-неудачник был.

Или штанга... казавшаяся мне максимально тупым видом спорта. Эта грудка мяса, корчащаяся и пердящая от непомерного веса... Пока я Юрия Власова не увидел. А ведь тоже линия! Тот же уровень! Выше головы или над головой?

За спортсменами никто не подозревает интеллектуализма, а зря. Вот об *уровне* с ними как раз интересно поговорить. Это они как раз понимают не хуже, чем ученые и поэты. Рекордсмен, зависнув над планкой выше головы или удерживая судорогой всего тела неподъемный уровень над головой, тоже заглядывает туда, куда никто до него не заглядывал.

Там – тьма и риск. Там – победа. Поэт и ученый тут бок о бок, как на плакате: один – перелетает, другой – приподнимает подол тайны.

У меня был еще шанс стать хотя бы великим альпинистом (Эверест еще не был покорен). В двенадцать лет я впервые увидел Эльбрус, и влюбился в горы с силой первой любви, и уже в 1953 году, только что получив паспорт, стал самым молодым альпинистом СССР. И я бы высоко зашел, если бы не встретил и впрямь любовь первую. Дружба не победила любовь.

Запоздалое развитие... в обратном порядке: с восемнадцати я стал заменять свою накачанную форму на любовь, дружанство, путешествия и литературу, и лишь к сорока годам у меня стала появляться некоторая координация движений, которой мне так не хватало, когда я был *в форме*. Теперь, когда я утрачиваю и то и другое, вдруг стал что-то понимать – болеть (если игра красивая): то теннис, то футбол.

Так на что же я смотрю? Какую модель мира или жизни вижу, когда болею?..

«...в чужой славе мы любим свой вклад...» – опять Пушкин.

Однажды я так подошел к теме: мол, рекордсмены и чемпионы, – это два разных человека, две противоположных психофизики. Чемпион жаждет победы сейчас, рекордсмен хочет превзойти всех. Бывает, рекордсмен не побеждает чемпиона, а чемпион так и не устанавливает рекорда. Так Жаботинский победил Власова, а Роберт Шавлакадзе – Валерия Брумеля. То же с Бубкой. То же с Виктором Санеевым (правда, в четвертый раз).

Как я понимаю Боба Бимона, прыгнувшего на 8 м 90 см первой попытки, перекрыв сразу на полметра десятилетия державшийся рекорд, поцеловавшего, перекрестившись, дорожку и ушедшего навсегда из спорта!

Но я не Боб Бимон.

Я предпочитаю серебро: вторые – пронциательнее. Они не могут стать первыми и потому становятся единственными. Впрочем, иногда и рекорд выводит в чемпионы... золото!

Так один молодой рыжий мечтал стать футболистом и летчиком, и это было ему не дано – порок сердца, – пришлось стать поэтом и получить Нобелевскую премию. Спорт бросить невозможно, даже если ты им не занимался. «Победила наша команда!» – с гордостью заявил он в первом

же интервью, имея в виду тех несчастных, с кем начинал в Ленинграде. Команда... недоступный футбол. «Я самый молодой Нобелевский лауреат!» – первым делом похвастался он мне в Нью-Йорке. Не могу сказать, что меня так уж распирали зависть, но я сказал: «Нет, тут все-таки серебро. Камю был младше». Иосиф не мог скрыть своего огорчения.

Если я не играл в футбол по тупости, а Иосиф – по сердцу, то нашему общему другу и герою моей повести Генриху III, все это было дано (его даже приглашали в команду мастеров); он и до сих пор не может перестать быть героем: как влез в 1961-м в жерло Авачи, так и вылез вчера из вулкана в Никарагуа.

Он был нашим общим другом, но дружили мы с ним по отдельности, как бы с разных сторон: для меня он был одnogоршечником по пионерлагерю и Горному институту, для Иосифа – поклонником и человеком своего круга (Генрих собирался взять его в экспедицию на Камчатку, но не получилось). Примечательно вот какое воспоминание...

«Путешествие к другу детства» было опубликовано в альманахе «Молодой Ленинград» за 1966 год. Тогда же я столкнулся с Иосифом на Невском проспекте и он отвел меня в скверик: «Надо поговорить». О чем бы это? Оказалось, о Генрихе. Иосиф уже прочитал мое «Путешествие...», и ему не понравилось. Мне и самому не очень нравилось, но я не хотел бы это слышать от других. Я надулся и сказал, что вещь была слишком заредактирована, что в оригинале лучше. «Все равно слишком однозначно, – заключил Иосиф, – меня интересует уже другой уровень». Этот «другой уровень» меня уже задел.

И медленно расходятся без драки:
Собака, будто нету петуха,
Петух, как будто не было собаки.

Писал Александр Кушнер в то же время.

Нас, как бы то ни было, печатали, Иосифа – нет.

Мы участвовали в городских соревнованиях, а он сразу собрался на первенство мира.

Примечательно в этом смысле другое воспоминание, через тридцать с лишним лет... 1988 год, Лондон, Королевское Географическое общество, поэтическое чтение: два Нобелевских лауреата Чеслав Милош и Иосиф Бродский и один арабский кандидат на ту же премию. Клубный, викторианский, чем-то родной имперский интерьер. Не слишком большой зал, своя публика.

Я был взволнован, но не поэзией, а географией. С детства бредил я путешествиями: у меня был свой «культ личности» – Пржевальского. Сталинский фильм о нем я просмотрел энное количество раз. Фильм заканчивался как раз триумфальным шествием Николая Михайловича по ступеням парадной лестницы того Географического общества, в котором я разглядывал сейчас скромный стенд с портретами великих путешественников, разыскивая Пржевальского. Нашел Грум-Гржимайло и Тянь-Шанского... и наконец! «Нашел?» – услышал я за плечом. И это был Иосиф. «Да! – радостно откликнулся я. – Пржевальский был моим кумиром». Иосиф хмыкнул: «И я на том же фильме сказал себе, что взойду по этой лестнице!»

Не *однозначно* ли это, Иосиф? Как тебе теперь мифы о том, что Сталин был сыном Пржевальского, а ты был назван в его честь? История как стадион для соревнований по поведению...

Вспомним *наше* время, то есть юность.

Мечтой Пржевальского была Лхаса. Он отправился достичь ее в пятый раз и так и не достиг, умер на берегу Иссык-Куля. Я почему-то не со-

мневался, что мне удастся осуществить его мечту («Русский с китайцем братья навек!») – пели мы на гастролях китайского цирка).

Рекордсмен СССР Илясов (1 м 99 см) десятилетиями не мог выполнить норматив мастера спорта СССР (2 м), и когда я в пятнадцать лет с первой попытки взял («ножницами»!) 1 м 55 см, то мне показалось, что через два года я преодолēju два метра.

Единственный мировой рекорд в СССР принадлежал тогда Григорию Новаку в жиме (виду, впоследствии отмененному). Он прибавлял по полкило в год и посвящал свой рекордный вес Сталину.

И вот что любопытно: стоило приподнять железный занавес и выпустить наших спортсменов за границу (хотя бы и в Финляндию), как рекорды прямо посыпались, впрочем, поначалу по тяжким видам спорта (метание у женщин). Шел 1952 год, тогда-то я и начал свою атлетику, по собственной системе. Сталин все-таки умер, сыновья Новака подросли, и он ушел с ними в цирк на силовое жонглирование.

Но должен был случиться XX съезд, чтобы возникли Брумелъ и Власов. Стрельцов и Гагарин.

(Недавно я оказался на Новодевичьем кладбище по поводу внезапно и страшно: хоронили сгоревшую в собственной квартире на Страстную Пятницу вдову Даниила Андреева, великого путешественника по иным мирам. Было о чем задуматься! Я бродил меж могил и вдруг наткнулся на могилу знакомого – академика Бориса Викторовича Раушенбаха, создателя того топлива, что вывело Гагарина на орбиту... Каково же было мое удивление, когда соседней оказалась могила Валерия Брумеля! Две немецких фамилии, два борца с земным тяготением... «Бывают странные сближения», – сказал Пушкин.)

Что же такое тогда случилось, что Брумелю и Власову удалось сразу то (лучше всех в мире поднять планку и выше головы и над головой), что десятилетиями не давалось в нашей стране до них никому? Вопрос на засыпку. И ответ один: свобода. Хотя какая там свобода! Всего лишь надежда.

Однако уровень сразу был обозначен такой, что надежды другим не оставлял.

С китайцами поссорились, и Лхаса отдалилась на дистанцию Пржевальского.

Пришлось братья за перо.

Если не путешественниками и спортсменами, то скитальцами пришлось стать.

Спорт как текст и текст как спорт – тоже дубль.

Только текст – это личный рекорд, а не соревнование за первое место.

Литература – это не профессия, а состояние текста. Состоялся – не состоялся... *Текст – это то, чего не было, а потом есть всегда.* Все, что не подходить под это определение, текстом еще не является. Время – беспощадный судья.

Все настоящие тексты – рекорды.

Спортсмен ли Стерн?
Стерн не спортсмен.
Есть абсолютные рекорды –
Сражение с мельницею есть
Не то, что бить друг другу морды.
Пройдут века, пройдут народы,
И только собственная честь
Лишь после смерти входит в моду.
Сервантес левою рукой
Писал копьё и рвался в бой.
В бою бессмертны только бредни,
И не дописан «Тристрам Шенди».

Итак, интеллектуализм и свобода оказываются в основе эволюции спорта.

Когда я думаю о будущем спорта, то все чаще, что *дисциплины* спорта в XXI веке отойдут, доведя до человеческого предела сантиметры, секунды и килограммы, уступив пока что экзотическим и экстремальным – фристайлу и серфингу всякого рода: координации владения центром тяжести, то есть гармонической общей ловкости – свободе и красоте, то есть *стилю*. А то что такое? Один бегаёт, другой прыгает, третий железки ворочает... Неестественный отбор. Выращиваются из людей кенгуру и медведи – зоопарк какой-то.

Возможности человека эксплуатируются и преувеличиваются – как операции на конвейере: один гайку крутит, другой гвоздь забивает... Молодым это уже не нравится. В спорте их начинает манить не карьера, а свобода.

На моих глазах отмирал жим, хоккеем с мячом, отмирает ходьба... Марфонский бег и десятиборье сохраняются как дань античности. Зато возникает вдруг стрельба из лука.

Мы вступили в эпоху, когда уже виды спорта борются между собой: вольная борьба с классической, самбо с дзюдо, бокс с карате, – косясь в сторону еще более редких единоборств. Идет разговор о введении в олимпийскую программу то тенниса, то гольфа, то бильярда, то бриджа.

Иногда мне нравится человек: он все-таки хочет подчинить себе рожденные им технологии, освободив их для себя. Спорт все-таки высвобождает возможности, а не закрепощает их.

Ибо на что мы смотрим и за что болеем? что *со-переживаем?*

Восхищаясь, мы **не** завидуем – вот урок! Еще Пушкин говорил: «Зависть – сестра соревнования, следственно из хорошего роду».

Описав эту мертвую петлю опыта, я объединяю здесь две давние повести в одну книгу, как бы сам начав понимать, о чем все это. Это уже третий *дубль* (после «Дачной местности» и «Путешественника»). Этот дубль – о спорте. Как вопрос и ответ. «Путешествие к другу детства» – это как бы *психология* соревнования: двух характеров, спортивного и неспортивного; «Колесо» – это уже *физиология* состязания, его состав. Вместе получается что-то вроде *психифизики* спорта. Обе повести, хотя и относятся по жанру к путешествиям, по форме являются наиболее игровыми, что, по пониманию автора, органично для самого предмета описания.

*Границы ревности*³

К 75-летию В.В. Конечного

Желание побыстрее стать старше обостряется в исторические эпохи, как и желание дожидаться перемен во внеисторические.

Война или революция нарезают рождения на поколения с удивительной частотой: разница в два–три года становится принципиальной: прошел всю войну, успел повоевать, не успел... Потом: помню всю войну, помню День Победы... Как будто столь разные люди могли учиться в одной школе с первого по десятый класс, а старшие братья уже в вузе (от Александра Володина до Иосифа Бродского).

Завидуя тому, кто умирает
Шел мимо нас...

³ Для сборника о В.В. Конечном (СПб).

Пушкин причислял себя к «военному» поколению еще в Лицее.

Виквик (в просторечии Виктор Викторович Конецкий) жаловался мне так: «А у меня никогда не было дня рождения – он всегда был у Пушкина». Имелось в виду, что он родился в тот же день, 6 июня. Я его утешал, как мог: мол, не в июне, а в мае Пушкин родился (это все большевики напутали).

Думаю, что то, что он не успел попасть на фронт, было более серьезным его комплексом. Зато он участвовал (как выпускник Военно-морского училища) в Параде Победы в 1945-м и очень смешно об этом рассказывал (он всегда старался «не показывать виду», то есть его и показывал). Мы оба были «дети войны»: он выпускник, а я первоклассник.

И вдруг оказались в одной писательской лодке, где разнича в возрасте легко стирается успехом, то есть ревностью и завистью. Завидовать было ниже нашего достоинства, а вот ревновать мы друг друга могли. Это опять как в школе: запоминаешь старшекласников, а младшекласников будто и вообще нету. Конецкий был уже *имя*, когда я стал продвигаться с первыми своими публикациями. Зато преимущество младшекласников в том, что они ни в грош не ставят своих непосредственных предшественников, автоматически полагая именно себя на гребне времени, мне помогло. Впрочем, это единственный шанс быть сразу первым, а не когда-нибудь потом. Конечно, я мог сомневаться в достоинствах прозы Конецкого, если ни разу его не читал, а у него уже и книга в Париже, и фильм про тигров, не говоря уже о капитанском кителе! Казалось, что он и поглядывал на меня как на нерадивого матроса, недодравшего положенный ему шкот, и, если бы мог, выдал бы мне два наряда вне очереди. Но однажды эти мои подозрения пали. Смирись, гордый человек! На самом деле гораздо приятнее поймать себя на мелочности, чем уличить товарища.

Я сдал новую книжку в ленинградский «Совпис», и наш либеральный редсовет сумел провести ее в план (две положительные рецензии почтенных авторов), но начальство решительно не хотело ее издавать и отдало на третью, разгромную, В.В. Конецкому. Не знаю даже, откуда у начальства было взяться такому изысканному психологизму: что более молодое поколение окажется суровее к еще более молодому. Во всяком случае, я так истолковал их выбор и забоялся.

Но! Рецензия оказалась крайне положительной. И книга-таки вышла, в аккурат к чешским событиям 1968 года. Успела от слова «успех». «Аптекарьский остров» – успех это и был. Потом долго такого не было.

И я обрел друга и хотел уже быть со старшими, а не с младшими. Может, старшие писали и не лучше, но выпивали больше. Я проходил школу. Хоть и на берегу, но у капитана.

О капитанстве Конецкого следует сказать особо. Я помню его еще в потертом кителе – это когда он надевал его по особым случаям, на писательские собрания. Мол, вы просто члены Союза, а я штурман. Выбрит, как перед боем, и позументы надраены.

Вот картинка. Я в первый и единственный раз оказался делегатом съезда писателей, никого не знал, цеплялся за китель Конецкого. Все были в особом напряжении: на открытие ожидался выход Политбюро. Нам обоим было стыдно. И вот что было замечательно в том времени! Не надо было объяснять друг другу *чего* стыдно. Мы сидели, естественно, в заднем ряду (была такая уловка, чтобы не вставать со всем залом в порывах единодушия). Оно не вышло. Оставалась надежда, что оно выйдет на банкет. В Кремле я тоже оказался впервые. Я как раз задумал роман о террористе-единоличнике и неудачнике, поэтому как бы как реалист изучал реалии. Понял, что моему герою через охрану не пройти. Весь съезд столпился у бархатных барьерчиков, длинные накрытые столы терялись в перспективе, пересеченные финишным столом.

«Сейчас ты увидишь, как все это сборище оглоедов и ...сосов ринется, чтобы быть поближе к президиуму», – сказал опытный Виквик (за точность его фразы ручаюсь). И он был точен: стоило вздернуться барьерчику, как начался этот спринт. Мы, естественно, оказались в торце, зато в наилучшем обществе (тоже достоинство того времени: не надо было сговариваться, чтобы оказаться в сговоре). А оно опять не вышло.

Не добрав, мы продолжили на свободе. Я рассказывал ему о ненаписанном романе, и он меня критиковал как профессиональный военный – за неточность в подборе оружия для моего террориста. «Не верю!» – воскликнул он по-сталински. «А право художника!» – отбивался я.

Кончилось это гомерическим взрывом хохота, от которого я и проснулся. Виквик в том же кителе, а я в детской кровати, и ноги торчат сквозь решетку.

Оказывается, я привел его на квартиру брата (семья была на даче, а у меня были ключи), ему как старшему и гостю уступил единственное ложе, а сам рухнул в кровать племянницы.

Так закончилась наша встреча с Политбюро. Я так и не исполнил свой бумажный террористический акт, а Виквик, будучи с фронтовых лет членом партии, подписал-таки (чуть ли не единственный в Ленинграде) письмо в поддержку письма Солженицына, порожденного тем же съездом.

Вот офицерская честь, что превыше свободолюбия!

Виквик не был свободным, а потому был способен на поступок, а не на риск.

Потертый мундир сковывал его прозу. Он требовал от нее соответствия образцам, которые считал недостижимыми: русской классики и единственного современника, Юрия Казакова. Свободу Виктор Конецкий обрел, сменив потертый уже сюртук писателя на новенький мундир штурмана, то есть вернувшись на флот. Он перестал разрываться на память и текст, перестал требовать от текста надраенности, а от памяти преданности морю. Его книги продуло свежим ветром настоящего времени – таковы стали его «Соленый лед» и «Между рифов и мифов». И его снова стало можно приревновать и даже позавидовать полноправию его формы, как внешней, так и внутренней.

Никто тогда это так не истолковал, что он вернулся в морскую профессию, чтобы сохранить верность писательскому призванию. А это было то офицерское мужество, с которым он переплывал застой и все искушения официальной карьеры, которая ему вполне предлагалась. Но он обошелся без секретарства, орденов и премий ради того, чтобы писать лучше.

P.S . Пока я тянул с этим текстом, случилось 60-летие Победы, не менее дорогое для меня, чем день рождения Пушкина. Я все-таки не могу сдерживать слез, когда слышу «Вставай, страна огромная...» Я наливаю себе незаслуженные фронтовые сто грамм и звоню тому, кто меня поймет. Так я звонил в Ленинград и выпивал по телефону с Александром Володиным или Виктором Конецким в былые годы.

Их нет у меня.

О так называемых «неприятных» словах⁴

1–2⁵. Помню, бабушка со смехом рассказывала, что в семье мужа (моего деда, успевшего умереть до революции) считались неприличными слова *жених* и *фрамуга*. Наш дом был как раз с фрамугами – прабабушками *стеклопакетов*.

⁴ Для журнала «Esquire».

⁵ Здесь и далее – количество подставляемых читателем слов (примечание. – Ю. К.).

Очень неуклюжая вещь, вроде большой форточки. Замок ломался, и веревка обрывалась... Про *жениха* комментариев не имею.

Но это семейные игры. Для *бывших*. Для Набокова.

Плохих слов нет. Все зависит от интонации и контекста. От частоты употребления и уместности злоупотребления. Так что не слова виноваты, а мы – перед словами. За неточное, за неправое употребление. Язык есть Богом данный детектор лжи. Все, что мы захотим скрыть, все, что будет сказано с корыстью, с целью показаться не тем, что ты есть, сделает неприятным ни в чем неповинное слово.

3. *так называемое...* Самым употребимым знаком препинания Третьего рейха оказался вовсе не восклицательный знак, а кавычки. Недалеко ушли и мы во времена нашего тоталитаризма: все *так называемое* было родом устных кавычек. Так называемым становилось все, что не подходило под идеологические цензы. «Так называемая “свобода слова”... тут было мало одних кавычек.

4–14. *приличнѣй, -ая, -ое* – как антитеза неприличному очень неприятное слово. По-видимому, русский язык по природе застенчив и целомудрен, потому и выделил все, что надо, в подцензурную область мата. Матерные слова нельзя писать и произносить публично, но вы попробуйте выполнить в России хоть какую физическую работу без *матерка*. Матерок, как ветерок, безгрешен.

На бумаге – труднее. Все возможные замены на медицинскую терминологию, как и детские ласковые заменители, звучат куда похабнее, чем те слова, которые они заменяют. Так и подозреваешь всех, употребляющих *приличные* слова, в том, что у них только одно на уме. Я, на вскидку, поставил здесь 4–14, всего десять слов, являющихся *приличными*. Мне не под силу написать здесь ни одно. Могу написать *член* партии, без партии не могу. Русская литература оказалась в безвыходном положении. Она слишком честна.

15–30. *сука, козел, свинья...* Хватит оскорблять животных, награждая их собственными свойствами! Все слова, произносимые с целью унижить человеческое достоинство, то есть с определенной интонацией, становятся оскорблениями, то есть нехорошими словами: *дурак, умник, интеллигент, писатель* и т. д. Мне не нравятся слова *интеллектуал* и *менталитет*, и я знаю почему, то есть могу их употребить лишь изредка и в определенном контексте.

31–40. *парадигма, курс* и т. п. – не люблю модную интеллектуальную терминологию, потому что слово доводится до утраты всякого смысла, остается одна лишь принадлежность и посвященность пишущего. Раскрыл случайно Даля, наткнулся на *семиотику*... Вовсе не новое оказалось слово: *врачебная наука, о признаках болезни*.

30–50. *Аббревиатура* – оспа языка. Сокращения все неприятны – приоритет согласных.

Обращали ли вы внимание, что, если лишить слово «Россия» гласных и оставить одни согласные, ССР и получится? При мне появилось еще одно С, в связи с окончательной победой социализма. Эти удлинения аббревиатур характерны для эпохи. Была Октябрьская революция – мало! Октябрьская социалистическая революция – мало! И – что с большой, что с маленькой буквы?.. – опять чеши репу. Стала Великая Октябрьская Социалистическая революция – вроде как раз. «Поздравляю! – сказала одна учительница русского языка. – У нас появилось новое сокращение – ВОСР!»

Этот лязг военизирован: ДОТ, ППШ, НИИ, ГАИ – еще куда ни шло. Однако ВОВ никуда не годится, потому что война эта и впрямь и великая, и отечественная. И «ВеКаПе, – как говаривал один мой друг, – и ма-ленькое «бе». При мне это стало КПСС («Славу Метревели знаю, Славу Капезэс не знаю», «Что такое КП? В СС я уже був», – немедленное эхо анекдота того времени). Возможно, эта оскомина от Советской власти, но ГИБДД уже буксует по бездорожью. А ВВП! А тем более *удвоение ВВП!* – нормальные люди не поняли, что такое, а чиновники побоялись услышать, что это, прежде всего, инициалы Президента. Или РПЦ...

«Захочет Господь наказать, отнимет разум». Разум – это язык, слово, слух.

Однажды пораженный слух остался прежним. Например...

51–100. *истинный* – с каких пор это определение стало антитезой **неистинному**, а не наоборот? *Это я вам в истинном смысле слова...* – можно прибавить теперь и к *демократии*, и к *гласности*, то есть все слова стали неистинными. *Товарищ* перестал быть товарищем и не стал *господином*.

То же – *естественный* как противоположность **неестественному**, а не наоборот.

(Ахмадулину избрали в РАЕН – Российскую Академию естественных наук... «А что, разве бывают науки неестественные?» – сказала она.)

101. *язык* – очень неприятное слово, когда означает мясо. По-старославянски язык – это народ. «Ничего более русского, чем язык, у нас нет», – легко было сказать. *Русский квас* – бессмысленное сочетание: он и так русский. Не отсюда ли *квасной* патриотизм как синоним *истинного*?

«Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». (Александр Пушкин).

Формула третины⁶

Стоило мне решительно вывести поверх страницы это название, вдохновившись по поводу незначительного, точечного события, от которого во все стороны расползались события грядущего дня, стоило мне внезапно приподняться на гребень волны *новой* прозы, как позвонила Розмари Титце, строго напоминая, что dead line предыдущего текста (вот этого предисловия) давно прошел, что издательство как бы нетерпеливо ждет, и она опаздывает.

Если я опаздываю – значит, еще успеваю. Спешу. Вот формула катастрофы!

Я как раз об этом и начал было писать... О том, как некий герой торопится на некое заседание некоего жюри, чтобы присудить кому-то деньги, которые ему самому не помешали бы, потому что ему как раз надо передать значительную сумму семье, живущей в другом городе, потому что как раз подходящая okazия: крестница в этот город как раз сегодня и едет и вот сейчас должна забежать, перед тем как он помчится на свое жюри... Какой это все, однако, вздор! И крестница не пришла, и на жюри опоздал. А написать я хотел ни мало, ни много о том, что граница времени и пространства таки существует, потому что исчезает каждую секунду. Что именно в этой границе существуют добрые фокусники и злые воры, политики и полководцы, а для нормального человека попасть в эту границу – катастрофа... Я вдохновлялся и уже видел последнюю страницу: она была устра-

⁶ Послесловие к нем. переводу новеллы «Вкус»: Andrej Bitow. Geshmack. Novelle Deutsch von Rosemarie Tietze. – Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004.

шающе прекрасна! Там, в самом конце повествования, которое заканчивал мой герой, начинало что-то тревожиться, потрескивать, лопнули обои, по стене медленно и нежно поползла трещинка, и вдруг – шире и громче! – как ветвь, как дерево, как молния, как догадка, как мысль!! Оставалось лишь дописать последнюю фразу... Так я замахнулся и промазал. Мимо *нового*. Все о том же.

Опять предисловие!

Почему оно пишется всегда после, а ставится перед?

Предисловия – бич писательского возраста. Пока задумаешь, пока напишешь, пока опубликуют, пока издадут, пока переиздадут, пока переведут... глядь, и дети уже немолодые люди, и приходится объясняться, о чем, бишь, все это.

Да все о том же!

«Вы думаете, время идет? Безумцы, вы проходите!»

Впрочем, закон этот не работал в эпоху Брежнева.

«Вкус» был задуман в 1965 году, оплодотворен некими похоронами в 1976-м, написан в катастрофических обстоятельствах, на чемоданах, в одну летнюю ночь 1980-го. Ночь была последней: нас выселяли из дома, в котором мы прожили сорок лет (смотри «Рассеянный свет» в «Грузинском альбоме»). Торопился: хотел закончить растянувшийся на двадцать лет роман-пунктир «Улетающий Монахов» там же, где его начал. «Вкус» как раз и являлся его последней повестью (каждая часть или глава романа, являясь продолжением, могла существовать и отдельно, как самостоятельное произведение). «Вкус» – это катастрофа, как по сюжету, так и по смыслу. У немцев не было всех этих обстоятельств: роман у них вышел в том же 1980 году, без своего финала, без катарсиса и катастрофы, под названием «Die Rolle».

Не знаю, имеет ли слово «вкус» то же многозначение, что и по-русски... Одно мне ясно уже в наше с вами время, в 2004 году: нас – много, нас – все больше, поэтому нам все больше нужно и все того же. Поэтому же из жизни все более удаляется вкус. Как пищевой, так и духовный. От качества продукта это зависит во вторую очередь. В первую – мы разучаемся его чувствовать, ощущать.

Еще бы! Именно сейчас, отложив в сторону вдохновенно начатую «Формулу трещины», убедившись в том, что и старый «Вкус» того же вкуса, окончательно опаздывая с этим предисловием, я вынужден его не окончить, потому что по телевизору передают чудовищную новость о катастрофе аквапарка в Москве.

13 февраля 2004, черная пятница.

Памятник «Веничка»⁷

Обидно, жаль, но, что поделаться, гений...

Белла Ахмадулина, из разговора

Первый памятник писателю в России был «Дедушке Крылову»⁸ (1769-1844) в Летнем Саду в Петербурге (баснописцу, русскому Эзопу и Лафонтену, первому поэту, еще до Пушкина заговорившему живым русским языком в печати). Власть поддержала волю народа. Памятник изваял барон фон Клодт, из русских немцев.

Власть в России всегда, особенно в советское время, пристально следила за так называемой «монументальной пропагандой», писателей это

⁷ Текст для программы к берлинской постановке пьесы «Шаги командора».

⁸ Ошибка. Первый памятник был Н.М. Карамзину.

касалось в первую очередь, и уж «воля народа» учитывалась тут в последнюю очередь.

Тем удивительнее явление, родившееся еще в застое, – именно народная воля в установке памятников писателям, причем незаконным классикам.

Так в Москве скоропалительно, всенародно, минуя власти, сразу после смерти поставили за последнее время три памятника: Владимиру Высоцкому (1938-1980) – великому барду эпохи застоя, прозаику **Венедикту Ерофееву** (1939-1990) и поэту Булату Окуджаве (1923-1997). Между прочим, лишь *после*, поставили наконец памятники Достоевскому (1821-1881): в 1997-м – в Петербурге и Москве и Осипу Мандельштаму (1891-1938): в 1998-м – во Владивостоке, где он погиб.

Сейчас вовсю собираются поставить памятник Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому (1940-1996). И это все, уже в силу гласности, лишь с благоволения властей.

Если писателям ставят памятники, значит, роль литературы в России все еще есть, хотя литература кончилась, как утверждают постмодернисты, одновременно торопясь выдвинуть Венедикта Ерофеева себе в основоположники.

Дело в том, что Вен. Ерофеев начал с того, что, минуя эпохи и собрания сочинений а ля великий писатель, написал не что-нибудь, а сразу литературный памятник, памятник литературы, – поэму «Москва – Петушки» (1969) текст на шестьдесят машинописных страниц об алкоголике Веничке, который сначала никак не может попасть к Кремлю, а потом никак не может доехать до Петушков, к любимому сыну, каждый раз оказываясь лишь на вокзале, где в конце поэмы и погибает от рук злодеев, вонзивших ему шило в горло (сам автор умрет от рака горла). Текст этот тут же разошелся в самиздате и был переведен (несмотря на полную теоретическую невозможность достигнуть адекватности) на все возможные языки. До него только одно произведение русской прозы называлось поэмой – это «Мертвые души» Гоголя.

Вен. Ерофеев не то чтобы этого не знал, он сразу с этой амбиции начал и ее выдержал. (Он вообще был большой знаток культуры, особенно музыки и поэзии).

Возникла проблема, что делать дальше.

История русской литературы уже знала случай такой внезапной гениальности: дипломат Александр Сергеевич Грибоедов (1795-1829) написал вдруг комедию «Горе от ума», которой позавидовал по-своему даже Пушкин: «О стихах не говорю – половина из них войдет в пословицы и поговорки». Эта характеристика полностью подходит и к поэме «Москва – Петушки».

Лучше написать уже было невозможно, надо было писать хотя бы не хуже, что еще труднее.

«Шаги командора» – именно такой подвиг. Гениален, прежде всего, сюжет. Прошу постановщика, а потом и зрителя обратить внимание на то, что гибнущие один за другим герои *знают*, на что идут. Но это и не самоубийство, а – выход. Алкоголизм у Вен. Ерофеева – это не порок и не романтика, а путь, духовность которого является условием, а не оправданием. Сам он прошел этот путь с великой последовательностью.

Как-то он вдруг решил наведать меня в Москве; открыла ему моя бывшая жена, большая его поклонница, сообщила, что я здесь больше не проживаю. «Лучше бы он не уезжал из своего Питера, – сказал он в сердцах, – и спился там!»

В последнем интервью, уже в больнице, с вырванным горлом, на вопрос, как он относится к своим коллегам-современникам, он выдвинул свою жесткую классификацию: кому бы он сколько налил. Не упоминаю здесь тех, кому бы он даже мочи не налил... Белле Ахмадулиной он налил бы ста-

кан с верхом, мне – на три четверти... Не обижаясь на такую дискриминацию, я здесь наливаю ему полный.

Будучи visiting professor в Штатах, я дал «Москву – Петушки» своим аспирантам в качестве обязательного чтения. Что могли они понять, эти витаминные дети, с обратной стороны Луны?! К моему удивлению, они были в восторге.

Один тореадор из народа сказал как-то всемирно прославленному пианисту: «Ты думаешь, кто-нибудь понимает наше искусство? Но, знаешь, есть один закон: если мы делаем что-нибудь действительно замечательно, почему-то понимают все».

Утроение Пушкина⁹

Иль пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья.
Вот счастье, вот права!

0

Будто между нами и Пушкиным всегда кто-то третий: то Дантес, то «памятник нерукотворный», то иллюстратор...

Чем больше мы недоумеваем, почему Пушкин не так же прославлен на западе, как у нас, тем более убеждаемся, что и та слава, которая есть, досталась ему через оперы Чайковского. Почти все его произведения так или иначе «прооперированы» в музыке. Но и оперу еще надо поставить, а романс исполнить.

Само собой, русское изобразительное искусство тоже не осталось в стороне.

Не говоря о декорациях и костюмах...

Попытка донести до других, что такое Пушкин, столь же общенациональна, сколь индивидуальна. Но и попытки всех смежных искусств, включая балет и скульптуру, только умножили имя поэта, а не раскрыли его. Это он им помог, а не они ему. Сколько Пушкина ни дополняй... а у него все равно больше.

И если музыка, сама по себе, может оказаться прекрасной, то с иллюстрированием значительно сложнее: тут вам видение и образ внушаются и даже навязываются с гораздо большей непосредственностью, чем в музыке. Начиная со «Сказок Пушкина» в детстве...

Жил старик со своею старухою...

Почему они именно такие?? Восприятие текста оказывается парализованным на всю жизнь толкованием художника.

Вы сейчас держите в руках тройной шедевр – замысла, выполнения и понимания – книгу. Тут у меня как у противника, в принципе, иллюстрирования текста не возникает возражений. Попробую сам с собою разобраться, почему.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет...

Разумеется, Мандельштам имел в виду гравюру. *Стафилинность* есть как бы ее признак. «Маленькие трагедии» удалены и во времени и в пространстве на несколько веков не только от нас, но и от Пушкина.

⁹ Предисловие к «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина с гравюрами Фаворского. – М.: Фортуна ЭЛ, 2005. (Серия «Книжная коллекция»).

1

Попробуем задать несколько вопросов самому Пушкину:

Зачем он перенес время и место действия в другие эпохи и страны?

И разве они такие уж *маленькие*, эти трагедии?

Во-первых, большую трагедию я уже написал (сказал бы Александр Сергеевич, имея в виду народную драму «Борис Годунов»). Не исключено, что именно следом была писана «Сцена из Фауста», которую по жанру так и тянет внести в список «маленьких трагедий» как родоначальницу (что и проделывали В. Ходасевич и ряд других составителей). Потом АС написал и «маленькую комедию»; пародию на шекспирову «Лукрецию»... Сколько можно было еще продержаться «в духе шекспировом»? Пришлось минимализировать замыслы, их было слишком много, делить на три.

Да и сами посудите: разве может один человек, даже Пушкин, написать столько, сколько в одну Болдинскую осень 1830 года? Пришлось себя разделить на троих: на Белкина, чьи повести, на переводчика, чьи трагедии, и что-то написать самому, скажем, «Бесы»... или вдруг про Балду. Тоже выбор... Пришлось писать втроем, в три руки, то один, то другой, то третий.

Любой нормальный писатель, тем более Пушкин, не пишет сам: за него пишет *автор*.

2

У автора из-под руки выползает строка, над ней склонилась его курчавая голова, над которой витает маленькое божество, именуемое Гений. Тоже, между прочим, три уровня.

И вот текст ложится на бумагу плоско, будто ничего этого не происходило.

«Идеальная иерархия слов», – определил феномен Пушкина Лев Толстой. Точнее не определил никто.

И где она? Слова лежат на плоскости равноправно, одна лишь их последовательность иерархии не обеспечит. Ее обеспечивает третье измерение, невидимое, но возрождающееся в читателе: расстояние до найденного слова, некая проекция вдохновения. Текст – это объем, тело. Оно движется, набирает скорость. Текст – это вид энергии.

Она-то и передается читателю: чтение – это соавторство. Энергия эта пробуждается в душе читателя как сопереживание мысли и чувства, которые посетили давным-давно совсем другого человека.

А на бумаге по-прежнему все спокойно: буква за буквой – слово, слово за слово – строка, строка за строкой – страница.

С кем и как поделиться впечатлением? Впечатление – это второе прочтение, когда книга дочитана до конца. Она снова обретает объем, но объем в сознании. Он больше, чем кирпичик захлопнутой книги. Художнику даруется возможность интерпретации. Остается выбрать технику.

Рисунок? Акварель? Гравюра? Казалось бы, на то воля самого художника. В конце концов у кого что лучше получается...

Волен ли и сам Пушкин выбирать жанр? Но именно «Повести Белкина» – проза, а «Маленькие трагедии» – драматургия. Я уже неоднократно приходил к идее, что творческие взрывы Пушкина суть его глубокие душевные кризисы, или восстания, когда он не знал, как жить дальше: то ли жениться, то ли за границу сбежать, то ли засесть писать. Игрок и фаталист в нем дополняли друг друга. Можно выстроить параллельно «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» и интерпретировать их как варианты выбора судьбы – матримониальной или поэтической. Внезапно написанная «Сказ-

ка о попе и работнике его Балде» – вещь не столь уж шуточная: «Ну, а с третьего щелчка вышибло ум у старика». Сказка эта открывает жанр «неволшебных» сказок (скорее, притч), продолженных впоследствии «Сказкой о рыбаке и рыбке» и «Сказкой о золотом петушке» (между которыми, что еще ироничней, поместится «Петербургская повесть»). Выходит, в ту же Болдинскую осень 1830 года утраивает проблему выбора (варианты ставок): о небесплатности любого предложения и выигрыша, о расплате.

Пушкин пишет о выборе, порождая жанр; художник выбирает технику, чтобы этому просоответствовать.

Как нелепо переписать «Повести Белкина» как драмы, так нелепо наоборот себе «Маленькие трагедии» прозой. Так же и выбор техники для художника, берущегося эти тексты иллюстрировать. «Хорошо представляю себе, как иллюстрировал бы «Золотую рыбку», но как, например, «Онегина»?» – задумывается художник.

3

У Пушкина красивый почерк, черновики его прекрасны и с точки зрения графики, и тут он любого графика переубедит. Но если талантливый график еще может попытаться проиллюстрировать прозу Пушкина, то с драматургией куда сложнее, даже невозможно. Может, оттого, что графика ложится на бумагу почти так же плоско, как текст? Драматургия же подразумевает объем еще и в пространстве сцены.

Мы говорили о букве, слове, строке, странице... Вот с буквы и начнем. У нее есть высота, ширина и глубина. Попробуем измерить глубину – прорвем бумагу. Пушкин бумагу не рвет. Почерк его летит. И вдруг – вензель, то ли от задумчивости, то ли от счастья.

И тут мы приходим к идее гравюры. Зачем такая усложненная техника? Зачем воспроизводить все в обратном порядке, как в зеркале? Зачем прорезать столь неподатливый материал, вплоть до стали? Зачем прибегать к средневековой алхимии, азартно ожидая оттиска?

Выходит, чтобы вернуть слову его объем и глубину, утраченные в книге, но восчувствованные художником.

Вот зачем понадобился Пушкину Фаворский!

«... читаю Пушкина и прихожу от него в восторг...» Пасха, 1912 (с.108)¹⁰

«У меня раньше мурашки бегали, когда стихи читали...» 19.X.1946 (с.51)

«...делаю кое-что для Пушкина в Детгизе» 4.XI.1949 (с.166)

«Работаю сейчас над «Маленькими трагедиями» Пушкина. Гравирую Скупого, Моцарта и т. д. Делаю отдельную книжку для Гослитиздата. Что-то выйдет?» 30 апр.1959 (с.179)

«...картина похожа на рассказ, начатый с конца», – замечает художник. (с.64)

Но ведь так и с замыслом рассказа... Это потом он переворачивается в последовательность текста. Выходит, гравировщик воспроизводит технику письма.

Зеркально.

Так, кстати, и родилось книгопечатание: вырезание букв наоборот. Драматургия процесса воспроизводит драматургию содержания. Зеркально.

Да не очень...

«У меня был хороший Дон-Жуан, эскиз. Донна Анна на коленях молится, а Дон-Жуан тоже на коленях изъясняется ей в любви. В издательстве мне сказали: на коленях нельзя, она молится – нельзя. Пришлось делать по-другому...

¹⁰ Высказывания В.А. Фаворского даны из книг «Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы выступлений» 1991 г. и «Об искусстве, о книге, о гравюре» 1986 г. (обе книги – Издательство «Книга», Москва).

Надо было делать «Пир во время чумы» Пушкина, но сказали: «Зачем делать английский город? У нас столько хороших русских городов...» Ну я сделал пустой английский городок» 27.11.1951, сс. 58-59.

Приятно иметь дело с умными людьми!

Цитата (сс.102-103):

«...лопаты, факелы и розы» – надгробие мастера. Между ним и Пушкиным уже никого нет – только мы.

О пушкинских цитатах и о новой Пушкинской премии

Это нам только кажется, что мы про Пушкина знаем все. На самом деле мы не знаем даже размера его ботинок.

Мы отмечаем день его рождения и смерти. Эти даты в советское время были возведены в ранг национальных праздников. По новому стилю. Сам же Пушкин никогда не рождался в июне и не погибал в феврале: он родился 26 мая и так и думал до конца дней своих, что родился 26 мая. Ведь каждый человек ассоциирует себя и со своим числом, и со своим месяцем.

Кто родился в мае, тот весь век будет *маяться*.

Кстати, и даже не 26 мая он родился, а 27-го. По старому стилю. Родители, как говорят сегодня, *по благу* – по-видимому, батюшка был знакомый, – записали его 26-м, потому что это был день Вознесения. И считалось, что рождение в великий праздник – хорошее предзнаменование. Да и сам Пушкин на протяжении всей жизни очень любил праздник Вознесения.

Все случилось в 1799 году, и в последующие годы праздник, соответственно, *блуждал* вместе с Пасхой, но тем не менее Пушкин, собираясь жить подольше, даже хотел возвести храм! Так что учитывать точную дату рождения – достаточно существенно.

Погиб Пушкин тоже – 27-го числа. Его подстрелили. 29-го он умер. Числа сакральные для русской истории литературы, в них почему-то много людей ушло: Петр, Достоевский, Бродский...

По моим предположениям, Пушкин, занимаясь до последнего часа Петром, вполне мог помнить, что сам он умирает именно в петровские дни. Модели поведения Пушкина и Петра параллельны – в них есть перезвон *исторический*.

Любопытно: когда всё пересчитали (и даже Октябрьская революция стала праздноваться в ноябре), не пропали две даты: 19 октября и 14 декабря. Мне кажется, тоже благодаря Пушкину. Настолько они вошли в его текст. Иные, быть может, более важные даты оказались *наименее* существенны: поле его текста их просто похоронило.

... А все-таки представляете, если бы 19 октября праздновалось 1 ноября?

Получилось так, что отменили государственную Пушкинскую премию и немецкую Пушкинскую премию, которую еще раньше основоположил меценат Альфред Топфер. Эти премии завершили свой круг. И вот теперь хороший человек – Александр Жуков, геофизик, составивший себе состояние в новых условиях, любящий поэзию и решивший такую премию учредить.

Сразу же возник спор о датах.

В жюри немецкой Пушкинской премии мне удалось перенести вручение именно на 26 мая, что немцы очень охотно поняли и приняли. По идее, 26 мая и нужно оставить в нынешней премии. Но в этом году опоздали немного, а надо вручить именно *в этом году*. Тогда мое новое более менее хулиганское предложение было таким: давайте вручать 7 ноября. Если считать по старому стилю, то это вовсе не дата Великой Октябрьской революции! 7 ноября был закончен «Годунов». Пушкин перечитал, хлопал в ладоши и сказал: «ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Тут же засмутились многие, убоились «сукиного сына».

Тогда остается 19 октября – слишком забитое разными премиями календарное число. В том числе – и Царскосельской питерской, хотя она и отличается от Пушкинской премии.

В конце концов решили, что в этот раз новая Пушкинская премия будет вручена 31 октября (день окончания «Медного всадника»). И это решение – окончательное.

Первым лауреатом стал Сергей Георгиевич Бочаров, отметивший не так давно свое 75-летие ученый-литературовед, обладающий абсолютными качествами и достоинствами первого лауреата новой Пушкинской премии. Он замечательно совмещает в себе проникновенность читателя, точность ученого и достоинства литературного слога. Он – эдакий *писатель* в своей области.

Думаю, что почин может быть продолжен с неменьшим достоинством!

27 июля 2005 года.

Записала Юлия КАЧАЛКИНА



Арсений ТАРКОВСКИЙ

Дымилась влажная земля...

Незадолго до начала войны, 3 марта 1941 года Арсений Тарковский переписал в беловую рабочую тетрадь семьдесят одно стихотворение, самое раннее из которых было написано ровно двенадцать лет назад: в 1929 году, тоже 3 марта. К заветной тетради поэт вернулся через месяц после Победы: 8 июня 1945-го были набело переписаны еще около сорока стихотворений. Между двумя этими датами Тарковскому пришлось пережить многое: эвакуацию, смерть Марины Цветаевой, с которой поэт связывала близкая дружба в 1940-1941 годах; потом был фронт, работа в газете «Боевая тревога», тяжелое ранение, госпиталь, ампутация ноги, гангрена, следом – перелет в Москву, несколько операций. Дальше – долгое выздоровление, непростое возвращение к жизни, к стихам...

Стихотворения для «Боевой тревоги» (а их было напечатано много, около восьмидесяти) писались почти ежедневно, это была честная и нелегкая журналистская работа. Подвиг солдата в только что отгремевшем бою, очередная сводка Совинформбюро, красная дата в календаре – вот события, становившиеся поводом для очередного стихотворения. Преобладание «репортажного начала», подлинны имена героев (в обоих значениях этого слова), интонация громогласного призыва – все это так далеко от поэтики «подлинного» Тарковского! Впрочем, слышатся в этих стихах и совершенно «невоенные» интонации, порою причудливо переплетенные с фактами и деталями фронтовой жизни:

...И пели птицы, и такое
Свеченье в лес проникло вдруг,
Что, мнится, славил героя
Природа, певшая вокруг.

Иногда военные реалии и вовсе отходили на второй план, память о прошлом становилась равновеликой «фронтовым» впечатлениям – война уступала место приметам органической жизни человека в мире природы:

... Снится мне – на волосы твои
Пчелы прилетали в забытыи.

Кроме напечатанных в армейской газете, Тарковский писал на фронте и другие стихи, не предназначенные для печати. Это было делом привычным: ведь помимо преимущественно журналистских стихотворных публикаций в газете «Гудок» до войны ему удалось опубликовать всего два оригинальных стихотворения¹.

Во фронтовых стихах, не предназначавшихся для «Боевой тревоги», уже не было прямых отсылок к подлинным событиям, в них присутствовали совсем иные эмоции, пережитые не наблюдательным корреспондентом, но человеком как таковым, свидетелем и участником войны. Вот, например, стихотворение, датированное июлем 1943 года, а напечатанное впервые только посмертно, в 1990-м году:

¹ Тарковский А. Свеча («Мерцающая желтым язычком...») // Две зари. М., 1927. С. 37; Тарковский А. Хлеб («Тяжелые кирпичные амбары...») // Прожектор. 1928. № 37. С. 22.

Не стой тут,
 Убьют!
 Воздух! Ложись!
 Проклятая жизнь!
 Милая жизнь,
 Странная смутная жизнь,
 Дикая жизнь!
 Травы мои коленчатые,
 Мои луговые бабочки,
 Небо все в облаках, городах, лагунах и парусных лодках.

Дай мне еще подышать,
 Дай мне побыть в этой жизни безумной и жадной,
 Хмельному от водки,
 С пистолетом в руках
 Ждать танков немецких,
 Дай мне побыть хоть в этом окопе...

...Но вернемся в июнь 1945 года, когда поэт спустя пять лет снова стал вписывать стихи в беловую тетрадь. Тарковский был полон надежд: в издательстве «Советский писатель» готовился к выходу в свет его первый сборник – «Стихотворения разных лет». В самом конце тетради Тарковский совершает единственную в своем роде попытку адаптировать стихи из фронтовой газеты к «условиям мирного времени». Несколько стихотворений из «Боевой тревоги» перерабатываются для будущей книги.

Вскоре (после одиозного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года) печатание книги было остановлено. Поэту пришлось ждать ее выхода еще шестнадцать лет. Однако сохранившиеся переработки избранных фронтовых стихотворений способны очень многое рассказать о переломном моменте в жизни Тарковского, когда он пытался навести мосты между стихами, предназначенными для армейской печати, и другими, публикация которых была отложена на долгие годы.

Из пяти фронтовых стихотворений, которые А. Тарковский перерабатывал для книги в июне 1945 года, здесь приводятся три, причем одно из них («Я отомщу») не печаталось никогда, другое («Слава полка») при жизни автора было воспроизведено лишь однажды – в 1979 году, в тематическом сборнике военных песен; наконец, «стихотворение «Сержант Посаженников» было опубликовано в 2003 году без заглавия и в позднейшей текстовой версии. Очень важно увидеть рядом обе редакции каждого из стихотворений: тогда логика авторской работы над текстом становится очевидной². Стихотворения становятся более лаконичными, отступает на задний план связь с конкретными фронтовыми событиями, прославление героев дополняется чувством непреодолимой боли, ощущением тех глубин жизни, на которых уже невозможно отличить «поражения от победы» – в буквальном, военном смысле обоих слов.

В более поздние годы Тарковский пережил несколько периодов интенсивного возвращения к испытанному на фронте. В одном из интервью поэт высказался предельно отчетливо: «На войне я понял, что скорбь – это очищение». Переживания военной поры, запечатленные в непроизвольных на первый взгляд газетных стихотворениях, оживают снова и снова, становятся одним из важнейших поводов для очистительной скорби – ключевой лирической эмоции зрелого Тарковского:

Когда была война, поистине, как ночь
 Была моя душа.
 Но – жертва всех сражений –
 Как зверь, ощерившись, пошла добру помочь
 Душа, глотая смерть, – мой беззащитный геній...

Дмитрий БАК

² Датировка переработанных стихотворений приводится по рабочей тетради А. Тарковского.

Сержант Посажеников³

Не любит враг встречаться с нами,
Бойтся русского штыка.
И знает он: богатырями
Земля советская крепка.

А ты с врагом сходишь вплотную,
Неравной схватки не страшись,
За нашу родину святую,
Как Посажеников, дерись.

Что смерть? За Русь, за полководца,
За жизнь он отдал жизнь свою.
Победа даром не дается,
А добывается в бою.

Что смерть? Нет смерти для героя,
Он только входит нам в сердца,
Он не уходит с поля боя,
Он будет с нами – до конца.

Он, став легендой, вернется
В родимый дом, в свою семью.
Победа даром не дается,
А добывается в бою.

Не даст своей земли в обиду
Врагу заклятому вовек
Такой обыкновенный с виду,
Простой, душевный человек.

Такой врагу не даст покоя,
Его зовет на подвиг месть,
И все его бойцы – герои,
Пусть у него их только шесть.

И вражьей крови столько было,
Что стала рдяною земля,
И солнце летнее всходило,
Сияли дальние поля,

И пели птицы, и такое
Свеченье в лес проникло вдруг,
Что, мнится, славил героя
Природа, певшая вокруг.

Сержант Посажеников

За край родной, за полководца,
За жизнь он отдал жизнь свою.
Победа не дается даром,
А добывается в бою.

Что смерть? Нет смерти для героя,
Он только входит нам в сердца,
Он не уходит с поля боя,
Он будет с нами до конца,

Сказаньем станет и вернется
В родимый дом, в свою семью.
Победа не дается даром,
А добывается в бою.

Простились мы с его могилой.
Дымилась влажная земля,
И ранняя заря всходила
Из-за седого ковыля,

Летали птицы, и такое
Свеченье в лес проникло вдруг,
Как будто бы испытать покоя
Дала ему из чистых рук
Сама природа, после боя
В слезах поющая вокруг.

Июль 1942

³ Боевая тревога. 1942. № 203 (597). 30 июля.

Я отомщу⁴

* * *

Он построен был с таким трудом,
Мой родной, гостеприимный дом.

И теперь я вижу сад во сне –
Яблоневый, белый по весне.

В этом доме ты со мной жила.
Ты была, как этот сад, светла.

Выходила утром на крыльцо,
Подымала милое лицо.

Снится мне – на волосы твои
Пчелы прилетали в забытьи.

И еще, когда глядела ввысь,
Над тобою ласточки вились,

Снится мне в траве твой узкий след.
Дома нет и сада тоже нет.

Вытоптана, выжжена трава.
Ты в плену. Ты в рабстве. Ты мертва.

Горло жжет мне жажда. Но всегда
Мне соленой кажется вода,

Как полынь – мне хлебнасущенный мой,
Желт и черен небосвод дневной.

Всюду слышу я твой легкий шаг,
Только громче кровь шумит в ушах.

На золе твой узкий след ищу.
Я запомнил все. Я отомщу.

Он построен был с таким трудом,
Светлый мой, гостеприимный дом.

И теперь я вижу сад во сне –
Яблоневый, белый по весне.

Снится мне – на волосы твои
Пчелы прилетали в забытьи,

А когда ты взглядывала ввысь,
Над тобою ласточки вились.

Вытоптана, выжжена трава.
Ты в плену, ты в рабстве, ты мертва.

Горло жжет мне жажда, но всегда
Мне соленой кажется вода,

Как полынь, мне хлебнасущенный мой,
Желт и черен небосвод дневной.

Подойди ко мне – и штык в крови
Словом и крестом благослови.

1941

⁴ Боевая тревога. 1943. № 166 (914). 13 июля. № СХ.

*Слава полка*⁵

* * *

Танки ходят под горою,
Нас немного – что ж такое?
Насмерть бейся, как герой:
Наше знамя полковое
Полыхает над горой.

Танки ходят под горою,
Самолет над головою,
Смерть – над выжженной травой.
Наше знамя полковое
Полыхает над горой.

Как насели немцы снова,
Дали мы друг другу слово
Ни на шаг не отойти.
И гвардейцам Кузнецова
Нет обратного пути.

Пуля вражеская ранит,
Бомба грянет, сердцу станет
Уж совсем невою, ^т
Тут солдат на знамя глянет
В голубую высоту.

Пуля вражеская ранит,
Бомба грянет, сердцу станет
Уж совсем невою, ^т
Тут солдат на знамя глянет
В голубую высоту.

Знамя там же, где и было,
И опять живая сила
Птицей вскинется в груди:
Может, вправду, не могила,
А победа впереди? *

Знамя там же, где и было,
И опять живая сила
Птицей вскинется в груди –
Не безвестная могила,
А победа впереди!

*10 июля 1942
Высота 216, под Колодезями*

Славься, знамя полковое!
Небо русское, родное
Розовеет над горой.
Мы несем тебя из боя
С новой славой в новый бой.

*Публикация Марины ТАРКОВСКОЙ
и Дмитрия БАКА*



⁵ Боевая тревога. 1943. № 200 (948). 20 августа. С. 1

Владимир ЗАБАЛУЕВ, Алексей ЗЕНЗИНОВ

Verbatim

Вместо введения:

британская история с русской предысторией и русским продолжением

Среди многочисленных драматургических техник, предложенных российской аудитории за последние десятилетия, одна получила наибольший резонанс. А именно – *вербатим/verbatim*. Слово «verbatim» – латинского происхождения, в переводе на русский означает «дословно». Суть жанра состоит в том, что драматург или группа драматургов записывают на диктофон интервью у представителей определенной социальной группы, расшифровывают записи и затем, сокращая и монтируя, создают связный *драматургический* текст.

В конце 90-х годов прошлого века современные драматурги, объединенные вокруг фестиваля молодой драматургии «Любимовка», начали сотрудничать с британским театром «Ройал Корт». ФМД «Любимовка» был основан в 1990 году усилиями успешных драматургов Виктора Славкина, Михаила Рощина, Алексея Казанцева и известных критиков Инны Громовой, Юрия Рыбакова, Марии Медведевой, Маргариты Светлаковой. Фестиваль изначально был ориентирован на поддержку и активное участие драматургической молодежи, и к концу 90-х годов ведущие роли в нем играли драматурги Елена Гремина, Михаил Угаров, Ольга Михайлова, Максим Курочкин, Ксения Драгунская, Елена Исаева, критик Светлана Новикова и другие. Что касается «Ройал Корта», то этот лондонский театр на рубеже веков был (да и остается) единственным в мире театральным учреждением, занимающимся поддержкой и развитием новой драмы не только у себя в стране, но и в мире.

Сами британцы задним числом указывали, что не являются изобретателями жанра, и вербатим пришел к ним из Америки, куда в первой четверти прошлого, XX века был принесен.... откуда? Разумеется, из России! Отечественная критика вспоминала российский революционный театр 1920-х годов, «синюю блузу», «живые газеты». Всплеск интереса к документальному театру был отмечен и в 1980-е годы – достаточно вспомнить спектакли по «ленинскому циклу» пьес Михаила Шатрова и расцвет жанра агитбригад в провинциальных советских вузах.

Сами англичане, несколько удивленные триумфальным шествием вербатима в России, неоднократно подчеркивали: в Великобритании этот жанр носит подчиненный характер и среди новых пьес, которые проходят через «Ройал Корт», вербатим составляет не более пяти процентов. Напротив, в Москве специально под формат вербатима был создан театр документальной драмы – «Театр.doc» в Трехпрудном переулке, ставший на наш, и не только на наш взгляд одним из самых значительных явлений российской театральной жизни начала второго тысячелетия.

Тот вербатим, который утвердился на российской почве, коренным образом отличается от документальной драмы традиционного типа. Старая, классическая документальная драма строилась по следующей схеме: авторы формулировали умозрительную, чаще всего – идеологически ангажированную задачу (например, «показать Ленина как великого государственного деятеля,

но с «человечинкой»), а под эту идею подбирался вспомогательный документальный материал. (В Западной Европе советской власти не было, но, насколько можно судить, идущие там спектакли по вербатимным текстам выдержаны в том же жестко идеологизированном, умозрительном ключе).

В России современной возобладала другая *производственная* схема: авторы определяют интересную им социальную группу, погружаются в эту среду, а затем уже из собранного материала рождается конфликт, сюжет и собственно художественная идея. Грубо говоря, старый документальный театр подготавлил жизнь под идеологему, новый является прямым порождением жизни и ее частью. В современной России, где коммунистическая идеология разрушена, либеральная до сих пор не освоена, а какая-либо третья не родилась, вербатим стал не просто техникой, а целым *направлением* развития драматургии и театра в целом.

Российский вербатим, при всей его внешней социальной заряженности – жанр, который ближе всех стоит к формуле «искусство ради искусства». С той разницей, что вместо умозрительного совершенствования уже существующего и фактически изжившего себя постаристотелевского художественного инструментария он с нуля, на пустом месте, в темноте и на ощупь создает новую эстетику.

Кто-то из критиков сказал, что сегодня единственно возможная политическая позиция – это позиция эстетическая. Нам кажется, что все гораздо серьезнее и заново формирующаяся сегодня эстетика заменяет и покрывает собой всё – политику, религию, идеологию, мораль, философию...

А коль скоро речь идет об эстетике, так чему же посвятить вербатим, как не одной из двух основных категорий любой эстетики – Красоте? В данном случае красоте, носителями которой является реальная, жестко очерченная социальная группа – красавицы. В результате из интервью, взятых у восемнадцати красавиц, и родилась пьеса, спектакль по которой с весны 2005 года идет в Театре.doc.

Правда, жанр пьесы по объективным причинам не мог вместить даже малой части того, собранного в ходе опросов материала. Нам показалось, что новая художественная техника и рождающаяся из нее новая эстетика выходят за рамки собственно театра и способны стать инструментом радикального обновления литературы.

Так сложилась книга «КРАСАВИЦЫ. Verbatim» – совершенно самостоятельное произведение, основанное на материале тех же интервью, но существующее по иным, собственным законам.

Между искусством и масс-медиа

Владимир Забалуев: Новый документальный театр подается и интерпретируется критикой как театр социальный. И это понятно, поскольку первая серия пьес и спектаклей была посвящена маргинальным группам общества и освещала неприглядные, с точки зрения традиционной российской театральной эстетики, события – жизнь женщин-убийц в исправительной колонии, быт раненных солдат-участников чеченской войны, проблемы девочек, переживших инцест с отцами, конфликты в среде московских бомжей-молдаван. Театр.doc в русле российской и советской гуманистической традиции позиционировался в этой связи либо как прикладная, не вполне художественная отрасль искусства, призванная «милость к падшим призывать», либо как полужурналистский репортаж в традициях американских «разгребателей грязи».

Алексей Зензинов: Насколько это сходно с тем продуктом, что производят масс-медиа? Думаю, очень далеко отстоит от них. Масс-медиа в конечном счете озабочены только одним: не превратить бесконечную цепь метемпсихоза. Когда политик перерождается в уголовника, уголовник – в банкира, банкир – снова в политика, когда на ленте новостей ищут все новых и новых подробностей, исключаящих одна другую. Это иллюзия документальности, иллюзия

ответа на то, что волнует людей. Вербатим – возвращение к документу, который самоценен в силу своего существования, а не потому, что призван что-то подтвердить или опровергнуть.

В.З.: И первый же спектакль, посвященный собственно деятелям масс-медиа – «Большая жрачка» Александра Вартанова, Татьяны Копыловой и Руслана Маликова – тому подтверждение! Драматурги, режиссеры и исполнители сами были создателями одного известного скандал-шоу, историю которого показали на сцене. С магнитофонами за пазухой, фактически занимаясь, по их словам, «промышленным шпионажем», они записывали рабочие и рутинные моменты создания этого сверхпопулярного телепродукта.

Казалось, спектакль должен был и сам стать очередным скандал-шоу – только в сценическом формате. На это, по идее, работали такие шокирующие моменты пьесы и спектакля, как сверхизобилие обцененной лексики, натуралистическая имитация «офисного секса», неприглядное раскрытие технологий манипуляции зрительским сознанием и т. д., и т. п. А в итоге получился невероятной смешной и одновременно трагический спектакль о невозможности жизненной самореализации с финалом-катарсисом, которому позавидовали бы авторы античных трагедий.

И вместо быдловатого «среднего класса» потребителей ТВ-продукта аудиторию «Большой жрачки» составили эстеты, креативщики, художественно притязательные представители поднимающейся российской элиты.

А.З.: Вербатим, впрочем, сам по себе не гарантирует художественного успеха. Удачных спектаклей в Театре.doc гораздо больше, чем неудач, но вовсе не в силу безупречности метода. Просто с помощью этой техники многие драматурги совершают погружение в такие социальные и психологические глубины, куда традиционная драматургия не смеет или неспособна заглянуть по той простой причине, что технологически не обновлялась уже полсотни лет (а в широком смысле – со времен Аристотеля). Элемент телевизионных ток-шоу в этих спектаклях не есть что-то имманентное, изначально-врожденно-присутствующее. Просто таким приемом легче спровоцировать зрителя на узнавание. А через узнавание зритель приходит к катарсису – надо же, а ведь действительно, от судеб защиты нет, управляй ты общественным сознанием, как политтехнологи в «Трезвом PR» Ольги Дарфи и Екатерины Нарши, или броди по самому дну мегаполиса, как герои «Войны молдаван за картонную коробку» Александра Родионова.

В.З.: Пьеса в жанре «вербатим», как уже говорилось, создается на основе магнитофонных расшифровок. А магнитофон фиксирует живую речь совсем иначе, чем самая опытная стенографистка. Многие особенности реального говорения, которые в силу господства литературной нормы отсеиваются как брак – повторы, оговорки, избыточные междометия, неправильное управление словами, – при расшифровке могут быть воспроизведены и использованы в художественных целях. И оказалось вдруг, что из этого литературного сора на глазах и начинает рождаться новая живая художественная речь.

А.З.: Ряд театральных критиков поспешил назвать метод вербатима архаичным. Просто в силу того, что фиксировать высказывания твоих героев на диктофон, а потом их резать и монтировать – это якобы признак эпохи, ушедшей от вымыслов. А наша эпоха – другая, она не только не устала от разнообразных *поигрушек*, а, напротив, как раз ищет новых упоительных обманов. На мой взгляд, это чушь! Вербатим, конечно, обнаженно технологичен, за ним не спрячешься с пресловутой «авторской позицией». Хотите морализировать по поводу распушенности нравов и грубости языка – милости просим, пишите свои ХСП (хорошо сделанные пьесы), а здесь – другая территория. Ее надо обживать, осваивать, возделывать, но не пытаться засадить ее какой-то одной культурой. Ни картофелем классической литературы, ни коноплей молодежного сленга.

В.З.: И действительно – понятие литературной нормы на сегодняшний момент тоже дискредитировано. Потому, что тот язык, которому мы научены и которым пытаемся пользоваться в письменной и устной речи, не имеет, как оказалось, никакого отношения к реальности и эту реальность не отражает. Литературные языки нового времени с их жесткой грамматической структурой, ограничительным отбором лексики, принудительным регулированием семантической нагрузки слов, фонетическим насилием были орудием формирования национальных государств и по большому счету обслуживали две социальных страты – бюрократию и работников умственных профессий. Сегодня, в эпоху информационного общества, глобализации и очередного великого переселения народов, бюрократия теряет национальный характер, круг людей умственной профессии слишком широк и дифференцирован, а возможности языковой сепарации отдельных социальных групп и субкультур слишком велики. Плотины литературного языка прорваны, как дамбы в Новом Орлеане, и вода прибывает на глазах.

Точно так же перестает отражать реальность деление литературы на жанры, в частности, на поэзию, прозу, драматургию и т.д. Одна из причин – уход прозы и драмы от повествовательности, *нарративности*, а также от таких отличительных элементов жанра, как сюжет, фабула, коллизия, характеры и проч. Все эти элементы стали таким же архаизмом, как перспектива, анатомическая верность и прочие рудименты реализма и натурализма в живописи. В литературе, как в музыке, утверждается одно-единственное действующее лицо – ритм. И один закон – закон *смены* ритма, именуемый в других терминах *сломом темы и переменой участи*.

Что касается вербатима, то внимательная расшифровка магнитофонных текстов позволяет выявить в них ритмическую структуру, которая, на самом деле, несет в себе больший художественный и информационный заряд, чем смысл произносимого: в речи старушек, рассуждающих о сексе, ответработника с Лубянки, «работающего» с засланным драматургом, в манере говорения творцов телевизионных «скандал-шоу» и прочих откровением является именно форма. А смысл выполняет вспомогательную роль.

Лучшие произведения новой драмы прежде всего выстроены *ритмически*: запинания и обрывы речи у Гришковца, рэперская и частушечная ритмика у Вырыпаева, верлибры у Дурненковых, уникальная в каждом случае ритмика речи в вербатимных спектаклях Театра.doc.

Возвращение к Книге

В.З.: Расшифровывая интервью для «Красавиц», мы с изумлением обнаружили, что они идеально записываются в виде верлибра, причем в роли разделителя строки выступают паузы, запинки, восклицания... При этом в каждом случае структура и звучание этого верлибра были различны и на них наложился отпечаток личности.

А.З.: Больше всего удивило, насколько охотно шли на этот разговор сами красавицы! Если бы не ограничения во времени (на проект ушло чуть меньше года) и в пространстве (мы опрашивали респондентов только в Москве и в Костроме), «Красавицы» могли бы разрастись до масштабов немереных... Нам приходилось постоянно корректировать какие-то правила, уже выработанные предшественниками. К примеру, нужно было не разрушить то ощущение хрупкости и даже некой *незаконности* собственной красоты, которая несла в себе каждая из собеседниц. Метод перекрестного допроса (нас двое, она – одна) дал результат только единожды. В процессе всех остальных интервью мы действовали поодиночке и предельно осторожно, как скалолазы: неверный шаг – и все, нет алых роз и траурных лент!

В.З.: И если мольеровский мещанин был повергнут в изумление, узнав, что он говорит прозой, то мы были поражены не меньше, поняв, что на са-

мом деле мы все говорим... стихами! Этот закон скорее всего был известен авторам древнейших записанных текстов – древнеегипетской «Книги мертвых», шумерско-аккадской книги «О все выдавшем», «Вед», древнееврейско-древнеарамейско-древнегреческих «Книг» (более известных как Библия), древнекитайской «Книги перемен» («И Цзын»). Ведь эти произведения были именно *стихотворными* произведениями.

Если древнейшие тексты не разделялись на слова, предложения и абзацы, то сегодня мы можем пользоваться таким относительно поздним изобретением человечества, как элементарная стихотворная форма записи.

А.3.: Разрушить клетки жанров – роман, эссе, новелла, исповедь – и медленно создать новые, еще не обжитые, не пахнущие духом неволи. Ради этого мы и придумали создать своих «Красавиц» – Книги красоты.

Вернуться к до-жанровому состоянию литературы – утопия, конечно. Но, вспоминая какие-то взволновавшие (и продолжающие волновать) строчки, хотелось найти такую форму, которая способна вместить в себя высокое и низкое, бытовое и поэтическое, диалог и монолог. И тут, помимо Библии, приходили на ум книги из детства.

Те, что нравились больше всего.

Где проза вдруг останавливала течение своих многобуквенных, во всю ширину страницы строчек и начинались стихи – песенка одного из героев, что-то вроде:

Улыбнись, малютка Нелли,
От меня не прячь лица.
Чтоб глаза грустить не смели,
Выпьем доброго винца...

...так, кажется?

Книги с множеством персонажей, с отступлениями (но не *описаниями пригоды* – *нуднятина*, как тогда казалось), и чтобы у каждой главы было свое название, а еще лучше, чтобы эпитафия стояла! И картинки! Но только, чтобы они или чуть отставали от тех эпизодов в тексте, которые изобразил художник, или чуть опережали текст. В асинхронности был дополнительный кайф. Книги, в которых можно было все это найти, попадались не так уж редко. И когда мы складывали, одну к другой, Книги красоты, – именно такой эйдос нам представлялся.

В.3.: Из не столь уж далекого советского прошлого в качестве аналогии на ум приходит «Книга о вкусной и здоровой пище» или гигантский сборник для детского чтения «Живые страницы», в котором собраны произведения нескольких сотен (!) авторов.

Разумеется, это – метафора... Но лишь отчасти.

Прежняя система внутренней иерархичности искусства сейчас напоминает развалины античной цивилизации посреди средневековой христианской пустыни. Как когда-то старой Европе, человечеству предстоит заново пройти весь путь, вырабатывая новое, *развернутое* отношение к миру. И сегодня, как в канун возникновения античной драмы, когда человек выяснял, чего он стоит перед лицом всесилоного Рока, эстетический взгляд на мир, новое действенное определение прекрасного и безобразного – это и есть тот *синкретизм*, из которого разовьется дерево новой культуры.

В литературе приходит время возврата к исходной форме – форме Книги.

Не той книги, которая классифицирована по жанрам и поджанрам, как блюда в сети ресторанов быстрого питания, с маркером «для домохозяек», «для лифтеров», «для славистов», «для детей среднего школьного возраста», «для гениев с IQ выше 140 пунктов».

Не той книги, которая, утолив мимолетную скуку, полетит в ближайшую урну или спрячется в дальнем ряду книжной полки, потому что сыграла свою краткую роль.

А будет это –

...Книга для развлечения, научения, устрашения и справки.

...Книга, в которой сведено воедино художественное чтение, моральные предписания, кулинарные рецепты, логарифмические таблицы.

...Книга, которая будет формировать и развивать отношение к жизни.

...Книга, которую будут читать и перечитывать, год за годом, в произвольном и прихотливом порядке, десятки раз открывая одни и те же разделы, долго не обращаясь к другим и так и никогда, возможно, не прочтя трети.

Спор на троих

Внутренний Оппонент: Не кажется ли вам, любезные друзья, что вы претендуете на нечто вроде манифеста, но позитивная программа как-то не слишком проглядывает. Исключительно отрицание, причем, – как бы это сказать? – поверхностное!

В.З.: Что может быть позитивней и увлекательней, чем задача построения здания культуры с нуля. Нуля не в том смысле, что вся предшествующая культура сожжена и развеяна по ветру. Вавилонская башня культуры, единая общечеловеческая вертикаль, устремленная к небу, на глазах рассыпается под собственной тяжестью. Все прежние предписания и заповеди теряют силу закона, старая система отношений человека с миром не действует. Мы – как первые строители на равнине Сенаар, только богаче, потому что в качестве строительного материала можем использовать не только глину и древесную смолу, но и обломки предыдущих башен. А раз так, новое конструкторское решение, поиск которого только-только начинается, не может быть точно таким, как прежде. Чем не креативная задача?

А.З.: Любой манифест несет в себе энергетику жертвоприношения. «Поклониться всему, что сжигал», да? Но прежде – «сжечь все, чему поклонялся». Очень важный момент, который не обойти. Принести в жертву дорогие когда-то твоему сердцу идеи, представления, образы – это вовсе не тотальное разрушение. Происходит очищение огнем: то, что ценно по-настоящему, выйдет преображенным, изменившимся. Мне кажется, плачи по высокой культуре, которой мы якобы лишились или вот вот-вот лишимся, – это все от лукавого. Просто многим творцам (произношу это слово без иронии) страшно расстаться с нажитыми годами пристрастиями и привычками, с «культурным багажом», вот! Хотя на самом деле это давно уже не багаж, а чемодан без ручки.

Поддавшись логике героев этой публикации Владимира Забалуева и Алексея Зензинова – соблюдать верность документу, – вслед за их коллективным монологом, мы публикуем фрагменты тех самых «Красавиц», показавшиеся говорящими за себя громче прочих. Некоторые из них наши драматурги согласились прокомментировать. Без строгости – а словно это космонавты вспоминают самое забавное и человеческое из собственных надземных кругосветок, оставляя пафос научных исследований для молчания земных специалистов.

КНИГА СНОВ И ПИСЕМ

Один раз мне снился сон,
В котором мне объясняли
Время жизни вещей.
Это очень забавная штука
Получилась,
Когда мне объясняли там вот,
Сколько живет вот банка кофе...
НУ СКОЛЬКО ЖИВЕТ БАНКА КОФЕ?..
Наверное, вот,
У нее есть срок годности?..

НЕ ФИГА!!!

Банка кофе живет ровно столько, сколько из нее

Будет выпито чашек –

Сколько времени потрачено на выпивание этого кофе,

Столько и живет банка кофе!

В.З.: С Книгой снов и писем случилась забавная история. В отличие от других книг и бесед она рождалась из переписки по электронной почте и ICQ. Первый вариант был полностью собран – и... забракован. Потому что красавица, ставшая основным информационным донором для этой книги, воспользовалась правом veto и запретила публиковать тексты. Тем не менее нам казалось, что заявленная в названии тема имеет право на жизнь. Мы взяли серию дополнительных и повторных интервью, обратились к переписке с другими красавицами. В итоге сложилась совершенно другая книга – микст из электронных текстов и расшифровок.

Сон про банку кофе приснился автору интервью, которое легло в основу Книги управляющей. Яркая, волевая, парадоксально мыслящая женщина, провинциалка, сделавшая к тридцати годам в Москве карьеру топ-менеджера. Вот такие сны снятся нашим красивым начальницам!

При расшифровке первого интервью этой героини поразил контраст между впечатлением от живой беседы и прослушиванием записи. В записи голос звучал жестко, повелительно, начальственно, если хотите. В живой беседе все эти авторитарные нотки были прикрыты мягкостью манер, неторопливостью жестов, заботливостью обхождения.

Одно из самых памятных интервью. И самых незабываемых впечатлений.

КНИГА МАТЕРИ И РЕБЕНКА

– Откуда пришло понимание красивого/безобразного?

– Ну, так какого-то конкретного прям момента я не помню...

Я только помню какие-то общие впечатления, да?

Которые возникали в детстве при этих словах, да?

Например, когда я видела там

Я не знаю...

.....
Я гуляю с бабушкой, а

Родители идут с работы,

Там гуляют откуда-то, взявшись за руки, они друг друга безумно любили.

И вот они идут там,

И там мама чего-то смеется, и

Они держатся за руки.

Я понимаю, что это красиво, понимаете?

Вот не то что даже это счастье, а вот именно категория какой-то красоты,

вот молодости там, я не знаю...

Или там,

– Вот, допустим, если

Там,

Я не знаю,

Речь о ком –

Соседе на лестнице,

Который там

Пьяный иногда полз до квартиры...

Я понимала, что это безобразно,

Ну, вот в таких каких-то категориях.

Что мне запрещали в детстве?

Запрещали брать снег руками, потому что после этого я сразу заболела,

Даже варежками запрещали его брать, это была такая тоска!

Один раз я его просто набралась выше крыши, и потом у меня была дикая ангина,

А я варежкой просто его весь стерла там с песочницы, я помню.

А.З.: Красота и уродство – два полюса, между которыми, подобно магнитному полю или электрическому току, возникают эстетика и искусство. С красотой и уродством жизни в острой форме сталкивались все красавицы, у которых мы брали интервью. Причем в детстве обе эти категории практически для всех, кого мы опросили, носили этический характер («что такое хорошо и что такое плохо»). И только с возрастом произошло отделение этих понятий от морали и нравственности и обретение категориями «красивое и безобразное» самодостаточности).

* * *

Когда я была в детском саду,
 Меня мучили три девочки.
 Они меня мучили, потому что я нравилась очень одному мальчику, с которым...
 Ну, в общем, он им всем нравился,
 Троим.
 А–а–а...
 Они меня мучили страшно –
 Они прятали мой мячик любимый,
 Они там мою косынку зарывали в какой-то песок в песочнице
и топтали ее ногами,
 И я никому не жаловалась,
 Ну, потому что я понимала, что я пожалуюсь воспитательнице,
ну, я должна буду объяснять,
 чего они меня так третируют.
 А шо я скажу:
 «Вы знаете, я Саше вот нравлюсь?»
 Такая была любовь.
 Ну, я ее...
 Он ее...
 Он ее меньше демонстрировал.
 Я была скрытая такая, зажатая девочка, скромная, а он,
 В общем,
 Так изо всех сил...
 Он оставлял мне какие-то пирожные на полдник, если они были вкусные,
там еще чего-то,
 Ну, какие-то такие, знаете, проявления чисто детскосадошные, которые...
 Он предлагал мне там играть с ним со мной во что-то,
во что мальчики обычно с девочками не играют
 (Вообще запаadlo и как бы,
 Ну, просто его бы все там осудили, понимаете,
 Там играть в куклы.
 Он говорил: «Давай, я буду папа, а ты – мама», там, понимаете?
 Играть с девочкой в куклы – это просто было за предел,
 Вот!)
 Вот!..
 И я молча, значит, страдала,
 И Саша это заметил.
 Он увидел, что значит, как бы ко мне
 Какие-то счеты
 У девочек.
 Он взял и всех трех девочек побил
 Очень сильно.
 Это был очень красивый поступок!
 Потому что девочки тут же побежали жаловаться воспитательнице –
 Они-то как раз побежали
 Сказать:
 «А–а–а!
 Саша–нас–туда–сюда, вот–у–меня–тут...»

И это...

И воспитательница стала...

Призвала Сашу, сказала:

«Что-такое?

Почему-ты-так-с-девочками-себя?..»

Мальчик был достаточно благородный, воспитанный,
ему б в голову никогда не пришло никого бить.

А он сказал:

«Они обижали Олю!»

«А-почему-Оля-не-жалуется, а-ты-сам, это-самое...

Вот!..

Почему-Оля-нам-не-сказала, что-с-ней-там-чего-то...

Э-э-э...»

«А Оля никогда не скажет!» – сказал он,

И вот,

И я это запомнила как

Безумно красивый, благородный поступок.

Ради меня никто никого потом не бил никогда –

С детского сада!

Все, я его видела тогда последний раз перед школой.

И-и-и...

В общем, я пришла в эту группу там...

Я

Долго болела, потом.

Пришла в эту группу, потому что,

Ну, надо было собрать какие-то документы, и мама пошла в детский сад,
меня с собой взяла –

Я ее уговорила с собой меня взять

За какими-то документами,

И,

И группа гуляла на улице в этом момент.

Мама зашла на минутку в детский сад, а я стояла на улице, ее ждала,

И видела, значит, как они там бегают-гуляют.

И я понимала, что я последний раз с этим мальчиком, значит, нахожусь.

Всё – любовь закончилась!

Я пойду в одну школу, он наверняка пойдет в другую.

И я его никак не могла разглядеть там на площадке –

везде бегали-бегали все дети,

И как...

И вдруг воспитательница кричит:

«Иваненков!

Ты-куда-побежал?

К-забору!

Не-ходи-туда!»

Я понимаю, что он здесь, и я все равно его не вижу.

Вы понимаете, трагедия какая!

И мама выходит, и мы уходим, я вот так поворачиваю голову

и все, значит, смотрю на этот...

Веранду, где они там бегают,

Ведь я...

Блин, он же не знает, что я тут, он бы подбежал тоже, хотя б попрощался!..

И все, я так ушла...

А потом

Через несколько лет,

Ну, тоже я была в третьем или четвертом классе,

Мы с бабушкой гуляли.

А мы

Просто другом, мы пили в компании вместе, а он меня проводил,
И друга я положила спать в гостиной,
Так Иннокентий гневно открывал лапой дверь
И гневно смотрел на спящего там моего собутыльника.

Вторая красавица

У меня... равноправные... ха, почти...
Я зверюгу воспринимаю, как... э-э-э... равноправное существо... со своим
характером...
Во-от... моя кошка... копирует меня вот... в каких-то вещах...
Да я думаю, она бы курила... потому что, когда я курю, она не уходит... сидит
рядом и ... наблюдает за дымом... Х-ха!...
Если бы она могла курить, она бы явно курила... вот такая... мудрая зверюшка...
Она редко приходит ко мне спать... по каким-то своим причинам она иногда
это делает, но... спит она у себя...
У меня в прошлом были собаки... у меня были попугаи... попугай был долго
достаточно...
Попугай был таким... советчиком...
Во-от...
Ну он... сам к нам прилетел, и сам же у нас улетел...
С попугаем любовь не сложилась!
Потому что он маленький, его потрогать нельзя.
Все, больше никого не было...
Никого!

Третья красавица

Причем у животных, кстати, иногда, чем...
чем животное
хуже выглядит,
тем оно больше нравится, вот!
Наверно, года три назад у нас кошка первый раз раз...
разродилась, окотилась, и-и-и...
С одним котенком такая неудача, то есть был абсолютно ужасный, то если
первые три были идеальные персы, там, улучшенный классик, мы думали,
счас мы за них запросим деньги, все будет замечательно, но вот одна была
абсолютное убожество.
И когда приходили покупатели, мы ее прятали, вот!
Чтобы она...
Скажут, а что это она у вас какая странная, значит, и эти какие-нибудь стран-
ные...
И один раз просто,
ну, не доглядели, и она вывалилась в коридор.
Ну, чудо вообще полное, то есть, хэ, прямо страшно!
Причем пришли молодая пара, вот,
парень с девушкой,
и долго выбирали из этих трех абсолютно одинаковых котят, которые были
все одинакового цвета и морды одинаковые, очень долго думали, там по-
больше-поменьше, попушистей-там-менее пушистей.
Вываливается вот это черное абсолютное убожество!
Она такая смешная, такая хорошенькая.
А, говорю, какая хорошенькая, это урод!
Квазимода маленький.
Так они ее самую первую
Взяли!..

А.З.: С этой «Книгой тварей бессловесных» смешно получилось... не собирались мы ни про каких тварей писать. Просто многие наши собеседницы вдруг, ненароком начинали вспоминать про своих домашних животных. Причем говорили о них очень очеловеченно, почти как о мужьях или любовниках. Удивительно (или совершенно естественно?), что отношения с животными у каждой из красавиц – живая метафора их отношений с мужчинами. Ну а когда во время одного из интервью возник кот Иннокентий, да еще как возник – как одно из активных действующих лиц, тут уже все сложилось. И название как-то мгновенно придумалось... Да и вообще, как известно, блажен муж, иже и скотов милует, а жена, милостивая к зверям и птицам, – это очень емкий образ.

В.З.: Семью автора монолога о коте Иннокентии бросил отец, когда девочка еще ходила в школу. Став взрослой, эта Красавица постоянно меняет сексуальных партнеров, но ни с одним из них до сих пор не испытала оргазма. Кавалеры и ухажеры в глаза и за глаза называют ее «снежной королевой». Нам показалось совершенно неслучайной фраза героини о том, что любимым ее мужчиной является ее кастрированный кот.

Вторая героиня на момент интервью имела идеальный брак с идеальным мужем, но любила, как оказалось позднее, другого человека. И вообще все ее отношения с мужчинами строились по принципу любопытства (попугай) или равноправного, дружеского, несемейного паритета (кот).

У третьей красавицы был опыт сожителства с моральным квазимодо, и выбор в качестве предмета любви уродливого котенка опять-таки кажется отражением глубоких внутренних установок.

КНИГА ЧУДОВИЩ

Взгляд со стороны

Я когда еще была в институте, у нас была страшная-страшная девочка!

У нее был необыкновенно красивый молодой человек.

И так это дико смотрелось...

И, наоборот, был тоже случай: с красивой девушкой – урод!

Парень...

Ну...

Урод!..

Но очень обаятельный урод!..

Настолько прямо из него вот

Обаяние просто вот сыпалось.

Но это все равно не выглядело...

Это-о...

Да, когда ты с ним по...

Когда ты с этой парой пообщаешься, то понимаешь, что он

Намного более притягателен,

Чем она.

Вот именно внутренне!

Но это внешнее –

Уродство и красота –

Они всегда дико выглядели!

Нет, я считаю, что это неправильно!

Я не говорю, что это было плохо для нее,

Я говорю, как вот это смотрелось вот для меня.

Для меня это было дико!

Мальчик этот любил красавиц только исключительно.

Во-от, так есть...

Н-н-ну, я не знаю, мне кажется, это неправильно.

Он ее потом бросил, да!

(Ну у него в процессе была красавица...

А-а...

Она там

С ним поругалась –

Вышла замуж за какого-то бизнесмена, крутого, что ли...)

То есть он...

Ну вообще, у них в компании было так принято... что у каждого молодого

человека из их компании должна быть какая-то неразделенная любовь,

От которой они страдают.

Причем ребята были достаточно взрослые уже, все работающие там...

Ну то есть,

Таких иллюзий-то не должно было, наверное, остаться.

Вот, и они все думали, что они...

Ну, видимо, это

Как бы неофициально было, но у каждого была такая вот

Рана душевная,

И они постоянно к этой девушке, значит, там стучались,

Пытались достучаться до нее.

Во-от, ну, и при этом у них были какие-то там

Временные подружки, потому что, ну, как же так-то вот –

Такой вот красавец-мужчина и будет один

Страдать так!

Так что,

Ну, я не знаю, это не показатель, они были шизанутые немножко...

Мне кажется, они были ненормальные!

Видимо, у кого-то одного была неразделенная любовь, и они все решили

повторить за ним.

Они были абсолютно разные.

Один был, да, душевный такой, тонкий...

Тонкой душевной организации.

Второй был вот этот жуткий бай...

Бабник страшенький.

Самый страшенький из всех, но самый

Пользующийся...

Пользующийся наи...

Наибольшим успехом...

А третий был

Какой-то физкультурник

Без мозгов,

Без-з-з внешности,

Вообще без всего...

Но он тоже страдал по какой-то девушке там...

В.З.: На пути наших красавиц попадались чудовища физические и моральные. Что любопытно, морального уроды, который был бы при этом еще и страхолодиной, ни одна из героинь не встречала – каким-то образом эти два качества в одной личности не пересекались.

Пятая беседа с красавицей

Я смотрю на себя в зеркало, и, естественно, я вижу, что что-то не в порядке.

Кроме того, были... ну, как взгляды... бы родных и друзей, которые мне

о чем-то сообщали.

Н-н-ну, скажем, ну, была мама, которая мне говорила:

– Боже мой, какой у тебя большой нос! Вот ладно, ты сейчас хорошенькая, тебе вот!..

(*Мяужанье.*) ...Прошу прощенья! ...Ну, что же ты, скотина, сразу не вышел? Ступай!..

Хе-хе!.. (*Возвращается на место.*)

Когда мне было десять лет, ну, например, десять, мама говорила:

– Боже мой, вот ведь у тебя сейчас такой нос, он же потом вырастет! Ну, это же будет

кошмар, ты красивой быть перестанешь! Всё, черт-те что, Буратино просто,

кошшмар!..

И вот я... каждое утро смотрела, вырос у меня нос или не вырос.

И в принципе ждала, чтобы он вырос до таких масштабов, как у Сирано де Бержерака,

чтобы это так (*Смеется.*) бросалось в глаза.

И я все ждала: ну, когда?
 Шестнадцать!.. Ну, вроде бы еще в пределах нормы...
 Семнадцать!.. Ничего нос...
 Восемна... ну, когда?!!
 Она, мол: «Да, так бывает, ты знаешь, так бывает, что нос растет дальше!..»
 А... Хха...ха!.. (Смеется.)
 Я не знаю, хха... (Смеется.) растет ли он до тридцати лет...

В.З.: В силу пространственной разделенности авторов (Алексей живет в Костроме, я – в Москве), только одно интервью мы брали на пару. Впечатление было ошеломляющим для всех участников беседы. Рекордная продолжительность беседы, широта тем, предельный уровень откровенности дали основания не растаскивать ее на цитаты, а разбить на девять бесед, цементирующих между собой тематические части, именуемые Книгами.

Другая особенность этого интервью – речь героиня изначально просила записать прозой. Прозой ритмизированной, в бунинском духе (сравните, например, с его рассказом «У истока дней»). Вкупе с вопросами авторов весь этот материал записан в виде своеобразного «катехизиса красоты».

«Толстая!»

А у меня личико такое
 Кругленькое?
 Ну...
 А так, собственно?
 А ему, видимо, тоже нравились только круглые личики и?
 Ну, и у него самого будка
 Такая же
 Неее,
 Неслабая.
 И он – всё!
 У меня ни одного жениха!
 (Ну, мне они и не нужны были).
 Ближе метра даже он ко мне так вот не подходил.
 Ну вот,
 И-и-и он начал мне говорить:
 «Толстая!»
 Потом опять:
 «Толстая!»
 О-о-о!!!
 И все тоже так подхватили:
 «Толстая!!!»
 Ну, девочкам приятно, что
 Как бы так,
 А он –
 Ему приятно было, видно, а я это не поняла.
 Я говорю: «Я толстая!»
 И дома: «Я толстая!»
 Мне вот, с одной стороны, говорится, вот прямо как бы
 Там
 Гармоничное тело,
 А-а-а,
 А мне кажется, я толстая, я переживаю, думаю, мне надо еще больше там заниматься
 еще там...
 Так вот!..
 А ему, видимо, прия...
 Было приятно, и вот это объяснить было невозможно.
 Мне уже семнадцать, а остался этот стереотип, что вот какая там я...
 «Я толстая!!!»
 И
 И всё!

Этот жених мной был как бы презираем там и вообще, но
 Вот что значит
 Эталонное у человека вот такое вот сознание:
 С одной стороны, мне говорят вот это, а другой – вот это, и...

В.З.: Из восемнадцати опрошенных героинь изъяны в своей внешности находили все восемнадцать.

Свободно, легко и победно принимали свою красоту две или три красавицы.

Почти половина провела значительную часть своей жизни (а часть продолжала проводить на момент интервью) в мучительных попытках определиться по отношению к собственной красоте. Для этих героинь отдельные негативные высказывания *вьюношей*, питающих к ним интерес и слабость, значили больше, чем апология их красоты всеми родственниками, друзьями и просто знакомыми вместе взятыми.

Часть опрошенных, впрочем, с возрастом сумела «примириться» с собственной красотой.

КНИГА КАРАОКЕ

* * *

Уставшие улицы, хлебозавод, гаражи и заборы
 и наконец-то – ступени подъезда.
 Снятые перчатки, повешенная на ветку шапка
 и чуть дрожащий голос:
 «Как я разочарована. Вы этого просто не видите!»
 Хорошо. Разве я против?
 Целуемся. Снова целуемся.
 Снежные сумерки ее опущенных век.
 Снежная капель января в сердце.

* * *

Это было в шестнадцать лет,
 мальчик был из Америки, американец.
 И он мне несколько дней звонил домой,
 а поскольку он не знал русский, то он не мог меня позвать по-русски,
 а подходила моя бабушка,
 которая не знала английского.
 И вот он что-то мычал ей в трубку..
 и, наконец, к счастью, он дозвонился,
 мы с ним разговариваем, и у нас обоих дрожит голос,
 мне там лет шестнадцать, ему восемнадцать,
 мы какие-то такие очень романтические тогда были
 и...
 летали в каких-то заоблачных далях и–и...
 он спросил меня, какая моя любимая песня, я ему сказала, что я больше
 всего люблю песню из диснеевского мультфильма «Аладдин».
 А мальчик певец, он выступал по клубам и пел.
 И вот он мне запел ее в трубку.
 У него был очень красивый голос певческий,
 похожий на Элвиса Пресли.
 И это было...
 незабываемо.

* * *

Вы, немногие из женщин,
Осененных вещим сном,
Помяните нас, ушедших,
Добрый словом и вином.
Спойте нам, собравшись вместе,
И завесьте зеркала,
Безмянные невесты,
Дамы Круглого стола.
Безмянные невесты,
Дамы Круглого стола.

Нам прощанье как прощенье –
Лазарет, вокзал, приют.
Общежитское общенье,
Вашей комнаты уют.
Спойте нам, собравшись вместе,
И завесьте зеркала,
Безмянные невесты,
Дамы Круглого стола.
Безмянные невесты,
Дамы Круглого стола.

А.З.: Для «Книги караоке» очень пригодились какие-то наши давние почеркушки. Что-то вроде набросков к стихам или песням. Старые посвящения старым любовям, какие-то полурасборчивые записи в блокнотах... Это уже не есть что-то интимно-личное, хотя бы в силу той причины, что чувства давно притушены, да и красавицы те очень сильно изменились. Но в сопоставлении с нынешними интервью возник какой-то вневременной диалог, как будто женщины сегодняшнего дня и женщины из прошлого собрались на виртуальной корпоративной вечеринке. Собрались, подвыпили и решили спеть... А мы им тут – ррраз! – и бегущую строку на монитор... пойте, милые... это ж мы для вас всех когда-то сочинили...



Алексей ХОЛИКОВ

Иллюминаторы завтрашних городов

О РЕВОЛЮЦИИ И ЛИТЕРАТУРЕ СЕГО ДНЯ

Свобода часто готовится революциями, но никогда не бывает их непосредственным следствием.

А. Жэ

Вэтом году исполняется ровно сто лет первой русской революции. Знаменательная дата. Прекрасный повод поковыряться в прошлом. Тем более что споры вокруг событий вековой давности не утихают и поныне – книжные прилавки завалены литературой на эту тему. Каждый год появляются «новые», некогда «секретные» материалы. Вот уж не знаю: то ли мы приближаемся к революционному прошлому, то ли оно к нам. Однако события, произошедшие этим летом, иначе чем *катастрофой* не назовёшь. В Москве странным образом сгорело сразу два книжных магазина, по совместительству бывших крупными литературными площадками столицы. Сначала «Билингва», а следом за ней и «Фаланстер». Казалось бы, революция здесь совсем не при чем. Но, как сказал В.В. Кожин, «книги – в их многообразии – это своего рода «инобытие» всего бытия страны, запечатлевающее так или иначе любые его стороны и грани». А тут – пожар. В самый разгар лета. Случайность? Возможно. Но какие же вы частые, наши несчастные случаи!

Еще весной, возвращаясь с одной литературной презентации, я проходил мимо «Фаланстера». В витрине, лицом к улице, стояла вполне симпатичная книжка. Солнце уже садилось, но в его оранжевом свете еще можно было разглядеть замысловатое название «Станислав + 2». Передо мной была антология новой украинской поэзии.

После недавних выборов, плавно перетекших в «революцию», я стал особенно присматриваться к творчеству малороссийских авторов. Какой должна быть литература в революционных условиях? Думаю, что ответ на этот актуальный не только для Украины вопрос следует поискать в прошлом.

Двадцатый век ознаменовался беспрецедентными сдвигами в области художественного творчества и сознания. Литература точно с цепи сорвалась и вышла на шумные улицы подобно средневековому юродивому – затесалась в толпу революционеров и прочих крикунов с «мокрыми от пота руками». Причем началось это не когда-нибудь, а в разгар самого культурного, элитарного и духовно аристократичного Серебряного века. «Как распорядиться нечаянным даром?» – вот вопрос, на который отвечали художники во время исторических бурь. Отвечали они по-разному...

...Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:

новый грядет архитектор –
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.

В. Маяковский

После уличных «гуляний» 1917 года многие писатели так и не вернулись домой. Я говорю не о тех, кто покинул родину, а о тех, кто остался. Среди них тоже есть *эмигранты*. Забытые и полужабытые. Изгнанные из нашей памяти. Писатели, которых мы потеряли, возвращаются. А вместе с ними воскресают и духовные искания разных слоев общества предреволюционной поры.

Этой весной в Центральном доме литераторов состоялась презентация сборника ранних произведений Ивана Алексеевича Новикова (1877 – 1959), практически забытого автора Серебряного века. Впервые после долгого перерыва издается роман «Золотые кресты» (1908), рассказы 1905 – 1912 годов и, наконец, большая повесть «Жертва» (1921), живописующая первые шаги «нового» режима.

Широкому кругу читателей Новиков известен прежде всего как автор шумевшей дилогии «Пушкин в изгнании» (1947). На сегодняшний день книга выдержала уже двадцать изданий. А на собранные писателем средства в годы Великой Отечественной войны был построен самолет «Александр Пушкин».

И.А. Новиков – поэт, прозаик, драматург, эссеист и ученый – был земляком Тургенева, Лескова, Бунина и Леонида Андреева. Сочетал поиск новых причудливых форм в одних рассказах и зрелый реализм русской классической литературы – в других. Лев Толстой называл его «умным» человеком. А Зинаида Гиппиус, известная своими крайними выпадами в адрес современников, написала ему невероятно ласковое, зовущее и умоляющее откликнуться письмо. В произведениях Новикова критика усматривала «историю жизни нежных и хрупких аристократов духа, которые не могут построить жизнь по своему идеалу». Не случайно межреволюционную современность писатель воспринимал как переломный момент, как период «между двух зорь» (так называется один из его романов).

Только подвижники правят нашей культурой...

Эти слова Корнея Чуковского в полной мере и подтвердила прошедшая в ЦДЛ презентация. Представленная читателям книга по-своему уникальна. Едва появившись, она успела войти в число раритетных изданий. Во многом благодаря тиражу, который насчитывает всего 500 экземпляров. Кроме того, издание прекрасно иллюстрировано. Ценность его не измеряется в денежном эквиваленте: это отнюдь не коммерческий проект, а результат бескорыстного и самоотверженного труда земляков писателя (членов Новиковского общества, работников Мценской городской библиотеки), а также профессора МГУ М.В. Михайловой – автора предисловия к книге.

Встреча на Большой Никитской прошла в лучших традициях Серебряного века: играли Чайковского, пели Тургенева и, конечно же, читали Новикова. Содружество искусств дополнила минивыставка художника из Мценска, С.И. Прокопова (это его иллюстрации украшают вышедший сборник).

Среди гостей были поэты, критики, ученые и учащиеся. Но особую атмосферу создавало присутствие внучатой племянницы писателя, известной переводчицы Л.С. Новиковой. Вечер, похоже, удался...

Заполучив один сборник из пятиста, я вышел на улицу и направился в сторону Патриарших прудов. Навстречу плелись люди, согбенные под тяжестью понедельника, а для меня все еще играл Чайковский и что-то нашептывал Новиков. Тогда-то в одном из многочисленных переулков я и наткнулся на книжный магазин «Фаланстер».

«А ведь есть что-то общее между литературой новиковского времени и современной украинской литературой», – подумал я, перелистывая станицы

лавскую антологию. В последнее время наши писатели-по-соседству были вынуждены творить в такой же до предела политизированной атмосфере, как это было в России начала прошлого века. Вспомнив о презентации, я вынул из рюкзака переизданные сочинения Новикова и приложил их к украинской антологии. Авторы, отдаленные друг от друга временем и границами, оказались поистине близкими. Их творчество обусловлено схожими, революционными во всех смыслах условиями. Но несмотря на видимую близость в истории литературы эти писатели навсегда останутся далекими. Ведь «выжидали»-то они (в творческом смысле) по-разному.

«Политика и религия разъединяют людей на отдельные группы, искусство, открывая в человеке общечеловеческое, соединяет нас» (Горький). Все это верно. Но лишь до тех пор, пока само искусство не выходит на закание к безобразной массе, пока поэт в России (и не только) – прежде всего поэт, а не «больше чем». В противном случае литература оказывается выброшенной на улицу с двусторонним движением: и пока одни служители муз приветствуют варваров, от других остается гулкий гудок отчаливших в небытие пароходов. The rest is silence...

С распадом Советского Союза стали рушиться прежние культурные связи. Кого из современных украинских писателей вы знаете? С тех пор как политика наших государств повернулась в сторону сугубо национальных проблем, мы перестали интересоваться друг другом. А ведь для этого не обязательно ехать во Львов, Киев или Одессу. Достаточно просто открыть книгу и заглянуть в гости к нашим соседям – новым украинским писателям.

С антологией в руках я направился к кассе: «А что еще есть из украинской литературы?» Порывшись в компьютере, продавец предложил на выбор три сборника (два – стихов и один – прозы): «Мы умрем не в Париже» (2002), «Галицкий Стоунхендж» (2003), «История культуры. Стихи Б.-И. Антоныча и С. Жадана» (2004).

Преобладание лирики несколько не удивило (послебеловежский синдром должен был отразиться на самом «субтильном» роде литературы). В глаза бросилось другое. Во-первых, все издания (за исключением сборника «Галицкий Стоунхендж») двуязычны. Во-вторых, в оформлении книг использованы репродукции картин известных станиславских (ивано-франковских) художников: В. Чернявского и В. Гуменного. Не случайно их выставка состоялась в рамках первого проекта «Станислав + 2» (Москва. Январь 2000 года). Кроме того, число авторов, кочующих из сборника в сборник, весьма ограничено. Самый популярный из них, Юрий Андрухович, – по словам украинского писателя Юрия Издрыка «гениальный поэт, блестящий прозаик, мэтр и мастер, денди, патриарх, патрон и патриот». Надо сказать, Андрухович не остался в долгу перед коллегой, охарактеризовав один из его романов следующим образом: «Воццек» – причудливо и прочно сплетен из физической боли, сновидений во время бессонницы, ненависти, которую я по степени ее чистоты осмелился бы назвать «святой».

Владимир Ешкилев – другой автор одного из упомянутых сборников – Издрыком охарактеризован не менее витиевато: как «исследователь империй и иерархий, имитатор и интерпретатор тайных знаков, интеллектуал, интриган, инициатор интимных инициаций». Надеюсь, Ешкилев оценил комплимент.

Из оставшихся замечателен «бродячий философ» Тарас Прохасько, а также создательница «странных» и «неровных» стихов Галина Петросаняк.

Удивительным совпадением кажется, что все эти люди – земляки, уроженцы западноукраинского Ивано-Франковска (Станислава – отсюда, собственно, и название одного из сборников). И только двое – харьковчанин Сергей Жадан и черниговец Мыкола Холодный – в названии все того же сборника оправдывают арифметический придаток «+2».

Судя по всему, *станиславский феномен* стал самым успешным проявлением новой украинской литературы. Он утвердился в качестве альтернативы официозу – киевско-житомирской (или полесской) школе.

Оппозиционность станицлавцев генетическая: их историческая родина – Галичина (земли, составляющие Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области). Юрий Андрухович как нельзя точно выразил отношение восточной Украины к своему западному региону: «Галичина – это не-Украина, географический довесок, польская галлюцинация. Она манекенная, кукольная, дутая, стремящаяся навязать Украине свою неукраинскую волю». История распорядилась так, что после Первого раздела Польши в 1772 году галичане на время оказались соотечественниками Моцарта. Тем не менее мечта о независимой Великой Украине сохранялась вплоть до XX века. Борцы за национальную идентичность появлялись и в обществе «Сечь», и в рядах Украинской повстанческой армии (УПА). Но то, чему не суждено было сбыться в Первую и Вторую мировые войны, стало осуществляться с распадом СССР. И вот совсем недавно Галичина сделалась настоящим «локомотивом», уносящим Украину в ее оранжевое далеко.

Как далеко уедут отдельные украинские писатели в поисках свободы, покажет время. Годами околачиваясь на задворках литературы, они привыкли к своей оппозиционности. В этих условиях можно очень выгодно существовать. Этаким «минус»-прием, значимое «отсутствие» на большой арене...

Сегодня они победили. А победитель, как известно, забирает все. И его – опять же по поговорке – не судят. Но возникает масса вопросов. С ними я и обратился к Андрею Пустогарову – переводчику и составителю приобретенных в «Фаланстере» книг. Трудно найти лучшего специалиста.

– От чего, по-вашему, зависит успех перевода: от качества оригинала или таланта переводчика?

– Есть произведения, которые «прорвутся» независимо от переводчика. В современной украинской литературе таких вещей нет. А значит ответственность переводчика возрастает. Лично я стараюсь из украинских произведений делать текст прежде всего русской литературы.

– В таком случае непонятно, почему сборники ваших переводов двуязычные. Складывается впечатление, что вы ориентируетесь на украинского читателя.

– Это не так. Я перевожу только для российского читателя. Изначально мне не хотелось давать билингву. С другой стороны, это освобождает от многих упреков. Каждый может видеть оригинал. Конечно, получилось, что я вмешался и в литературную ситуацию Украины. Многого приходит в Киев через Москву. Не скрою, что сборник «История культуры. Стихи Б.-И. Антоныча и С. Жадана» содержит интригу, понятную прежде всего украинскому читателю: соединение под одной обложкой двух актуальных для украинской литературы фигур (классика и современника).

Я тут же открыл купленную книгу. Действительно, «История культуры» – это попытка провести луч через две точки. От Богдана-Игоря Антоныча (1909–1937) к Сергею Жадану (р. 1974). Творчество первого считается одним из высших достижений украинской литературы XX века. Прочитав стихи обоих авторов, можно почувствовать, как изменилось время и куда оно пойдет дальше. Но, прежде чем предсказывать будущее, не помешало бы осознать настоящее, то есть современную украинскую литературу.

– В чем же ее «современность»?

– Так получается, что сегодня действительно создается новая литература. Развиваются жанры, которых раньше не было. Например, молодежная проза (стараниями Ю. Издрыка и его журнала «Четвер»). В. Ешкилев вообще написал философское фэнтези («Император потопа»). Работа идет, жизнь кипит. Сейчас решаются задачи, значимые прежде всего для украинской литературы.

– Звучит довольно абстрактно, если учесть, что украинская литература регионально ориентирована. А какова, на ваш взгляд, ее география?

– Лично я не вижу регионального разделения. Конечно, на западе и на востоке люди не одинаково относятся к тем или иным проблемам. Эта разница есть. Но если смотреть на литературу, то мне она представляется как еди-

ное явление. Владимир Ешкилев, к примеру, предложил делить украинскую литературу не на западную и восточную, а на народническую и постмодернистскую. Соответственно мой интерес как переводчика направлен на так называемую «постмодернистскую». Хотя Тарас Прохасько в своем романе «Непрости» попробовал соединить обе эти тенденции. К постмодернистам же можно отнести Юрия Андруховича, Ярослава Довгана, Владимира Ешкилева, Юрия Издрыка, Сергея Жадана...

Опять этот пресловутый постмодернизм. Все о нем говорят, но кто его видел? В своем эссе «Время и место, или Моя последняя территория» Юрий Андрухович (который, вероятно, «видел») постмодернизмом называет «многообещающее запустение», до конца не оформившуюся «послетоталитарность» с «неототалитарной» угрозой; «поликультурность», от которой остались одни руины в виде замков, мостов, святынь и даже цитат. Наконец, «постмодерними» Андрухович зовет «провинциальность» и «маргинальность». Звучит заманчиво. Но когда открываешь книжку того же Андруховича (и уже с ним), то остаешься наедине с «путаными отрывками, строчками, словами, алкоголем, горячкой, сленгом и суржиком, всеми языками мира, одним-единственным языком, тебя мучит любовь, ненависть, жалость, секс, ты подвержен всем болезням и снам, мыслям о смерти, о времени и хаосе» (Ю. Андрухович). Я снова обратился к Андрею...

– А кому все это нужно (кроме самих авторов, разумеется)?

– Андрухович говорит, что превращается в детского писателя. В последнее время на его выступления приходят 17-летние ребята. А если серьезно, то есть люди, которые всегда были энтузиастами украинской культуры. Сейчас они равномерно распределены по возрастам. Их в принципе интересует, что появляется в украинской литературе. И есть студенчество, которое читает Издрыка, Прохасько, Андруховича, Жадана... Причем у Жадана достаточно большая аудитория молодых людей, которые говорят по-русски и вместе с тем являются большими поклонниками творчества на украинском языке.

– Интересно, а как относятся к новой литературе «рожденные в СССР»?

– При советской власти то, что печатали на украинском языке, было неинтересно. Этот стереотип закрепился и только сейчас начинает разрушаться. Ведь современная украинская литература двуязычна. Писатели, пишущие по-русски, ориентируются на Россию. Они соотносят себя с Буниным, Пастернаком в большей степени, чем с Гессе. Те же, кто пишет на украинском, с одной стороны, прекрасно знают русскую литературу, она отражается в их творчестве; но с другой – они позиционируют себя как люди, которые смотрят на Запад.

– Значит, писание на украинском языке становится формой борьбы за независимость?

– Я думаю, что для Андруховича и Прохасько не стоял выбор между русским языком и украинским. Но есть авторы (например, Ешкилев), которые сознательно предпочли украинский. Вообще современная ситуация такова, что если ты пишешь по-русски, то неизбежно включаешься в процесс русской литературы. Соответственно возрастает конкуренция. В тот момент, когда все начиналось, было гораздо больше шансов заявить о себе именно на украинском. Но я бы не стал все сводить к меркантильным соображениям. На Западной Украине (особенно в Галичине) украинский язык всегда рассматривался как вещь, определяющая нацию, позволяющая ей сохраниться.

Безусловно, национальное самоопределение, независимость – дело хорошее. Но зачастую оно оборачивается отчужденностью и даже враждебностью. Пока Андрей отвечал на вопрос, я перелистывал антологию «Станислав + 2». Автор предисловия, только что упомянутый Ешкилев, не без гордости утверждает, что за десять самостоятельных лет «возросла» и «окрепла» их «непохожесть».

– Чем же отличается современная литература на Украине и в России?

– Украинским писателям удалось сделать шаг вперед. Они соединили изощренную литературную форму и открытость современным веяниям с опорой

на традицию (национальную, историческую, семейную). Правда, в ряде случаев эту традицию пришлось придумывать. С точки зрения человека, находящегося в русской литературной ситуации, мне это показалось интересным. Я всегда считал, что переводить надо то, чего не хватает здесь.

– В таком случае может ли украинская литература в чем-то повлиять на русскую?

– Хотелось бы. Мне кажется, что у нас все разделено. Где-то Маринина, Донцова, а где-то Пелевин и Сорокин... А вот мэйнстрима нет. В этом смысле есть чему поучиться у соседей. Но, к сожалению, интерес к современной украинской литературе присутствует лишь в узких кругах. Да и сами авторы не очень-то хотят развивать контакты в русской литературной среде. Им комфортнее иметь дело с Европой.

Поскольку речь зашла о литературных влияниях, мне вспомнились слова известного филолога А.Н. Веселовского о том, что воздействие предполагает в воспринимающем не «пустое место», а «сходное направление мышления». Поэтому, прежде чем говорить о каких-либо «влияниях», нужно определиться в главном: похожи ли мы с украинцами? О чем пишут наши соседи? Какие темы сейчас популярны у их молодых читателей?

Лично меня давно интересует вопрос о присутствии «русской» темы в украинской литературе. По словам А. Пустоголова, всеукраинские писатели «вменяемые люди», поэтому явной «гадости» в их произведениях нет: «Антирусскость скорее проявляется в публицистике, а в художественном творчестве высокого уровня она явно не присутствует».

Я тут же открыл сборник «Станислав + 2» и прочитал начало одного из стихотворений под названием «Ваня Каин»:

нынче в царстве русском снова пьянка
голуби на церквах сизы тоже
и слеза спустилась как беглянка
брат мой Каин по твоей небритой роже.

Далее автор (им оказался Андрухович) обыгрывает тему братства наших народов. Заканчивается стихотворение по-братски дружелюбно:

руки брата на расправу скоры
для объятий пьяных распроторишь
отпусти меня на ясны зори
я уж вечный ты уж мне не сторож.

Теперь понятно, почему становление новой украинской литературы связано с событиями 1991 года. Распад Союза вдохновил целое поколение молодых писателей. В связи с этим у меня возник вопрос о влиянии «оранжевой» революции на литературу..

– Какова на этот счет позиция украинских писателей?

– Практически все «объекты» моих интересов поддерживали В. Ющенко (тот же Жадан был комендантом палаточного городка в Харькове). Будучи писателями «от оппозиции», они долгое время культивировали свою «загнанность в угол». Это вызвало творческие проблемы. Нынешняя ситуация ставит перед писателями задачу установления взаимопонимания. Ведь речь не идет о том, чтобы одна половина победила другую. Обе эти половины должны жить в одной стране, и художнику не нужно вести за собой массы. Его задача – взвешенно оценивать ситуацию.

Тем не менее это позиция переводчика, а не его «подопечных» – новых сеятелей свободы. Мне почему-то вспомнилась презентация, а точнее, слова одного из героев Новикова: «Если что и хранит в нас хаос, так это она, наша дикая вольница в жилах – жаркая кровь, и выпускать ее на дневной свет нельзя безнаказанно». Но кто сейчас вспомнит Новикова? Тем более на Украине, где в поисках «свободы» писатель выходит на улицу, у которой своя эстетика: «кучи

мусора, битые бутылки, истоптанные хвосты и крылья, сброшенные размалеванные маски». Где-то на перекрестке качается «человек в незастегнутых штанах». У него одна цель: «Надо найти пуговицу. Надо». Идет грандиозная смена декораций:

В помещении церкви открылся вокзал:
 расписанья, иконы, буфет, магазин.
 Переполнены хоры толпой, как казан,
 у кассирши уста, как фальшивый рубин.
 Туалеты и фрески. Когда-то заря
 закатилась в тлен, как Мария вся в черном.
 Открываешь, как двери, врата алтаря –
 и выходишь, и ходишь по первой платформе.

Ю. Андрухович

Такова реальность. Литература впитывает ее пороки, удовлетворяет «бархатные» нужды революции. И на смену кондовому соцреализму Эсэсэрии грядет незалежная «культура винного алкоголизма» (В. Ешкилев). Поэтому не удивительно, что там, «где лишь рождалась нежность, за мгновенье / возникнуть может нож».

..Однако вернемся к Новикову. Он, между прочим, рисовал не только «воздушное упоение влюбленностью». В «Повести о коричневом яблоке» герой убивает возлюбленную. Он не испытывает мук раскаяния и все-таки спрашивает: «Во имя чего мое преступление?» Ему кажется, что он знает тайну – «о себе, а стало быть, и о человеке, хотя бы лишь о человеке нашего времени, нашей эпохи и нашей страны» (И.А. Новиков).

Как и сто лет назад, в нас борются инстинкт и разум, плоть и дух. В войне гражданской войны поразительно несовременно прозвучал возглас из рассказа Новикова «Гарахвена» (1917): «Так никогда... никогда! Слышишь, нельзя убивать». Критики обвиняли автора в решительной отчужденности от настоящего: «Этот Моисей с Тверского бульвара не только не разобьет скрижалей, но будет упорно твердить свою заповедь, умиленно закатывая глаза...» Боюсь, что некоторым украинским писателям это обвинение не грозит.

В конце разговора Андрей успокоил меня, сказав, что никогда не станет переводить вещи, в которых явно присутствует тема насилия, наркотиков (как, например, в последнем сборнике Жадана «Банка кокаина») или натуралистическое описание секса: «Эти вещи сами по себе сильнее литературы. Они ее «разрывают». Надо обладать потрясающим талантом, чтобы включить их в свои произведения». Признаться, слабое утешение. Уверен, что и на эти темы найдутся свои переводчики. Ведь у нас с Украиной так много общего...

И все-таки лучшие образцы современной украинской литературы должны появляться на российском книжном рынке. Ну а плохому мы сами кого хочешь научим. К сожалению, отдельные представители из числа современных русских писателей не чураются подобно своим украинским коллегам удовлетворять личные нужды революции (уже свершившейся или еще грядущей?). Они называют себя «идеологами»... совсем не литературных движений. А в результате...

Выходя из «Фаланстера», я наткнулся на группу молодых людей, идущих не вместе, но *очень* дружно. И все бы ничего, да только экипировка у них однообразно странная: кожаные куртки, железные банки, деревянные палки. Как выяснилось, внешность обманчива. Люди они культурные, начитанные. Шли на встречу с каким-то «цитрусовым» писателем (не будем называть фамилию), но попали почему-то... в «Криминальную хронику». Вот ведь парадокс!

Хрущоба-мама

В последнее время москвичи и даже некоторые петербуржцы напоминают больных с одинаковым диагнозом. Часто между совершенно незнакомыми людьми завязывается следующий диалог: «Вас еще не того?», – спрашивает, к примеру, один из собеседников. «Нет, нашу серию не трогают. А вашу?» – отвечает другой. «И нашу не трогают. Говорят, будут делать только косметику», – разводит руками первый.

Дело в том, что в крупных городах всюду идет кампания по сносу пятиэтажек, или так называемых «хрущевок», – и это проблема не только градостроительная, но культурная и философская. Говорят, правда, одну хрущевку нам оставят. Да и то – только в качестве музея.

Спор небоскребов с *хижинами* (позволю себе такой парафраз) один из самых главных в архитектуре вообще и архитектуре XX века, в частности. «Римляне старались строить как можно более высокие здания, чтобы разместить максимальное количество жильцов на минимальном участке (некоторые источники утверждают, что *Insulae Felices* достигали 20 этажей), – пишет французский искусствовед Мишель Рагон в своей книге. – Поэтому императоры Август и Троян запретили строительство домов, превышающих 60-70 футов (17-20 м). В средние века в Париже строились дома в четыре-пять этажей, а в XVII в. в Париже появились даже семи- и восьмэтажные здания»¹.

В XX веке этот спор затеяли вновь: так, Ле Корбюзье не просто придумал свои «жилые единицы» (огромные здания-соты со множеством квартир), но и предложил застраивать высотками города. Великому мечтателю представлялся «Лучезарный город» – этаким прообраз современных мегаполисов, удобный, дружелюбный, светлый. В ответ на это Франк Ллойд Райт разработал «стиль прерий»: частные дома на одну семью в окружении природы. Ему грезились террасы, к которым вплотную подходил густой лес, слышались звуки воды, проникавшие в каждую комнату, виделись солнечные блики, играющие на стенах. «Жилые единицы», построенные Ле Корбюзье, можно увидеть во Франции. Дом Райта – в Бер Рене в США.

Впоследствии выбор между «хижинами» и небоскребами пришлось делать не только каждому отдельно взятому городу, но и целым странам. К примеру, Австралия и Новая Зеландия уже давно сделали ставку на небольшие частные домики (речь идет именно о жилых домах; офисы – другая история). Причем местные жители настолько привыкли к этому, что сейчас в той же Новой Зеландии с трудом продаются дома даже на две семьи. Оказывается, никто не хочет жить с чужими людьми под одной крышей. А вот Китай, наоборот, все дальше уходит к небоскрегам: вспомните футуристический Шанхай или буквально живущий в облаках Гонконг.

В Америке первые десятилетия XX века архитектурную моду задавала так называемая «Чикагская школа». В результате высотные гиганты появлялись один за другим. Именно тогда, кстати, построили знаменитый «Эмпайер Стэйт-Билдинг» и Рокфеллер-центр, а архитектор Мис ван дер Роэ потряс всех своим лозунгом «Меньше значит больше», имея ввиду максимальную лаконич-

¹ Мишель Рагон. О современной архитектуре. М., 1963.

ность возводимых башен. Однако потом маятник качнулся в другую сторону: американцы сошли с ума по домикам в один-два этажа, и небоскребы оказались в забвении. Опустели кварталы жилых высоток в Чикаго и Детройте.

Сегодня, как показывает практика, малоэтажные варианты застройки все более популярны на западе, а небоскребы – на востоке. Хотя, замечу, одно совсем не исключает другого – речь идет о векторе движения, тенденции. Мегаполисы должны расти вширь, а не вверх.

Собственно, с этой проблемой столкнулась и Россия, только у нас в какой-то момент выбрали третий путь. Как раз – пятиэтажки. Появились они при Хрущеве, в конце 1950-х, как самое убедительное решение жилищного вопроса. Туда переселяли людей из коммунальных квартир, бараков, сельских пятистенков.

Пришли пятиэтажки с запада – во времена оттепели мы во многом копировали заграничные образцы и питались иностранными идеями. К примеру, именно тогда в Москве появилась открытая Филевская линия метро: легенда гласит, что Хрущев увидел такие же линии в США. И это не говоря уж про кукурузу... Правда, пятиэтажки позаимствовали не у Америки, а у Франции. В середине XX столетия они были там очень популярны.

Будучи перенесенной на российскую почву модель пятиэтажки определила внешний вид целых микрорайонов. Более того: «хрущевки» превратились в наше собственное *национальное* достояние, и мы словно забыли о том, что имеем дело с чужим, иностранным, архитектурным и социальным опытом. Рассказывают, как один известный западный архитектор, увидев их, посоветовал: «Проложите мрамором швы между панелями, и это будут идеальные дома».

Да, «хрущевки» и правда были близки идеям Ле Корбюзье: прямые линии и углы, простота, экономичность. Настоящие дома-конструкторы, апогей массового строительства. И все же они не были небоскребами. Ну что это за небоскреб, высотой в пятнадцать метров?

Когда иностранцы вздохнули рассказывали о знаменитых посиделках на московских кухнях, они имели в виду именно кухни в «хрущевках». Маленькие (пять квадратных метров), уютные, где при желании размещается и диван, и больше человек. Здесь все так близко друг к другу, здесь исчезает личное пространство, зато появляется внутреннее. На этих кухнях невозможно не говорить, не спорить... не влюбляться. А как там читаются стихи! Попробуйте достичь того же за обеденным столом на тридцать персон: там ваше общение ограничится соседями.

Теснота «хрущевок», при всех ее плюсах, быстро надоедает. Скорее всего размеры комнат в них соответствуют размерам усредненного гражданина (у Ле Корбюзье, к слову, это был человек ростом 1 м 82 см). Но разве это жизнь, если в прихожей не можешь разойтись с котом? И под утро, в полусне, все равно мечтаешь о высоких потолках, вместительной прихожей и просторной лоджии. Я интересовался: такую лоджию хотят многие жители пятиэтажек.

Наверное, это архетип.

Единственное, что могло поспорить с кухней в пятиэтажке, – совсем уж крохотная прихожая. Гостям, особенно если их было много, приходилось выстраиваться в очередь чуть ли не с первого этажа. Зато соседи тоже были в курсе веселья, и вот, глядишь, в квартире уже целый дом. Чем не радость совместного проживания?

А санузлы, где, лежа в ванне, можно работать, разложив бумаги на унитаже! А комнаты, где, не вставая из-за стола, закрываешь дверь или чешешь кота, забившегося в противоположный угол! Говорят, люди, переехавшие в дома попросторнее, теряются и рвутся обратно.

Впрочем, у этого модернистского рая есть и обратная сторона. В пятиэтажках странная планировка квартир. Я бы даже сказал – загадочная планировка. Она использует принцип матрешки: из самой большой комнаты попадаешь в комнату поменьше, из комнаты поменьше – в совсем маленькую. Вот почему «жаворонкам» приходится жить ближе к прихожей – чтобы не будить домохозяев по утрам.

Отдельного упоминания заслуживают санузлы. Они в «хрущевках» почему-то совмещенные. Не каждый поймет, каково это чистить зубы, когда за дверью ждут своей очереди еще несколько человек, причем все обязательно опаздывают.

А какие в пятиэтажках тонкие стены! «Дядя Вася большой подлец», – говоришь ты шепотом на кухне. И через минуту дядя Вася уже ломится в дверь: «Это кто подлец? Это я подлец?» Никакой свободы слова.

На месте пятиэтажек теперь строят те же шестнадцатизэтажки, и рисковно предположить, что это не предел. Недаром московский мэр ездил в Америку в том числе и за передовым опытом по строительству небоскребов. «Нам в Москве предстоит построить 60 новых высотных жилых домов. <...> 47 этажей и выше, может быть, этажей до 60»², – заявил он «Известиям». Кстати, взамен мы поделились с американцами нашими наработками по строительству 17-20-этажных домов. Вот что называется взаимовыгодным сотрудничеством! Значительная часть пятиэтажек в России строилась с расчетом эксплуатации на многие десятки лет и пока не выработала свой ресурс даже на-половину. Просто любое самое крепкое здание не может обойтись без капитального ремонта. Поэтому во всем мире (в той же Франции) подобные здания реконструируют: расширяют комнаты, строят лифты. Да, это всегда приносит меньше денег, чем строительство с нуля. Но тут уже вопрос политики – куда вкладывать деньги.

Справедливости ради отмечу, что у нас тоже пытаются реконструировать пятиэтажки. Один из самых удачных проектов такого рода был осуществлен в подмосковном Лыткарине. Известен успешный пример реконструкции «хрущевки» в Санкт-Петербурге. Самый популярный способ – реконструкция с достройкой мансардного этажа. Говорят, выглядит неплохо.

Складывается ощущение, что сносят «хрущевок» гораздо больше, чем «переделывают». Недавно прямо на моих глазах вместо двух соседних пятиэтажек выросли шестнадцатизэтажки. Думаю, ту же картину сегодня можно наблюдать по всей столице. Вроде бы сносят те дома, с которыми уже ничего сделать нельзя. (Звучит, как приговор). Помню, то же самое говорили про гостиницу «Москва»... Вот только аргумент «все настолько плохо, что проще построить новое» как-то неубедителен. Зарубежное строительство знает примеры, когда реконструировали дома, построенные сразу после Второй мировой войны. А тут – всего-то 1960е. Естественно, «хрущевки» рассчитаны на гораздо меньшее число жителей, чем высотки. Соответственно, с помощью последних легче решить жилищную проблему. Однако сегодня часто не учитывают, что при строительстве той же шестнадцатизэтажки на месте пятиэтажного дома в несколько раз возрастает нагрузка на транспортные и энергетические узлы. Появляется больше людей, но – меньше места для жизни. А отсюда очереди в метро, в магазинах, пробки на дорогах, даже рост преступности.

Чем выше город – особенно его жилой фонд, – тем больше у города проблем. Вот и Америка знает это не понаслышке. Я уже упоминал Детройт: кварталы высотных домов там стали настоящими рассадниками криминала и отпугнули нормальных людей, так что теперь властям приходится заманивать их обратно всеми правдами и неправдами. А те, как написал мне один знакомый, все равно только делают вид, что живут в городе. На самом деле, они бегут из него сразу по окончании рабочего дня.

При строительстве современных жилых небоскребов не уделяют достаточно внимания и особенностям человеческого организма. Существует теория, согласно которой у человека есть своего рода биологическая высота – высота дерева. И если вы живете на каком-нибудь «заоблачном» этаже, то у вас хуже работает нервная система или слабеет позвоночник. Военные любят жаловаться на качество сегодняшних призывников. Не удивительно: большинство молодых людей призывного возраста выросло в высотках. А вот «хрущевки» идеально соответствовали комфортной для человека высоте.

² Юрий Лужков учил американцев строить 20-этажки // Изв. – 2004. – 5 февр.

Соглашусь, что современные жилые высотки, хоть и стандартизированы, как пятиэтажки, но все равно радуют глаз разнообразием проектных решений, цветов. Сегодня строят здания белые, красные, да что там – просто разноцветные; прямоугольные, квадратные, с арками и без. Все это, конечно, делает атмосферу города более жизнерадостной. Однако если разобраться, высотки одновременно действуют на горожан угнетающе. Они подобно скалам нависают над ними. А внутри жителей все время сопровождает шум лифтов, мусоропроводов. В «хрущевках» ни лифтов, ни мусоропроводов нет – и шумов тоже. А все эти бесконечные спуски и подъемы! К тому же до сих пор не изучено, каков он, человек, живущий на самой *верхотуре*: это может быть ребенок, который неделями не видит живого деревца. Или всеми забытый инвалид. Не есть ли это путь к новому урбанистическому одиночеству – одиночеству людей, попавших в ловушку «Лучезарного города»?

То, что современный город делает с психикой людей, – реальный повод для беспокойства. На одной научно-практической конференции, где демонстрировали достижения молодых изобретателей, произошла забавная история: мальчик совсем еще невеликих лет придумал машину для сноса домов. Этакое механическое чудовище, отдаленно напоминающее робота-трансформера. Представляете: вместо машины для строительства ребенок строит машину для сноса!

Все это не случайно: «хрущевки» сформировали наши взгляды и вкусы, стали мерой всего остального пространства. Они для нас и «родина», и «дом», пытаюсь вырваться из которого, мы в итоге всегда в него возвращаемся.

А секрет вполне прост. Мы носим наши «хрущевки» в себе.



Кирилл КОБРИН

Читать в семидесятые

К ИСТОРИИ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ

В.П.

Теперь здесь так много книг, но, Боже мой, каких книг...

Вагинов

Я с раздражением откладываю книгу. Не то. Вынимаю закладку, ставлю книгу на полку. Отворачиваюсь. Подхожу к другому шкафу, пробегаю глазами по разнокалиберным корешкам. Эту. Нет. Вот эту. Достāju книгу, наскоро перелистываю, выбираю закладку, кладу на тумбочку около кровати. Теперь хорошо.

Эта сцена повторяется часто, очень часто, слишком часто, иногда каждый день. Окруженный книгами, я чувствую себя, как несносный гурман, которого злая судьба наградила несварением желудка. Или нет, не злая судьба, а Бог, покаравший грех чревоугодия, Бог, который, как похмельный пьяница, лечит подобное подобным. Гурмана – несварением желудка. Меня – книжным психозом, обставившим процесс чтения таким количеством условий, страхов, ритуалов, предубеждений и даже суеверий, что иногда, в минуты слабости, вовсе не читать кажется значительно проще. В любом случае размышлять о чтении, строить стратегические и тактические планы осады того или иного автора или литературной эпохи, предвкушать тончайшие переключки параллельно читаемых книг – все это значительно удобнее и, конечно, спокойнее, нежели бродить у книжных полок, хватаясь то за один, то за другой корешок, недоверчиво и даже с определенным отвращением вытаскивать некий томик, разогревать внимание, настраивать эстетические рецепторы, затем медленно пережевывать первые пассажи, размазывая по нёбу самые мягкие места... Читая, в то же время нервически подбирать нужный контекст, помещать поглощаемые страницы в исторические, эмоциональные, эстетические рамки, выстраивать генеалогии, улавливать намеки, угадывать намерения автора и текста. Процеживать тонны фраз, добывая планктон смысла...

Труд тяжкий и в девяноста девяти процентах случаев неблагоприятный. Оттого немалая моя библиотека на две трети состоит из брошенных книг; половина из этих двух третей – книги, за которые я принимался несколько раз, книги отставленные, но, так сказать, не вполне оставленные; половина от этой половины – книги, покинутые уже тогда, когда до финиша оставался последний марш-бросок, то ли покинутые из озорства, то ли я намеренно закрывал себе путь к развязке, кто знает? может быть, потому, что не хотел знать, чем же там у них – Карениных, Сарторисов, симулякров с дифферансами – кончилось. Так ведь и не узнаю никогда! Впрочем, и не надо; не лучше ли додумать самому, сочинить эффектную (или банальную) концовку: Каренин внезапно увлекается живописью, бросает департамент, уезжает на этюды с Левитаном, сходит с ума от зависти и в припадке безумия отрезает себе ухо. Или: в последней книге «Опытов» Монтень подробно разбирает все преимущества магометанской веры и, убежденный собственными доводами, прокиивает Крест и воздает хвалу Полумесяцу. Или: на заключительной странице «Слов и вещей» Фуко внезапно выдвигает платоновскую концепцию Автора, столь самодоста-

точного, что ему не нужен никакой читатель. «Имя «читатель», словно написанное на прибрежном песке, будет смыто волнами приливов и отливов эманаций Великого Автора», – этими пророческими словами могла бы закончиться эта удивительная книга, но, увы, говорят, что покойный культуролог предпочел более спокойный финал.

В то же время вовсе отказаться от чтения я решительно не могу. День, проведенный без книги, отвратительно бесформен и дрябл. Скажу прямо: он бездарен. Бездарен в том смысле, что чтение – дар, сверху ниспосланный нашему жалкому роду, дар, доставшийся нам почти даром, и манкировать им может лишь неблагодарная, безблагодатная скотина или же безмятежный идиот, плавно съезжающий по перилам эволюционной лестницы. Зачем городить весь этот огород: просыпаться, принимать душ, ездить в машине или транспорте, разговаривать по телефону, обедать, заниматься любовью и прочая, и прочая, если на час-другой не выпасть из этого ловко налаженного хаоса в параллельные миры, устроенные по своим законам, миры, определяемые то как вымышленные, то как настоящие, но на самом деле – просто другие, гораздо более реальные, чем тот, в котором я сижу сейчас с книгой в руке. Если не читать, зачем жить? Очевидное решение этой задачки намертво усложняется для меня тем, что «нормально» читать я уже не могу. Я бешусь, когда пытаюсь читать (в общепринятом смысле этого глагола), я бешусь еще больше, когда пытаюсь не читать. Бешусь еще больше, быть может, потому, что явился в этот мир с книжкой в руке.

Из чрева матери я появился, конечно, безо всякой книги; по крайней мере на этот счет никаких свидетельств не осталось. Более того, первые четыре-пять лет моей жизни составляют «до-историю» – по аналогии с периодом жизни народов до обретения ими письма и чтения. Я совершенно не помню себя в этом возрасте. Сколько ни занываю в темные глубины персональной до-исторической памяти, ничего на поверхность достать не могу. Ни слова, ни звука, ни образа. Я даже не помню лиц родных и близких, окружавших меня тогда; они выплыли из мрака уже при свете первой книги, которую я взял в свои руки. Впрочем, *что* это была за книга, я тоже не помню: поржавевший багор памяти вытаскивает со дна сознания лишь более поздние названия: астрологическое «Двенадцать месяцев», сентименталистское «Не убегай, мой славный денек!», футуристическое «Мойдодыр». И некоторые элементы цветовой гаммы этих изданий: удивительная лазурь, которую я позже узнал в «Лимбургском Часослове», густой старушечий коричневый, дублировавший цвет позднесталинской кожаной мебели, наконец, приглушенный, какой-то уставший, тяжелый красный – цвет победившей, налившейся кровью, обрызгшей революции. Я до сих пор таскаю с собой во всех переездах удивительную детскую книгу Хармса, между прочим, наверное, первое его посмертное издание. Иногда я переворачиваю ее большеформатные листы, заслуженные, потрепанные, кое-где порванные, но заботливо заклеенные, на полях – первые неуклюжие буквы, выведенные мною, или моей младшей сестрой, или моей дочкой (уже не разберешь!); эти страницы сейчас, как и тридцать пять лет назад, дарят мне головокружительную беззаботность и твердое знание волшебной власти слов: стоит произнести «Уж я бегал, бегал, бегал и устал. Сел на тумбочку и бегать перестал» или «Иван Иваныч Самовар был пузатый самовар, трехверный самовар», как мир распахивается, голубое небо сияет, золотое солнце ласково улыбается, вдаль темнеет лес, в который убегает тропинка, та самая, что была нарисована на картине, висевшей у изголовья кровати Мартына Эдельвейса.

Но вернемся к истории моего чтения. Я провел детство, отрочество и юность у бабушки с дедом, которые были молоды, энергичны и почти полностью поглощены работой. Некоторое время за мной присматривала чья-то пожилая тетя: она забирала меня из детского сада, приводила домой, кормила и дожидалась прихода деда – он первым возвращался со службы. С этой грузной старухой мы сумерничали: она по неведомой мне причине почти никогда не включала свет, мы сидели в синеватой полутьме, она вязала, я разглядывал сочинение Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома». Помню, читать

эту книгу не шибко хотелось, несмотря на уверения старших, что она мне понравится. В самом деле, школы я еще не знал и – побаиваясь неизведанного – не особенно хотел знать. Рисунки же в этой книге изображали каких-то совсем мелких мальчуганов в форме, ремнях и фуражках, из-под которых выбивались непокорные вихры, на спинах у этих персонажей болтались основательные ранцы, я ничего подобного на улицах не видал: ни ремней, ни таких ранцев, ни – тем более! – таких фуражек, оттого мне казалось, что носовская школа находится где-то в укромном, специальном месте, куда я не попаду да и не собираюсь попадать. Зато я зачитывался книгами Гайдара, где всё было еще более непонятно, но по-другому; особенно мне нравились тамошние отцы – непременно военные, спокойные и надежные. Они расставляли вещи этого мира по местам и предупреждали, что война близко. Последнее обстоятельство особенно возбуждало меня. Помню, я все выспрашивал у взрослых, когда же наконец начнется война, прилетят самолеты, приедут танки, приплывут линкоры и эсминцы, наш город захватят немцы, а я буду водить партизан по районному парку только мне известными тропами. Взрослые в лучшем случае отмахивались, иногда же, как моя пожилая няня, начинали креститься, охать, причитать: мол, Господь с тобой, что ты говоришь... А войны хотелось ужасно, и эта страсть перекочевала в мои школьные годы и даже превратила меня на некоторое время из читателя книг в их истребителя; впрочем, об этом позже.

И вот я пошел в школу, которая действительно была мало похожа на ту, где учился незабвенный Витя Малеев. Первые два класса я – в свободное от уроков время – осваивал исключительно шедевры, которые, как мне кажется, надолго, если не навсегда, установили мою эстетическую планку. Сначала я прочел искрометного «Хоттабыча», затем – дзен-буддистскую, как мне сейчас кажется, трилогию все того же Носова о Незнайке¹; потом, не помню с чьей подачи, обнаружил в журнале «Наука и жизнь», который выписывал мой дед, героическую эпопею о Волшебнике Изумрудного Города и Урфине Джюсе и его деревянных солдатах. После этой основательной подготовки можно было уже начинать жизнь профессионального читателя. И я ее начал.

Следует сказать, что вообще-то книг у нас дома было мало. Совсем мало. И то в основном специальные, нужные бабушке и деду по работе. Несколько штук было моих, подаренных на день рождения и по случаю начала или окончания учебного года. Несложный расчет показывает, что к началу третьего класса у меня было не больше десяти–двенадцати книг, не считая совсем детских, время которых, увы, прошло. Да и дарили все больше всякую ерунду – специально сочиненные «для детей» жизнеописания пионеров-героев или истории про примерных мальчиков. Помню одну из них – об изнеженном сынке слишком заботливых родителей, которые пичкали отпрыска разносолами, а он почти ничего не ел, ходил худой, бледный, грустный, не играл с товарищами в лапту и не участвовал в маленьких, но героических делах октябрят. Тогда мама повезла его на южный курорт – лечиться. В поезде мальчик тоже куksился и почти ничего не ел – ни икры паусной, которую взяла с собой рачительная мамаша, ни редких фруктов, ни сыра со слезой. Попутчики смотрели на мать с состраданием и хором уговаривали вялого капризулю сжевать кусочек. И лишь один из пассажиров ничего не говорил, а только смотрел на мальчика весело и задорно. Это был моряк, который ехал из отпуска на свой корабль. Когда мама отвлеклась, моряк подмигнул пацану и позвал его в свое купе. Там он угостил его настоящим флотским борщом с краюхой черного хлеба, посыпанной крупной солью. Мальчик спорол пайку и попросил еще.

¹ Пример Носова научил меня тому, что один и тот же писатель может сочинять совершенно разные по качеству произведения. Поэтому сейчас я с энтузиазмом воспеваю любого автора, которому удался хоть один рассказ, хоть одна статья, хоть одна стихотворная строчка. Судите сочинителя по удачам, – вот мораль истории моего знакомства с творениями Николая Носова. Вообразите себе мир, в котором не было Незнайки, и, ужаснувшись этой картине, с чистым сердцем возблагодарите создателя вихрастого сэнсэя в огромной шляпе.

Ликующий матрос доставил мальчика обратно маме и сообщил о победе военно-морской кухни над обывательской стряпней гражданских лиц, к тому же подозрительно зажиточных. В результате все расстались чрезвычайно довольные друг другом: мальчик с аппетитом уминал борщи, сваренные прозревшей мамой, моряк отправился на свой корабль – за котелком бурого варева под бой склянок травить товарищам байки о своем педагогическом подвиге, ну а случайные свидетели этого происшествия приехали в пункты назначения и пересказали эту поучительную историю собственным детям. Недоволен был только я, восьмилетний читатель, которого автор принимал за полного идиота: откуда в поезде у моряка мог оказаться котелок борща, да еще и огненного? И потом – я это знал точно, съездив со старшими на юг – матросы в купе, тем более в одиночестве, не катаются.

В общем, книг у меня почти не было, зато у бабушки с дедом, у матери да и у отца, который жил отдельно, но принимал некоторое участие в моем воспитании, имелось множество знакомых в библиотеках; благодаря этим знакомствам я с трелью по шестой классы перемолол девять собраний сочинений, каждое – от десяти до двадцати томов. Думаю, что, кроме меня, никто в экс-советском мире не мог бы похвастаться, что прочел всего русского Дюма-отца, Жюль Верна, Вальтера Скотта, Конан Дойля, Фенимора Купера, Майн Рида, Стивенсона и Герберта Уэллса: всего около ста тридцати томов, вернее – томищ. Это было самое счастливое время моей жизни. Я вспоминаю такую картину: вечер, точнее – сумерки (интересно, почему в моих мемориях о детстве на часах всегда пять вечера, а за окном всегда осень или зима?), я сижу на диване в большой комнате, под торшером, читаю бесконечный роман Майн Рида о мальчике, который тайком пробрался на отплывающий корабль и просидел в трюме недели три, питаюсь сухарями, загадочной «солониной», изнывая от жажды и дрессируя корабельных крыс. Рядом со мной – миска только что пожаренных семечек, их теплый, сытный, домашний вкус и неспешность самого процесса (разгрызание, отделение шелухи, перетирание зубами лакомого зернышка) создают восхитительное ощущение устойчивости этого мира, его надежности, доброты. Зло изгнано отсюда и помещено под надежный контроль в толстые тома про мушкетеров, путешественников, детективов-любителей, пиратов и чудак-изобретателей. Оно, Зло, конечно скажет свое слово в этих книгах, но будет в финале повержено, обезврежено, обеззаражено. Процесс борьбы с ним был настолько увлекателен, что иногда даже хотелось попросить носителей приключенческого Добра повременить, оттянуть момент неизбежной расплаты, придержать меч палача из Амьена, дать миледи еще немного поинтриговать на страницах книги: пусть опять соблазнит какого-нибудь пуританина, испанского гранда или приходского священника. Хуже не будет: я-то знал, что Зло, персонифицированное леди Винтер, все равно будет наказано! Но лишних двадцать-тридцать страниц со шпагами, бургундским, жареными перепелами, альковными вздохами, звонкими экю стоили чести или даже жизни пары проходных персонажей.

Эти сто тридцать томов сформировали не только мои моральные принципы (коих, за некоторым исключением, я стыдливо придерживаюсь до сих пор), но и во многом – исторические, национальные и гастрономические пристрастия. Среди этих волшебных книг почти не было сочинений, посвященных античности (кажется, вообще не было, хотя я могу ошибаться), оттого я до сих пор совершенно холоден к роскошным эпохам эллинизма и позднего Рима. Зато средневековье, а также шестнадцатый и семнадцатый века были представлены во всем великолепии. Я уверен, что стал профессиональным медиевистом потому, что в десять лет прочел «Ричарда Львиное Сердце», «Квентина Дорварда» и «Черную стрелу». Тридцатилетняя война и чудовищный семнадцатый век живо интересуют меня до сих пор (хотя этот интерес переместился из области политики и войны во владения поэзии, драмы и архитектуры) – конечно же, из-за мушкетерской трилогии Дюма-отца. Лучшей страной в мире я до сих пор считаю Британию – ведь там жили (и живут!) Шерлок Холмс, доктор Ливси и Филеас Фогг. Ну а родным, «своим», временем для меня стало девятнадцатое столетие – ведь именно тогда (в «долгом

девятнадцатом веке», который кончился 1 августа 1914 года) были написаны почти все эти удивительные сочинения. Мои полубоги и питались соответствующим образом; хотя я до сих пор не пробовал черепашьего супа или печенного на углях мяса дикой африканской свиньи, зато уже сделал значительные успехи в кулинарном искусстве романов о Карле Девятом, Генрихах Третьем и Четвертом, Людовиках Тринадцатом и Четырнадцатом. Я уже не говорю о винах: самые банальные разновидности анжуйского и бургундского своими названиями до сих пор вызывают во мне священный трепет.

Итак, я проводил недели, следуя за персонажами героических фантазий романтической и позднеромантической эпох. Неудивительно, что мне хотелось, хотя бы отчасти, придать эстетическую значимость миру, который меня окружал, провинциальному советскому миру начала семидесятых. Сам того не подозревая, я реализовывал аристотелевскую теорию о мимесисе как основе искусства, только подражал я не «жизни», а «литературе», которая, впрочем, и была настоящей жизнью. На манер Холмса я часами вертел в руках грязные башмаки деда, делая тонкие умозаключения о том, где он сегодня побывал и что делал. Беда заключалась в том, что каждый день он ходил одной и той же дорогой на работу, с работы, по пути домой заходил в один и тот же магазин и покупал там примерно одно и то же. Еще я обожал зарывать клады у забора детского сада, расположенного прямо в нашем дворе; самое увлекательное было даже не зарывать, а собирать мешочки с сокровищами. Старые монеты я делал сам: покупал в спортивном магазине свинцовые грузила для удочек, расплющивал их молотком на подоконнике в ванной комнате (до идиотского «евроремонта» в нашей старой квартире на этой тяжелой бетонной плите можно было обнаружить исторические выбоинки), в результате получались металлические лепешечки неправильной формы, похожие на древние монеты, которые я видел в учебнике по истории Отечества для четвертого класса. На лепешечках я гвоздем выцарапывал профили правителей несуществующих государств, титулы и годы. Когда набиралось штук двадцать таких монет, я добавлял к ним несколько осколков цветного стекла, найденных моим другом Сашкой Смирновым на городской свалке (он, будучи исправным ее посетителем, находил там несметные сокровища), клал все в специальный полотняный мешочек, в котором носил в школу сменную обувь, и, вооружившись совком, бежал закапывать очередной клад. Я мечтал, что лет тридцать спустя здесь устроят археологические раскопки, и серьезные ученые, изучая мои свинцовые монеты, объявят о сенсации: мол, открыта неизвестная доселе цивилизация! Кажется, к этим мечтам меня привело не только чтение романов про искателей сокровищ, но и журнала «Наука и жизнь», в котором иногда печатали статьи про Атлантиду.

Чего я только не делал! На тщательно измызганном клочке бумаги писал чернилами записки о кораблекрушениях, закупоривал их в бутылки и подбрасывал эти бутылки на окском пляже в поселке Стригино. Делал пушечки из пустых пистолетных гильз, прикреплял их на лафеты, которыми служили катушки для ниток. У запаянного конца гильзы просверливалась дырочка, в гильзу засыпалось немного пороха, закатывалась дробинка, лафет прибивали гвоздиком к дворовой скамейке или доске, затем раскаляли докрасна иголку и прикладывали к отверстию в гильзе. Бабах!!! Недостатка в гильзах и даже порохе у меня и моих друзей не было – достаточно было совершить экспедицию на военное стрельбище, находившееся в двадцати минутах езды от дома.

Ну и, конечно, солдатики. Сначала мне их покупали, но скудость воображения и познаний производителей, помноженные на вечную стесненность в средствах родных, не позволили моей пластмассовой и оловянной армии сильно разрастись. В Советском Союзе существовало несколько основных исторических наборов солдатиков, из которых самым идиотским была орда одинаковых маленьких парадирующих синих матросиков, как мне сейчас кажется, превосхитившая некоторые шедевры соц-арта. Мало интересовали меня и персонажи советской военной истории: всадники в буденовках, чапаеобразный колесничий на тачанке, пулеметчик из фильма про самое начало Великой Отечественной, какой-то то ли сапер, то ли телефонист, склонившийся

над странным ящиком. Моим представлениям об исторически-прекрасном соответствовали лишь наборы «Ледовое побоище» и «Куликовская битва». Красные дружинники и ополченцы Александра Невского шли на битву с зелеными псами-рыцарями и вспомогательными кнехтами: тут были и лучники, и копейщики, и даже арбалетчик. Войско Дмитрия Донского почти не отличалось от новгородской армии – те же доспехи, шлемы, щиты, только дизайн поплоче. Загадочным образом в «куликовском» комплекте отсутствовал противник – никаких ордынцев в мохнатых шапках; Пересвет без Челубея. До сих пор не знаю, какая цензура и из каких соображений «зарубила» игрушечную Мамаеву орду; может быть, из необходимости крепить дружбу советских народов посчитали излишним будоражить чувства татар воспоминаниями – даже такими! – о блестящем прошлом? Так или иначе ратники князя Дмитрия джигитовали и бряцали оружием в нарциссическом одиночестве, заставляя меня выставлять их друг против друга, косвенно подтверждая таким образом тезис о бессмысленной княжеской междоусобице в русских землях. Но большего от советской промышленности ждать было нечего, и я принялся изговлять солдатиков сам. Конечно, я их не лепил и не выпиливал лобзиком, нет, я вырезал картинки с одиночными и коллективными воинами, наклеивал на картон, затем снова вырезал, приделывал картонную же ножку – и готово. Таким образом я элегантно обошел как убогий военно-исторический ассортимент игрушечной индустрии, так и невозможность сразу закупить сотню-другую «Ледовых побоищ», чтобы составить более или менее приличную средневековую армию.

И я обратился к книгам, но уже, увы, не как читатель, а как мародер. Конечно, кое-что можно было вырезать из тогдашних просветительских журналов (между прочим, прекрасных!) – и в «Науке и жизни», и в «Технике – молодежи» печатали довольно много статей, услаждающих советского любителя всяческих древностей; статьи эти сопровождались картинками, изображавшими то нормандского рыцаря, то швейцарского алебардщика, то наполеоновского конногвардейца. Вообще в те годы в стране водились всевозможные чудачки, которые направляли не востребованную бровастым социализмом энергию во всевозможные затейливые хобби, среди которых на почетном месте была история оружия и военной формы. Как раз для них и заводили специальные рубрики в популяризаторских изданиях. Впрочем, меня специальная, техническая сторона дела не особенно занимала, я подходил к латам, шишакам и щитам эстетически; так я довольно быстро разлюбил довольно однотипных рыцарей и пехотинцев высокого западного средневековья, зато охотился за вояками тех двух с лишним упоительных столетий, когда огнестрельное оружие уже появилось, но еще не вытеснило кирасы, яйцеобразные шлемы, длинные пики и мощные тесаки. Да и сами аркебузы, мушкеты, пищади конца пятнадцатого – середины семнадцатого веков были изумительно красивы: маньеристские линии прикладов, сложное металлическое кружево запала или кремневого замка, специальные подставочки, на которые водружались тяжеленные стволы тогдашних ружей... После журналов я принялся за ограбление старых школьных учебников по истории, особенно – истории средних веков; наконец, не довольствовавшись тамошним набором (довольно богатым!) воинов, я принялся за библиотечные книги. Первыми жертвами стали, конечно, «Истории военного искусства»; я до сих пор помню имена авторов этих достойных объемных трудов, которые печатались в сороковые-пятидесятые годы для просвещения красных командиров, – Дельбрюк, Меринг, Строков и Разин. За специальными военно-историческими трудами последовали специальные исторические, за ними – менее специальные; дело кончилось тем, что я стал вырывать иллюстрации из художественных книг и остановился только тогда, когда, перечитывая в сотый раз «Три мушкетера», наткнулся на недостающую страницу. Я никак не мог понять, куда она делась, пока не вспомнил, что собственноручно выдрал ее, чтобы пополнить ряды армии маршала Тюренна перед решающим сражением с испанцами. Я настолько увлекся мимесисом мира моих любимых книг, что созданный мною дивный новый параллельный мир стал физически отгрызать кусочки – страницы – от мира,

которому я подражал, от мира книг. В этой точке следовало сделать выбор между погружением в чужие миры и созданием своего собственного. И я его сделал. Я выбрал первое.

Порча исторических книг обогатила меня их чтением. К двенадцати годам я вдруг оказался читателем довольно специальных сочинений, посвященных излюбленным мной эпохам, к которым по сравнению с «эрой ста тридцати приключенческих томов» добавилась еще одна – наполеоновские войны. От внимательного изучения творений Клаузевица и Жомини я перешел к биографическим шедеврам Тарле и Манфреда, а от них – к дневникам Стендаля, его же «Пармской обители», к «Отверженным» Гюго, «Полковнику Шаберу» Бальзака. Не забывал я, впрочем, и другие времена: героически проштудировал «Историю Тридцатилетней войны» Шиллера (и до сих пор ни строчки более этого автора не читал), проглотил восхитительные авантурные романы Теккерея про Гарри Эсмонда и Барри Линдона и в конце концов наткнулся на «Записки бригадира Моро-де-Бразе», переведенные Пушкиным. Именно последней книгой в историю моего чтения входит русская классика.

В школе нас, конечно, заставляли штудировать хрестоматийные «морозисолнце», «великиймогучийрусскийязык», «люблюгрозувначалемая» и «однаждывстуденуюзимнююпору». Но для меня это не проходило по ведомству книг, тем более – интересов. Это было то же самое, что правила сложения дробей или правописания безударных гласных – формальная муштра, коей смысл придавал лишь результат, выраженный в хорошей оценке, за которой всегда следовало оставление тебя, хорошего мальчика, взрослыми в покое. «В покое» означало возможность читать свои книги или по-своему переигрывать битву у Ватерлоо. Оттого имена русских классиков всегда путались в голове и не означали ничего хорошего: за ними стояли парта, учебник и училка литературы, почему-то называвшая всех неслухов «лакеями». Однако некое происшествие, случившееся, когда мне было лет одиннадцать, открыло новую страницу моей читательской биографии.

Отец, придя в ужас (быть может, напускной) от того, что его сын, лишенный облагораживающего родительского примера, не отличает Тургенева от Толстого, привез мне как-то огромный чемодан, в котором лежал только что выпущенный десяти томник Пушкина. Я думаю, это одно из лучших книжных изданий на свете. Сейчас эти тома стоят передо мной. Красный цвет обложки, приглушенный почти тридцатью годами жизни в любящих руках, стал благородно-коричневым, золотое тиснение выцвело, потемнело, но не утратило торжественности, бумага пожелтела ровно настолько, чтобы, указывая на свой возраст, в то же время не напоминать о букинистических лавках, этих ужасных местах, где к книгам относятся, как к мертвым мухам, случайно оказавшимся в янтаре издательских эпох. И, конечно же, запах. Любая книга из этого десяти томника пахнет так, как должна пахнуть книга, – хорошей бумагой, клеем еще не совсем химической эпохи, нитками, кожей, пылью. Каждый том имеет ровный сладковатый запах покоя и воли, именно того, о чем мечтал автор, заполнивший страницы этих десяти книг стихами, прозой, рисунками. Тогда, в середине семидесятых, десяти томник Пушкина своим видом указывал на какую-то возможность удивительного счастья на доселе неведомых мне путях – ведь там не было картинок с воинами, которые хотелось бы вырезать, да и повествовалось в этих книгах не о приключениях. Точнее – как раз о приключениях, но совсем иного свойства, нежели те, которыми я упивался в детские годы. Субстанция счастья была заложена не в картинках и не в атрибутах повествования, вроде напитков, еды, дуэлей и проч., хотя и превосходные картинки, и увлекательные атрибуты в пушкинских томах наличествовали; истинным источником счастья были сами строчки, слова – точные и единственные. Сперва я прочел и перечел (а потом снова перечел и до сих пор остановиться не могу) пятый том, в котором была собрана вся «сюжетная проза». Я обожал (и обожаю) здесь все: и роковой «Выстрел», и графическую «Пиковую даму», и дорогую сердцу «Капитанскую дочку», и наброски, особенно «Гости съезжались на дачу...» и «В 179* году возвращался я...». Что я во всем этом понимал – не помню; наверное, почти ничего. Я просто

очутился в мире, в котором всегда светило солнце Высокого Разума, и, покинув его позже, до сих пор ношу в себе живую память о нем – достаточно открыть любой из этих томов; нет, даже не открыть, а достать с полки и приняться.

От «Выстрела» и «Пиковой дамы» был прямой путь к «Герою нашего времени». Иван Петрович Белкин вернулся на службу и под именем Максим Максимиыча отправился воевать Кавказ. Сильвио помолодел, взял фамилию Печорин и поехал туда же; некоторым образом персонаж отправился служить под начало автора. Многие другие герои пятого пушкинского тома тоже постепенно перебрались в «Героя нашего времени», так что «Бэла», «Княжна Мэри» и «Фаталист» показались мне просто продолжением уже известных сюжетов. Впрочем, Лермонтова я читал уже в начале несчастного возраста романтических порывов, так что, отвыкнув было от подражательных затей эпохи «ста тридцати приключенческих томов» и «бумажных солдатиков», я вновь вернулся к жизненному мимесису мимесиса литературного, представляя себя гордым, одиноким, холодным странствующим офицером, да еще и по казенной надобности. Я с таким усердием задираю нос и принимал романтические позы, что общественно-озабоченная учительница литературы, уже другая (по совместительству – организатор внеклассной работы), обзывала меня «Печориным», за что я ей был ужасно благодарен².

Обращение мое к русской классике довершили «Мертвые души». То, на что намекали прозрачные страницы «Гробовщика» или «Барышни-крестьянки», было явлено здесь во всей красе: лучшие книги написаны ни о чем. Гоголь предложил мне следить за разговорами двух деревенских идиотов или за перипетиями туалета франтоватого жулика столь же сосредоточенно и радостно, как Конан Дойль – за расследованием убийства сэра Генри Баскервиля. Источником читательского наслаждения – а о чем, как не о наслаждении, можно говорить в связи с «Мертвыми душами»? – является безудержное, но строго направленное автором извращение самого языка: вот как я бы сейчас сказал, я, почти потерявший способность просто, безо всяких разогревающих appetit ментальных закусок, наслаждаться чтением любимых книг.

Раз уж мы заговорили о языке, то надо сказать, что в то время как я, объевшись на пирах Коробочки и Собакевича, лечился кислым крыжовником Чимши-Гималайского и водянистым арбузом Гурова, в моем распоряжении неожиданно оказался еще один язык – английский. Дело было так. Я учился в специальной английской школе, к тому же со второго класса занимался с репетиторшей и был в классе чуть ли не первым по этому предмету, однако как «язык», то есть то, на чем написаны целые литературы, английский не воспринимал. Все-таки не стоит забывать, что в те времена в закрытом пролетарском городе найти настоящую английскую книгу или услышать английскую речь за пределами учебных заведений было практически невозможно. Понадобился случай, чтобы я обрел самого верного друга, друга, который был под боком уже несколько лет, но находился в тени, на вторых, даже третьих ролях. Классе в восьмом кто-то подарил мне роман Агаты Кристи на английском, напечатанный советским учебным издательством для нужд студентов инязов. Надо сказать, что я обожаю (и теперь обожаю) детективные истории и проглатывал все переводные детективы, которые можно было достать. Воспитанный на Конан Дойле и Эдгаре Алане По, я терпеть не мог историй про Мегрэ и – явно предпочитая холодную логику тепловатой психологической каше-размазне – ценил только британские (по жанру, а не подданству) детективы; оттого, конечно, расследования Эркюля Пуаро котировались мной лишь чуть ниже, чем истории про Холмса и Дюпена. Но за «Убийство Роджера Экройда» на языке оригинала я все никак не брался, предвкушая кислую тяготиину словарных поисков каждого десятого слова. Зимой я схватил грипп и дней на десять оказался на больничном режиме со всеми сопутствующими

² Особенно учитывая, что своих фаворитов эн масс она призывала к общественным свершениям омерзительным кличем «комса!», в котором слышалась «хамса» - название крупной кильки пряного посола.

тогда болезни развлечением – чаем с приторным малиновым вареньем, вызывающим спазм горячего тела прикосновением ледяного стетоскопа, жидким дневным сном, кисленьким порошочком на языке, неурочным просмотром дневных телепрограмм и беспорядочным перечитыванием подзабытых любимых книжек. Да, в советские семидесятые умели и любили болеть – обстоятельно, неторопливо, внимательно прислушиваясь к себе, располагаясь надолго. Так я и болел. На третий день, когда ртутный столбик умерил свои жаркие скачки, я перебрал лежавшие у дивана книги и понял, что ничего из этого сейчас не хочу. Кажется, это был первый ранний симптом той болезни – настоящей, роковой, не гриппа, который трепал тогда мое тело, а болезни, что изводит меня сейчас, болезни «книжного сплина»; по крайней мере до того дня ничего подобного со мной не случилось. Вяло перелистав бабушкиного чудовищно скучного Дрюона, я встал и с легким головокружением отправился к книжной полке. Но и там ничего подходящего не обнаружил. Тогда-то я и вспомнил про Агату Кристи, достал ее из учебного ящика шкафа и, прихватив оттуда же словарь, рухнул обратно на одр болезни. К выздоровлению я уже знал, кто убил Роджера Экройда (а вы знаете?).

Чтение на английском отличалось от чтения на родном: в первом наличествовал спортивный, джентльменский элемент преодоления трудностей, тур де форс; а что могло более соответствовать самому этому языку и порожденной им культуре? Постепенно чтение книг на английском выстроилось в параллель к чтению книг на родном; теперь, отодвинув дедушкины «Правду», «Известия», «Медицинскую газету» и «Советский спорт», я гордо выкладывал на журнальный столик две книжки, подложив под одну из них основательный фундамент словаря. Да-да, именно тогда, в конце семидесятых, я совершил этот роковой шаг – перешел на одновременное чтение двух книг. В последующие годы эта система только усложнялась – принцип «русская плюс английская книга» превратился сначала в принцип «русская прозаическая книга плюс русская стихотворная книга плюс английская книга», затем в принцип «прозаическая книга на русском плюс русская стихотворная книга плюс научная книга на русском плюс английская книга». В девяностые усложнение продолжилось – линия «английская книга» разделилась на «английскую художественную книгу» и «английскую научную книгу». И вот сейчас эта книжная шизофрения достигла апогея, почти парализовав мое чтение. На тумбочке возле кровати лежат четыре книги и английский словарь; большинство этих книг меняется раз в два дня, что вовсе не означает, что они прочитываются. Но, что еще ужаснее, в скором времени книг (и словарей!) будет на одну единицу больше. В гостиной меня поджидает прелестно изданный томик Богумила Грабала в оригинале и надежный чешско-русский словарь, изданный до рокового 1968 года. Слава Богу, мои примитивные познания в языке Яна Неруды и Ивана Блатного пока не позволяют читать книги на нем в постели; это пока не чтение, а учение, с ручкой и тетрадь, но я с надеждой жду того момента, когда книжная гора на тумбочке еще прирастет, прирастет настолько, что в один прекрасный день (точнее – в одну прекрасную ночь) я случайно задену ее спросонья рукой и гора, увенчанная моими очками, закачается и рухнет, и я, заваленный книгами, лишенный очков, останусь наконец свободным. Незрячим и свободным, как Борхес, который, погружаясь во тьму слепоты, практически перестал читать книги, а только их пересказывал.



Борис ХАЗАНОВ

Писатель – журналист – писатель

ЗАМЕТКИ О ВАЙЯНЕ И ЭРЕНБУРГЕ

Nous croyons devoir prévenir le public que nous ne garantissons pas l'authenticité de ce recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n'est qu'un roman.

Avertissement de l'Éditeur¹

Гладко зачесанные, умощенные бриолином волосы, модный костюм, внешность сноба. Ухватки фата. Круг друзей: поэты-сюрреалисты, анархо-революционеры, «коммунизаны». Любимое общество: шлюхи. Ночные странствия по кабакам. Американские башмаки. Виски. Марихуана. Стекланный, временами почти мертвый взгляд. Дюк Эллингтон. Моцарт. Еще виски. Взлететь и упасть. А потом написать роман.

Запись в дневнике: «Великие люди, вот кто делает историю... Но меня интересует, каким образом история дает развернуться великим людям. Я любил коммунизм за то, что он разбудил большевиков, стальных мужей, львов. Сталин: человек из стали».

Еще две записи.

«Гуманизм стал реакционным. Гуманизм – это оружие привилегированных классов... Я против гуманизма».

«Девушка ждет автобуса на вокзале в Маконе. Прогуливаясь, работает попкой, этого достаточно, чтобы сделать ее интересной, и она это знает. Сидя, стоя – какое спокойствие и самообладание, какая уверенность в себе...»

Еще виски и дивертисмент Моцарта. Писатель живет с женой-итальянкой, несгибаемой коммунисткой и верной подругой, в домике на окраине деревни, в тишине и благодатном климате, в предгорье Французских Альп. Розы, орхидеи.

Чувство тревоги, внутреннее беспокойство; выпив, он не может усидеть на месте. Хлопнуть дверцей своего «ягуара», вывернуть с проселочной дороги на автостраду и дать газ. Холодный, почти мертвый взгляд. На светящемся диске не хватает нескольких делений, чтобы оторваться от бетона и взлететь к небесам. Писатель свободен, ибо он выбрал свободу. Он свободен, ибо выбрал революцию. Он свободен, и поэтому он член коммунистической партии. Несмотря на то, что он член партии, он свободен. Все дурное, что говорится о Советском Союзе, – клевета врагов свободы.

Запись в дневнике: «Седьмая неделя без выпивки... Советский человек не может смотреть на вещи глазами западного человека, не может мыслить так, как мыслит западный человек, не может реагировать как он – и наоборот. Точ-

¹ Мы считаем своим долгом предупредить публику, что мы не ручаемся за подлинность этого собрания писем, и более того, у нас есть веские основания полагать, что это не что иное, как роман. *Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло*. Опасные связи. Предупреждение издателя (1782). (Цитаты из «Интимных записей» Р. Вайяна – в переводе автора статьи).

но так же в алкогольное время невозможно смотреть на вещи, думать, реагировать, как в трезвое время года».

Другие записи.

«В последние месяцы много занимался любовью... Мулатка Эммануэла в лесу св. Франциска. Аромат черных и жестких волос под мышками. Согласилась, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся, но смотрит с любопытством. Хотела сниматься в кино и еще Бог знает что... Магда, в заведении на улице Саро le Case. Изысканная учтивость римских бл...й... Роланда с площади Этуаль...»

«Часов в одиннадцать заснул, со снотворным, как обычно. Проснулся в десять минут первого. И – застонал: е... твою мать! (Merde!) Какая тоска!»

«Вернулся из Москвы. Две недели тому назад, когда я туда приехал, в аэропорту, в зале ожидания еще стоял Сталин. Теперь статую закрыли белым чехлом. Скоро ее уберут. Придут рабочие, повесят петлю на шею, приладят лебедку, и поминай как звали... Теперь и мне пришлось снять со стены его портрет. Я человек несентиментальный. Однажды я прогнал женщину, которую любил больше всего на свете; смотрел, как она тащит свои чемоданы, спускаясь по лестнице; она подняла ко мне лицо, залитое слезами, это лицо отпечаталось в моем сердце, но я не заплакал... И когда Франция в июне сорокового года была разгромлена, я не пролил ни слезинки. А когда умер Сталин, я плакал. И теперь снова я плакал, плакал все ночь. Плакал о Мейерхольде, которого убил Сталин, и плакал о Сталине-убийце».

Ответы на «анкету Пруста» (известную в России по ответам Маркса):

«Какое качество вы предпочитаете в мужчине? – Трезвый взгляд на самого себя».

«Ваш любимый цвет? – Черный, как волосы женщин на берегах Средиземного моря».

«Что вы больше всего не любите? – Отвечать на вопросы!»

В домашней библиотеке Ильи Эренбурга стояли изящные томики – подарок друга, собрание сочинений Вайяна, выпущенное в шестидесятых годах. Сейчас в книжных магазинах Парижа можно найти только роман «Закон»; все остальное давно не переиздается.

Умерший весной 1965 года на 58-м году жизни от бронхогенного рака легких, некогда известный в СССР писатель и журналист Роже-Франсуа Вайян, возможно, заслуживает того, чтобы считаться малым классиком французской литературы XX века. Две–три книги все-таки дают ему право на этот ранг, и прежде всего «Закон» («La Loi», Гонкуровская премия 1957 г.). По-русски, в образцовом переводе Н. Жарковой, роман появился уже после смерти автора; то, что переводилось и пропагандировалось во времена, когда Вайян состоял в рядах так называемых прогрессивных писателей Запада, другими словами, был членом компартии, носило отчетливый отпечаток этой принадлежности и забыто, по-видимому, прочно.

Я помню разговоры и споры с известным литературным критиком, старинным и близким другом, которого приводили в негодование попытки так или иначе объяснить преклонение некоторых западноевропейских писателей перед Сталиным и советским режимом; моему собеседнику казалось, что я склонен их оправдывать. Он не мог простить ни прокоммунистических симпатий Сартру и Симоне де Бовуар, ни двусмысленной лояльности престарелому Бернарду Шоу, ни тем более коммунистических убеждений какому-нибудь Роже Вайяну.

И, в самом деле, читая заметки Бовуар о чуть ли не ежегодных поездках с Сартром в СССР, испытываешь неловкость – ведь неглупые же в конце концов были люди. О другой супружеской паре, Луи Арагоне и Эльзе Триоле, и говорить нечего: их поведение порой нельзя было назвать иначе как постыдным.

Причин было много, не последнюю роль играли высокие гонорары в высокоценной валюте, которые отваливали советские издательства за все, что переводилось и выпускалось неслыханными в Западной Европе тиражами. Но

главными оставались – если не для всех, то для многих – идейные ориентации. Решающим был политизированный образ мыслей, пресловутые политические убеждения, всегда основанные на бинарной схеме: враг моего врага – мой друг, друг врага – враг. Питать отвращение к Советскому Союзу, брезгливо относиться к корявому вождю народов, испытывать, казалось бы, вполне естественные чувства – означало оказаться в лагере правых. Быть независимым в этой системе представлений значило зависеть, «лить воду на мельницу». Сюда присоединялась и та особая казуистика, по которой попытки неужитительно отозваться о политике квалифицируются как «тоже политика».

То, что эти друзья мира и социализма в свою очередь «льют на мельницу», что их известность, талант, их ум или глупость, честность или суетность беззастенчиво используются, что они затянуты в машину, в данном случае – советскую пропагандистскую машину, как будто не доходило до их сознания.

Политическое мировоззрение может сыграть с писателем злую шутку. Политическое мировоззрение предписывало этим властителям дум носить шоры, запрещало интересоваться всем, что могло оказаться разоблачительной правдой; эти люди, как дети, могли утверждать, что XX съезд «открыл им глаза»; они не хотели знать ни о коллективизации, ни о голоде, ни о тотальном сыске и всеобщем доноситељстве, ни об убийствах, поставленных на конвейер, ни о системе принудительного труда, не имели представления о реальной жизни в советском государстве, о тотальной лжи и неслыханной по размаху и наглости пропаганде – не хотели знать и поэтому ничего не знали. СССР был маяком, светочем – и в то же время оставался провинцией мира, полуазиатской страной, сама по себе она их мало интересовала, они были поглощены политической борьбой в собственной стране, русского языка не знали, социализм, коммунизм – эти слова в их устах имели совершенно иной смысл.

Политические убеждения не разрешали им допустить ту простую мысль, что если бы, не дай Бог, режим, подобный советскому, победил в их собственной стране, они мгновенно лишились бы своих кафе и привычных удобств, своих клубов и редакций, возможности собираться вместе и дискутировать, говорить, что думаешь, и писать, что хочешь, жить, где вздумается, и ездить по разным странам. Поборники свободы, они как будто не догадывались, а если догадывались, то не решались сказать вслух о том, что страна, внушавшая им чуть ли не религиозный пиетет, была царством тотальной несвободы. Они по-прежнему видели в Советской России бастион левых сил и защитницу всех угнетенных – между тем как режим в такой же мере заслуживал наименование «левого», как и крайне правого, приобрел отчетливые фашистские черты – не заметить их мог только слепой.

Но они могли бы возразить, что в их собственной стране социальная несправедливость и социальная борьба отнюдь не были выдумкой марксистов, что в борьбе за права трудящихся коммунисты стояли на переднем крае, что в годы оккупации – память о них была свежа – партия стала активной участницей Сопротивления, что Советский Союз расколошматил Гитлера... Словом, ясно, что они могли бы сказать.

Эта филиппика понадобилась не ради того, чтобы осудить или оправдать Вайяна, – хотя в целом тема отнюдь не утратила актуальности, – но для того, чтобы оценить, понять некоторые из приведенных выше записей, предназначенных отнюдь не для публики. Пусть не удивляет сегодняшнего читателя плач по Сталину, эти сопли, размазанные на листах дневника. Быть может, писатель оплакивал самого себя. Холодному снобу, каким он хотел казаться, либертену-аморалисту в манере виконта де Вальмона, героя высоко ценимого Вайяном романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», которому (и роману, и герою) он немного подражал, пригрезилось, что он обрел великую веру. «*Escrits intimes*» – воров заметок, дневниковых записей, писем, набросков статей и заготовок прозы – были опубликованы вдовой Вайяна в конце 60-х годов, и, надо сказать, иные страницы этого тома принадлежат не к худшему из написанного Вайяном.

Илья Эренбург (известность Вайяна в СССР – в большой мере его заслуга) посвятил умершему другу главу в своих мемуарах, страницы, полные недомолвок, рассчитанные одновременно и на сообразительность читателя, и на его неосведомленность. Но они принадлежат к немногому и лучшему, что написано на русском языке о Роже Вайяне. Эренбург привел и выдержки из «Интимных записей», в то время рукопись еще не была издана.

О многом, как водится, мемуарист умолчал. Между июнем и июлем 1956 года в дневнике Вайяна крупными буквами посредине листа начертано: ZA NE M'INTERESSE PLUS. (Мне это больше неинтересно).

Означает ли эта запись, что он поклонялся священным коровам только потому, что это было «интересно»?

Пятьдесят шестой год: доклад Хрущева и начало оттепели. Пятьдесят шестой год – это также советские танки в Будапеште и кровавое подавление венгерского восстания. Но воздержимся от слишком прямолинейных толкований. Вайян подписал протест против вторжения в Венгрию. Несколькое времени спустя он вышел из Французской коммунистической партии, и все же нельзя утверждать, что идеи коммунизма, классовой борьбы, пролетарской революции и т.д. вполне утратили для него убедительность. Просто они перестали его интересовать. Невозможно утверждать, что он и прежде был образцовым коммунистом. Слишком трудно было сочетать индивидуализм с партийной дисциплиной, сексуальную свободу и даже одержимость сексом, эксцессы, которым чуть ли не до конца жизни предавался Вайян, – с партийным аскетизмом, рифмовать свободомыслие с догмой, независимость художника с идеологией. Нельзя даже сказать, что его вообще перестало интересовать политика (последняя опубликованная им статья называлась *Eloge de la politique*, «Похвальное слово политике»). И все-таки.

Эренбурга можно было бы избрать как модельную фигуру, противоположную Вайяну. Эренбург любил называть себя писателем, употребляя это слово в широком смысле; очевидно, что правильней было бы назвать его журналистом, который хотел быть не только журналистом. Кем же еще? Писателем. И он как будто осуществился в этой роли – как будто. Слишком многое, и не только недостаток художественного дарования, мешало блестящему, в других отношениях богато одаренному Эренбургу стать писателем-художником. На его примере можно видеть, чем отличается журнализм от писательства: вопреки распространенному мнению это две вещи несовместные. Мы говорим не только о политике в собственном смысле. Речь идет о чем-то большем: об отношении к действительности, о способе видеть, воспроизводить и преобразовать мир.

Французское слово *journal* означает «журнал» в том смысле, какой это слово имело в русском языке первой половины XIX века: дневник («журнал Печорина»); другое значение – газета.

На примере Эренбурга хорошо видно, чему может научить многолетняя деятельность журналиста, то есть работа для газет: оперативности, чуткости, злободневности, умению возвращаться, как флюгер, снежке, которая становится рабочим методом, риторическому суесловию, привычному злоупотреблению языком, умению навести блеск на общие места, умению носиться, как по льду на коньках, по поверхности событий, наконец искусству маскировать тенденциозность. На примере этого автора, единственного европейца среди всех своих советских коллег, очень много сделавшего, очень много написавшего и отнюдь не ушедшего навсегда *ad patres*, – если сегодня читать его книги почти невозможно, то его путь, его личность, его гуманизм и человеческое обаяние по-прежнему незабываемы: на примере Ильи Григорьевича Эренбурга можно видеть, как глубоко внедренная, регулярно, как наркотик, впрыскиваемая в кровь несвобода мысли становится, начиная по крайней мере с тридцатых годов, второй натурой; трехтомные мемуары «Люди, годы, жизнь», последнее и, вероятно, значительнейшее творение Эренбурга, – памятник этой несвободе.

Вайян, который совсем молодым человеком сделался журналистом-газетчиком, репортером, объездившим весь свет, прошел путь в противоположном направлении. Он испытывал непреодолимую потребность быть писателем. Он им стал.

Предки Роже Вайяна были савойскими крестьянами, родители – мелкими буржуа из провинциального городка в северном департаменте Уаза. Он окончил престижную Высшую нормальную школу в Париже. Как уже сказано, занялся журналистикой. Рано пристрастился к наркотикам, окунулся в богему, практиковал, вслед за своим кумиром Артюром Рембо, *derèglement de tous les sens* (раздрызг, расстройство всех чувств). Пробовал себя и в художественной литературе, испытал сильнейший соблазн сюрреализма.

Словечко *surréal* изобрел Аполлинер. Литературная школа, присвоившая себе это название, пришедшая на смену дадаизму, сложившаяся после первой мировой войны, ушла в прошлое (мы не касаемся сюрреализма в живописи и кино, который оказался более долговечным). Но тот, кого однажды, пусть издалека или даже спустя много лет, коснулось ее веяние, вправе сказать, что сюрреалистическое письмо – не отвлеченная программа, но некая фаза в эволюции писателя. Во всяком случае, живя сегодня, невозможно не учитывать ее уроки. Нельзя представить себе серьезного прозаика, который не принимал бы к сведению эксперимент сюрреализма.

Сюрреалистическому мировоззрению не надо учиться. Самые разные писатели только что минувшего века становились сюрреалистами в своих попытках вырваться из засасывающей традиционной прозы – ничего не зная о Бретоне и Суно, не интересуясь фрейдизмом.

Подсознание, насколько его можно вообще «осознать» и артикулировать; сновидение – театральные подмостки подсознания или, если угодно, сверхсознания; причудливая образность, автоматическое письмо, сексуальный туман, «черный юмор», метафизический алогизм, символ, не поддающийся расшифровке, – все эти приобретения литературы первой трети XX века, разумеется, давно перестали быть новинкой и вместе с тем не утратили своей новизны.

Мы сказали: фаза, этап. Вайян, в отличие от «корифеев» – Бретона и Арагона, кстати, вступивших и в ФКП, не стал знаменосцем сюрреализма. Он был человеком другого темперамента. Когда он пытался теоретизировать, выходила путаница (примером может служить послевоенная статья «*Le Surréalisme contre la Révolution*»). В его зрелом творчестве сюрреалистская юность почти не оставила следов; ссора с Арагоном подвела черту под целой эпохой. В июне 1940 года Франция капитулировала. Вермахт оккупировал значительную часть страны, Третью республику сменило «Французское государство» под началом престарелого маршала Петена в Виши. Вайян, сперва было ставший коллаборационистом, примкнул к Сопротивлению (которому позже посвятил свой первый роман), сделался настоящим бойцом – не литературным, а реальным, ушел в подполье, ежедневно рисковал жизнью, считался специалистом по пусканию под откос поездов с немецкими солдатами и вооружением.

Герой небольшого (и отнюдь не лучшего в наследии Роже Вайяна) романа «*La Fête*», «Праздник», многоопытный стареющий писатель Дюк повторяет слова Вайяна: «Мне это больше не интересно». Дюк – бывший коммунист и журналист, борец за права угнетенных, едва не расстрелянный в Алжире. Теперь он живет на вилле среди живописной природы и только что начал роман «Праздник», который мы читаем. У Дюка и его жены гости – начинающий писатель Жан-Марк с молоденькой женой Люси. Работа не клеится, Дюку нужна встряска, жена понимает его и молча соглашается отпустить мужа и Люси в трехдневный вояж; Жан-Марк тоже как будто не возражает. В номере отеля, где остановились Дюк и Люси, устраивается праздник лубви, описанный со знанием дела, после чего краткосрочные любовники возвращаются к супруге и супругу и Дюк с новыми силами принимается за роман.

«Мой метод, – говорил Вайян в одном из многочисленных интервью, – превратить каждую главу в законченную сцену. Я начинаю писать не раньше,

чем представлю себе обстановку и поведение действующих лиц во всех подробностях, так что уже не могу переставить мебель, изменить диалог...». Жесткая эстетика, трезвость и ясность повествования, дисциплинированное письмо – стиль зрелого Вайяна ориентирован на классиков XVII–XVIII веков: мадам де Севинье, герцога Сен-Симона, Шодерло де Лаклю; к ним надо присоединить Бенжамена Констана и Стендаля. От XX века у Вайяна – особый остро-сладковатый сок, которым пропитана его суховатая проза: всепроникающий эротизм.

Так написан «Закон», созданный в летнем доме на юге Аппенинского полуострова, в Абруцци, где одно время жил Вайян. Заголовок не лишен иронического смысла, потому что «закон» есть не что иное, как торжество произвола и беззакония. Вместе с тем речь идет о чем-то большем, чем игра, в которую играет вся Южная Италия. Речь идет о неизбывном, вечном законе жизни, в которой состарившихся владык побеждают молодые хищники, чтобы уступить место хищникам следующего призыва. Это очень мрачная книга.

Играют в карты, в кости, иногда просто тянут жребий на соломинках. Выигравший, именуемый хозяином, *padrone*, получает право распоряжаться судьбой того, кто проиграл. «Хозяин» может им помыкать, как ему вздумается; проигравший превращается в безмолвного раба. Между прочим, игра в «закон» удивительно напоминает уличные игры подростков, процветавшие во времена нашего детства в Москве, за тысячу верст от Италии.

Действие романа происходит в городке, где есть полиция, есть суд и так далее, но все это – видимость. Господствуют два зверских инстинкта, идет борьба за власть над городом и за девственность юной красотки Мариетты. Побеждает сама Мариетта – будущая хозяйка города...

Мы говорили здесь о двух совершенно разных литераторах. Ни тот, ни другой не заслуживают забвения.



Вера КАЛМЫКОВА

Заложник времени

О КНИГЕ Б.САРНОВА «СЛУЧАЙ ЭРЕНБУРГА»

«Разговор... происходил на эренбургской даче в Новом Иерусалиме. Отправившись мы туда на редакционной машине и провели там чуть ли не полдня. Нас накормили обедом и угостили хорошим французским коньяком. Не был забыт при этом и наш водитель.

Видимо, удовлетворенный оказанным нам приемом, на обратном пути он полюбопытствовал:

– А у кого это мы были?

Лазарь коротко бросил:

– У Эренбурга.

Он, понятное дело, был уверен, что никаких дополнительных объяснений этот его короткий ответ не требует.

Но за первым вопросом тут же последовал второй, совершенно нас ошеломивший:

– А кто это?»

Приведенный эпизод – из книги Бенедикта Сарнова «Случай Эренбурга» (М.: «Текст», 2004). Упомянут Лазарь Лазарев, заместитель редактора отдела литературы «Литературной газеты» (конец 1950-х – начало 1960-х годов). Книга Б.М. Сарнова – попытка создать образ Ильи Григорьевича Эренбурга в жанре исторического портрета. Герой рассматривается с разных точек зрения: как знаковая для русской литературы фигура, общественный и политический деятель, эстетический и этический ориентир, писатель, не выполнивший свою задачу, близкий знакомый... Образ писателя дан в широчайшем биографическом контексте – не только его собственном, но и Б. Сарнова; за счет этого границы личности размыкаются и обретают иной, более крупный масштаб.

«С грехом пополам объяснив ему, кто такой Эренбург, мы только молча переглянулись. <...> Я склонен был объяснять случившееся классической ленинской формулой: “Страшно далеки они от народа”. <...> Лазарь... считал, что объяснение зауса лежит в сфере биологии, а не социологии: будь, дескать, наш шофер хоть немного постарше, объяснять ему, кто такой Эренбург, нам бы не пришлось. <...> Мы оба сошлись на том, что все это – грустно. ...Ведь с сорок пятого года минуло всего-навсего каких-то там жалких пятнадцать лет».

Можно ли назвать «жалкими» годы, отделяющие нас сегодня от сорок пятого, я не берусь судить; однако нынче не помнят не только Эренбурга. Сегодняшний москвич – сверстник того юного шофера – не знает, где расположен Петровский замок, а проезжая мимо, уверен, что это мечеть. Но Бог с ним, с замком, Бог с ним, с романом «Евгений Онегин», который каждый как будто бы читает в школе, – тайной остается и месторасположение памятника Юрию Долгорукому. Ситуация «беспамятства» для нас, увы, неизбежна и естественна – просто в связи с чередой смен власти в течение XX века. Почти каждое десятилетие приносило с собою «отрицание отрицания»; каждая смена усугубляла состояние беспамьятства.

Исключение составляет разве что эпоха «застоя» – опять-таки «жалкие» двадцать лет, за которые во власти *ничего не происходило*. Эти годы сформировали два поколения, чуть позже осуществивших «перестройку». Силою вещей

им мало что удалось передать дальше; но сами они – помнили и помнят; кто жив – до сих пор.

Среди них я встречала на удивление большое количество людей, которые, не будучи знакомы с Ильей Григорьевичем Эренбургом, по сей день испытывают к нему чувство глубокой личной благодарности. Прежде всего, конечно же, за «Люди, годы, жизнь».

Можно было бы сказать: «Такой книги ждали». Однако это было бы неточно; ждали *этой* книги и от *этого* писателя. Потому что, по словам Б.М. Сарнова, «никто из писателей его поколения не был так приспособлен к осуществлению этого “социального заказа”, как он. И биографией, и человеческой своей судьбой, и самой природой его писательского дарования». Потому еще, что «он был, пожалуй, единственным, кто не устал напоминать нам о кровавой, пророческой миссии русского писателя». И еще – потому что «в первые трагические военные дни волею обстоятельств единственным идеологом страны, вступившей в смертельную схватку с фашизмом, стал Эренбург».

В XX веке извечная проблема русской литературы – «художник и власть» – встала как никогда и нигде остро. Ныне выяснены и документированы отношения Пастернак – Сталин, Мандельштам – Сталин, Ахматова – Сталин... Специфика всех названных ситуаций в том, что плохой поэт, но все-таки поэт Джугашвили вступал в отношения с великими, с гениями, о которых и знал, что они «мастера». Это были отношения прежде всего *личные*, и в первую очередь они были таковыми для поэта Джугашвили. Включали они, разумеется, весомый творческий подтекст. Но попытка реконструкции *общественных* отношений политического деятеля Сталина с политическим деятелем, борцом за мир Эренбургом при том, что поэтическое начало в этих отношениях не действовало, не артикулировалось, роли не играло, предпринимается впервые – в книге Б.М. Сарнова «Случай Эренбурга».

Вот основные вехи этой реконструкции.

Все началось до Сталина – с книги «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Написанная в 1921 году, она оказалась пророческой и открыла в родной словесности плодотворный жанр социально-политической антиутопии. Неизвестно, как относится к Эренбургу В. Войнович; однако ясно, что книги их – соотносятся.

Написанный с явным учетом особенностей «массовой литературы» (за что и был руган придирчивыми современниками – и Тыняновым, и Шкловским, и Замятиным), «Хулио Хуренито» чуть ли не впервые в родной словесности показал, что симбиоз «массовости» и «художественности» не просто возможен – продуктивен. Для тех, кто читал его в конце 1950-х годов, он встал в симптоматичный литературный ряд: «Гоголь, Маяковский, “Хулио Хуренито” были тотальным противоядием против советской литературы» (Андрей Сергеев, цит. по: «Случай Эренбурга»). То же самое, но более четко, проговаривает и Б.М. Сарнов: «Основное чувство, испытываемое мною, когда я читал “Хулио Хуренито”, было чувство освобождения. Освобождения от всех табу, всех догм, всех запретов. Как передать это упоительное ощущение свободы! <...> Это была, быть может, единственная советская книга, в которой начисто отсутствовал тот “особый запах тюремных библиотек, который исходил от советской словесности” (выражение В. Набокова)». Каждая фраза при всей ее памфлетности могла оказаться «глотком свободы». Неясным осталось лишь одно: «Хулио Хуренито» свидетельствует, что уже в 1921 году Эренбург, что называется, «все понимал» и про генеральную линию партии, и про многотысячные жертвы, и про красный террор. Зачем же тогда, например, остался в России? Зачем ломал себя на службе режима, выступая в слишком неприятной и двусмысленной роли?..

Однозначного ответа на свой вопрос Б.М. Сарнов не дает: ответом является образ писателя и абрис его деятельности. Читателю предлагается решать самому.

Илья Эренбург оказался единственным, кто идеологически обеспечил Отечественную войну в самом ее начале, когда глава государства стучал зубами о край стакана, вспоминал о «братьях и сестрах» и был готов идти на согла-

шение с Гитлером. В своих статьях Эренбург «определил не только идеологию, но и философию той нашей войны. Ее моральное оправдание. Ее нравственную основу. <...> Это он пустил принятую и подхваченную всем нашим воюющим народом кличку “фриц”. <...> Добродушного, незлобивого русского человека, готового поделиться с пленным немцем последней закруткой табака, он должен был изо дня в день учить науке ненависти. Потому что, как он написал в одной тогдашней своей статье, война без ненависти так же аморальна, как близость с женщиной без любви. <...> В другой своей статье... Эренбург сказал, что, помимо всего прочего, мы ненавидим немецко-фашистских захватчиков еще и за то, что вынуждены их убивать».

Формула Эренбурга «Волкодав – прав, а людоед – нет» вошла, как показывает Сарнов, в текст «В круге первом» А.И. Солженицына, став смыслом жизненной философии народа в понимании героя романа. Сила статей Эренбурга была прежде всего силой лирического поэта, умеющего от себя говорить так, что получается – за всех. Опыт войны показал, что это ему вполне удалось – при том, что у Эренбурга в послевоенных литинститутских кругах была репутация «плохого поэта». А у Константина Симонова, также упомянутого Б. Сарновым, была репутация поэта «хорошего»; однако его «Если дорог тебе твой дом...» написано лишь в 1942 году, то есть год спустя после выхода первых статей Эренбурга. Да и риторически повторенные «если» и «убей» заряжены совсем иной энергией...

Второй виток отношений Сталин – Эренбург касается ситуации 1953 года, недель, непосредственно предшествовавших смерти Сталина. После «дела врачей» евреи готовились к депортации на Дальний Восток, ибо было объявлено «о великой вине евреев перед советской властью» (И. Бродский, цит. по: «Случай Эренбурга»), которую они должны были искупить «тяжким трудом на благо своего социалистического отечества» (там же). Ходили разговоры о письме ведущих деятелей культуры, науки, генералов армии в «Правду» – евреям (их Сталин по своим соображениям собирался временно «сохранить»), подписавших письмо с призывом к депортации. Само письмо было написано если не непосредственно Сталиным, то, во всяком случае, при его деятельнейшем участии.

Одним из «подписантов» должен был оказаться Илья Эренбург.

Письмо в «Правду» он подписывать отказался.

Вместо этого написал письмо Сталину.

В нем, блистательно стилизуя советский партийный новояз с его алогичной и противоречивой риторикой, он на пальцах доказал вождю всех времен и народов, что в результате депортации пострадает репутация компартии и значит – лично товарища Сталина.

Товарищ Сталин задумался.

Коллективное письмо в «Правду» лежало неопубликованным.

Товарищ Сталин размышлял, как бы осуществить свой замысел без последствий. Было подготовлено второе «коллективное» письмо в «Правду».

Раздумья Сталина были прерваны третьим инсультом. Вождь умер.

Смерть, – пишет Сарнов, – уже занесшая свою косу над головами миллионов людей, отступила».

Поэт и власть в России: «И истину царям с улыбкой говорил». Считается, что, проживи Карамзин еще несколько месяцев, Николай I не осмелился бы повесить декабристов...

В третью фазу диалога со Сталиным Эренбург вступил уже после смерти вождя. Собственно, это и была книга «Люди, годы, жизнь». Книга, которую кто-то принял, а кто-то – возненавидел. Потому что слишком многого от нее ждали: полной правды, совершенной откровенности, предельных обобщений.

Меж тем автор то и дело оговаривался: «Я считаю, что не настало время об этом говорить». Так, например, сказано об эпизоде с «коллективным» письмом в «Правду». Читатели судили иначе; читатели присылали письма; писатель реагировал следующим образом: «Неужели они не понимают... что я работаю на пределе возможного!» В голосе, как вспоминает Б.М. Сарнов, дрожала обида...

Недомолвки, самоцензура, эпизоды, сплошь написанные эзоповым языком, ныне требуют переиздания книги «Люди, годы, жизнь» с огромным и тщательным комментарием – примерно таким, каким снабжены «Записки об Анне Ахматовой» Л.К. Чуковской, выпущенные издательством «Согласие». Сарнов так передает собственное впечатление: «А я не хотел (не умел) принимать Эренбурга таким, “каким Бог его зародил”. Не понимал, что ему стократ важнее высказать вслух хоть самую малую толику запретной правды, чем вылить на бумагу ВСЮ правду, и пусть о ней узнают хоть полвека спустя. Мне хотелось, чтобы он высказывался в своих мемуарах в соответствии с классической судебной клятвой: говорить правду, только правду и всю правду. И черт с ними! Пусть не печатают!».

Говорить с будущим, которого не увидишь; с потомками, которых не узнаешь; посылать «письма в бутылке», как сделала это Н.Я. Мандельштам; подбирать и доставать из бутылок чужие письма, как сделала это Л.К. Чуковская с романом Б. Житкова «Виктор Вавич»... Работа на будущее – благородное занятие, но она подразумевает, что сам работающий закладывается на абсолютную допустимость разрыва времен. Настоящее в их цепочке можно упразднить, поскольку оно «ненастоящее». Совсем не каждому человеку такая логика подходит. Эренбург предпочитал быть «здесь и теперь», чем явиться «кому-то, где-то и когда-то».

Сочиняя помянутый ответ Сталину, написанный невероятно коряво и человеку, с языком партиячейки незнакомому, вообще почти непонятный, Эренбург вовсе не думал о том, что скажут потомки. Ему *всего-навсего* нужно было сделать *что-то*, что предотвратило бы геноцид еще одного народа СССР. Что смог – то и сделал. Но кажется, что дело не в экстремальной ситуации, в которой этот документ писался, – комната, портативная пишущая машинка, а за стеной жена с двумя «иудами», объясняющими ей во всех подробностях, что будет с ее мужем и с ней, если он продолжит упорствовать. Кажется, дело в писательском подходе – все, что делается, делается для настоящего, текущего момента.

Он оказался прав; он возбудил эмоции, пусть по отношению лично к нему самому далеко не всегда позитивные, – он заставил других, младших, двигаться дальше. Искать. Сопоставлять. Думать. Всю правду он не написал. Ее написали другие. И, если уж быть откровенным до конца, то и отрицательных эмоций он вызвал далеко не так много. Просто они, как это часто бывает, прозвучали с достаточно заметной силой и нескрываемым пафосом.

Б.М. Сарнов приводит слова Аркадия Белинкова: «Меня просят простить Эйзенштейна за гений, Алексея Дикого, сыгравшего Сталина после возвращения из тюрьмы... за то, что у него не было другого выхода, Виктора Шкловского за его прошлые заслуги и особенности характера, Илью Эренбурга за статьи в “Красной звезде” во время войны, Алексея Толстого... за брызжущий соком истинно русский талант, простить Юрия Олешу за его метафоры и несчастья. <...> Только зачем все это? Ну, простим. Ну, станем возвышеннее и чище. Но будет ли это научно? <...> Я пишу о том, что они негодяи именно потому, что это научно, а для науки мы готовы на все».

Аркадий Белинков или – на определенном жизненном этапе – Бенедикт Сарнов с жаром и азартом судили старших потому, что по возрасту были их «детьми», а дети, как известно, во все времена именно к родителям особенно жестоки. И именно родительские черты наследуют: например, «готовность на все». Кто сочтет «готовых на все» за Сталина и погибших с его именем на губах?

...Моего деда «взяли» при Ежове, а выпустил его Берия. Так вышло потому, что дед ни одного обвинения не признал, ни с чем не согласился, ничего не подписал, ни на себя, ни на кого другого никаких показаний не дал. Про методы, которыми эти показания из него выбивали, в доме не говорили; мне известно лишь про обливание ледяной водой на морозе. Меж тем поэт Осип Мандельштам на первом же допросе назвал имена слушателей своего антисталинского стихотворения, и эти люди, разумеется, пострадали. Допустим, я «готова на все» и оцениваю; и тогда – *как же я оцениваю?*..

А ведь подобные «оценки» – опять-таки важно, что несколько поколений спустя, – невозможны: один человек биологически может противостоять давлению со стороны, в том числе и физическому, другому достаточно морально-го давления. Дело только в личности, в ее возможностях – и в тайне.

Тайна личности Эренбурга неприкосновенна так же, как и любая другая. В стихах он приоткрывал ее – как и любой лирический поэт. Например, в «До-думать не дай, оборви, молю, этот голос...»: «Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, // Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось». Или в «Пора признать – хоть вой, хоть плачь я...»: «Когда луна бывала злая, // Я подвывал и даже лаял...». Он жил в своем времени; он этому времени оказал-ся верен, а верность понимал по-своему – вот и все.

Предваряя книгу словами «От автора», Бенедикт Сарнов говорит о заду-манной им и частично осуществленной серии книг с названием «Случай»: Манделъштама, Зошенко (опубликованы), Маяковского, Гроссмана. «Где-то вдальке маячил замысел Случая Эренбурга. Для этого последнего у меня было даже уже припасено заглавие: “У времени в плену”. И стоять этот “Случай” по моему замыслу должен был рядом с “Заложником вечности” (Случай Манделъштама)...». Уточнения почти излишни, кроме одного: в плену *добровольном*. И свой писательский долг Эренбург, по-видимому, понимал именно как разго-вор с современником на языке, им обоим доступном. Оттого его жизнь – и творчество – выглядят, по ассоциации Б.М. Сарнова, построенными на песке – ведь время-то проходит. Оттого младшим современникам оказалось так лег-ко благодарить Эренбурга, верить Эренбургу, одновременно судя, разоблачая и даже презирая его: живой человек вызывает к себе *разное* отношение, толь-ко *хорошо* – *только* о мертвых. Оттого структура книги «Случай Эренбурга», в каждой главе которой присутствуют авторские отступления «Вдруг вспомни-лось», касающиеся уже самого Бенедикта Сарнова и *его* времени, выглядит подчиненной одной, а не двум разным задачам. То общее для них обоих вре-мя, когда Сарнов входил в литературу, а Эренбург был уже ее классиком, соб-ственно, и сформировало на будущее общий «плацдарм памяти». Или – плен.

Верность времени оказалась выходом в вечность. Б.М. Сарнов приводит стихотворение Эренбурга «Давно то было. Смутно помню лето...», которое заканчивается словами: «Все нарушал. Искусства не нарушу», с коммента-рием: «Это правда. Не нарушил». И можно упрекать Эренбурга и в слабости, и в умолчаниях, и в половинчатости, и в чем угодно еще – по выбору упрекающе-го. Все будет правильным, только вот правды здесь не будет никакой. Потому что если бы он в чем-нибудь солгал – искусство отомстило бы ему.

А оно осталось ему верным.



Григорий ЗАСЛАВСКИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ДЕЙСТВИИ

Центральный академический Театр Российской армии, перед тем как закрыть сезон и отправиться в отпуск, отпраздновал свое 75-летие и – к юбилейной дате – подготовил премьеру героической комедии Александра Гладкова и Тихона Хренникова «Давным-давно».

При почти полном отсутствии каких-либо откликов – ни здравниц в газетах, ни отчетов о визите в театр министра обороны Сергея Иванова, ни даже рецензий – событие это по меньшей мере знаменательное. Причем не только для Театра армии и его актеров – того, по слову Сергея Борисовича, замечательного «взвода», который из рук министра Иванова получил орден Почета или Дружбы.

В своем поздравительном выступлении г-н Иванов сказал между прочим, что армейский театр «продолжает исполнять свой гражданский и профессиональный долг» и «вносит весомый вклад в повышение авторитета военной службы». Но на спектакль не остался. Завершив награждение, он отправился дальше, по другим неотложным делам, хотя имелась реальная и, наверное, нечастая возможность убедиться в справедливости только что сказанных слов.

«Давным-давно», по идее, – тот самый вклад и в повышение авторитета военной службы, и в патриотическое воспитание молодежи, про которое год назад как о первостепенной задаче отрасли спрашивал профильного министра г-на Соколова председатель правительства г-н Фрадков.

Кто помнит одноименный фильм, с Юрием Яковлевым и Ларисой Голубкиной (работающей как раз в Театре Российской армии), согласится, что это так: и музыка хорошая, и слова такие, что лирика в них уравновешена духоподъемными рифмами. Все, что нужно, – и для удовольствия, и для патриотического воспитания молодежи.

Для Театра Российской армии эта героическая комедия – страница великой истории, такая же, как «Учитель танцев» и «Смерть Иоанна Грозного». То есть что-то вроде «Чайки» Художественного театра, положившей начало большого стиля и мгновенно превратившейся в театральную легенду.

Поставленная Алексеем Поповым в 1942 году, в эвакуации, на небольшой сцене дома культуры, эта пьеса в стихах стала оружием прямого действия. К слову, в дни, предшествовавшие Отечественной войне 1812 года, да и в последующие годы точно так же чрезвычайно популярными стали пьесы околосторонние, квазиисторические, в которых русский народ побеждал «гипотетических», а то и вполне конкретных поляков или шведов, где вымышленные народные герои вступали в схватку со вполне историческими врагами Российского отечества.

Возвращение легенды – дело опасное, поскольку легенда всегда окажется лучше, хотя почти никто из нынешней публики в силу возраста не мог видеть Любовь Добржанскую в роли «кавалерист-девицы». Сегодня, к примеру, даже трудно вообразить, как это прежде без микрофонов актеры собственными голосами «покрывали» весь зал Театра армии.

Нынешние актеры выходят на сцену во всеоружии, правда, ограничивающемся мимикой (с микрофоном, приклеенным к щеке, особенно не поусердствуйте). Поют хотя и без фонограммы, вживую, но, конечно, в микрофон. От этого следующий за «зонгами» диалог на минуту-другую – на то время, которое необходимо, чтобы перенастроить слух, – проваливается в звуковую яму.

Легенды легендами, но выход на сцену 90-летнего Владимира Зельдина в роли старика Кутузова превращается в короткий и внушительный урок актерского мастерства. Аплодисментами встречают не только его появление, но и одну из первых реплик: «Что будет-то, коль доживешь до ста?». Его и слышно хорошо, но главное, что «хороший звук» не становится единственной заботой актера. Слышно не только каждое его слово, слышны интонации, а в каждом слове слышен характер его Кутузова, сурового, умного, пронизательного и вместе с тем добродушного старика.

При Зельдине недостатки других актеров делаются тем более заметными.

Но одновременно рядом с ним как будто расправляет плечи и оживает героиня, Шуручка Азарова (Татьяна Морозова). Очевиднее становятся художественные резоны, заставившие режиссера Бориса Морозова назначить на эту роль молодую актрису, год назад принятую в труппу театра. В ее игре угловатость только-только начинающей взрослеть девушки, надевшей военную форму, обращается в мальчишество и бесшабашность еще не нюхавшего пороха бойца. Подростковый максимализм находит пищу в нешуточных, по-настоящему опасных приключениях, которые заканчиваются счастливо лишь потому, что жанр этой пьесы – героическая комедия, а не трагедия.

Морозова играет то, что Пушкин назвал «души прекрасные порывы», а Окуджава позднее воспел: «О, были б помыслы чисты, а остальное все приложится». Все это есть в «Давным-давно» плюс, конечно, знаменитый комедийный сюжет с переодеванием.

Но, пожалуй, самое главное в этом спектакле, официальная премьера которого назначена на осень, – искренняя попытка возрождения на сегодняшней сцене романтического театра. Романтического и – патриотического (из истории литературы помним, что романтизм всегда был окрашен в национальные тона и чуть ли не впервые «замечает» национальные различия).

Родина и партия (партии!) сегодня вновь заговорили о патриотизме. А на недавнем собрании в Госдуме один из высокопоставленных чиновников Роскультуры уже сказал о том, что *«деньги государства должны тратиться на воспитание патриотизма. Мы настаиваем, чтобы госсредства тратились на прославление России, а не на ее унижение»*. Казалось бы, что тут выдумывать? – Ответить «есть!» и по-армейски стремительно выдать на-гора очередную порцию патриотически-годных спектаклей.

Но у Морозова – о том и речь – патриотизм натуральный, естественно произрастающий из романтических «составляющих» его таланта. Он – режиссер-романтик по призванию. Такой же – то есть пронизанной романтизмом и патриотизмом – была и предыдущая его премьера на сцене Театра армии, «Севастопольский марш», спектакль по «Севастопольским рассказам» Льва Толстого.

Тема его – странное дело – осталась не замеченной армейским руководством театра. А может, заметили и сознательно оставили, как знать?

Ведь и рассказы эти, и спектакль – про то, как патриотизмом в России больны, что без него не обходится жизнь в России, что-то такое продолжает бродить в душах молодых романтиков; что патриотизм опасен, так как плодами и «цветами» его всегда воспользуются ушлые генералы (при этом слова о Севастопольской кампании живо «салятся» на нынешние чеченские реалии). И что без него, без патриотизма, все равно никак и никуда, поскольку на нем одном выезжают в конце концов и генералы, набивающие свои и чужие кошельки, и наши победы.



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2006 ГОДУ,
ПОДПИСАВШИЕСЯ НА «ОКТЯБРЬ»,

вы сможете:

– насладиться фантастическим, раблезианским сплавом мифов и реалей 50-х годов прошлого века в романе «Москва-Ква-Ква» Василия АКСЕНОВА и блестящим и неожиданным повествованием «Люди и статуи» Анатолия НАЙМАНА, взглянуть на нынешнюю жизнь глазами героев Николая КЛИМОНТОВИЧА, Михаила ТАРКОВСКОГО и Владислава ОТРОШЕНКО, посмеяться и взгрустнуть вместе с Вячеславом ПЬЕЦУХОМ и Евгением ПОПОВЫМ, познакомиться с «Тублиерами» Давида МАРКИША и «Фантазиями сатирика» Михаила ЗАДОРНОВА, погрузиться в атмосферу шоу-бизнеса в романе «Юность Бабы-Яги» Владимира КАЧАНА и театра – в мемуарах Виталия ВУЛЬФА и воспоминаниях об Олеге Ефремове Михаила РОЩИНА, полюбоваться «Приближением судна» Анатолия ГАВРИЛОВА, впервые увидеть «Степных богов» Андрея ГЕЛАСИМОВА, обратиться к истокам русского терроризма вместе с Эдвардом РАДЗИНСКИМ, проследить за дальнейшей жизнью уже полюбившихся вам героев Вацлава МИХАЛЬСКОГО...

– а также ознакомиться с новыми произведениями Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ, Олега ПАВЛОВА, Асара ЭППЕЛЯ, Александра ХУРГИНА, Юрия БУЙДЫ, Александра ГЕНИСА, Валерия ПОПОВА, Андрея ВОЛОСА, Александра КАБАКОВА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира САЛИМОНА, Владимира КАНТОРА, Кирилла КОБРИНА, Игоря ВОЛГИНА, Игоря САХНОВСКОГО, Дмитрия БЫКОВА, Михаила ВЕЛЛЕРА, Сергея ЮРСКОГО, Бориса ПАРАМОНОВА, Бориса ХАЗАНОВА, Петра АЛЕШКОВСКОГО, Светланы ВАСИЛЬЕВОЙ, Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ, Александра МЕЛИХОВА, Юрия ПЕТКЕВИЧА, Алексея ВАРЛАМОВА, Афанасия МАМЕДОВА, Ольги СУЛЬЧИНСКОЙ, Евгения ШКЛОВСКОГО, Игоря КЛЕХА, Павла САНАЕВА, прозой и поэзией Юнны МОРИЦ и других известных писателей...

– постоянно быть в курсе творчества молодых писателей – как уже публиковавшихся у нас (Алексея ЛУКЬЯНОВА, Олега ЗАЙОНЧКОВСКОГО, Дениса ГУЦКО, Дмитрия НОВИКОВА, Ильдара АБУЗЯРОВА, Арсения ДАНИЛОВА и др.), так и пока еще никому неизвестных...

– совершать уникальные путешествия по отечественным городам и весям с помощью «Путевого Журнала»...

– побывать на многих значимых культурных мероприятиях и поразмышлять над теми или иными явлениями культуры в молодежной рубрике «Там, где»...

– узнать о наиболее интересных книжных новинках из рубрики «Близко к тексту»...

– увидеть современную литературную жизнь глазами молодых критиков в рубрике «Штудии»...

– проследить за основными тенденциями театральной жизни в рубрике «Литерный ряд»...

– вместе с нашими авторами идти дальше по «Шелковому пути поэзии».

И это далеко не все!



ПРЕССА РОССИИ

Октябрь

Крулый год

Уважаемые читатели!

Подписку на журнал «Октябрь» можно оформить в любом почтовом отделении по Объединенному каталогу «Пресса России» зеленого цвета (стр. 318).

Индексы для Российской Федерации:

подписка на полугодие – **73293**,

годовая подписка – **72375**.

В странах СНГ индекс – **79209**.

По льготной цене в редакции

(Москва, ул. Правды, 11/13) можно:

- подписаться на журнал с очередного номера,
- купить отдельные номера текущего года,
- подобрать заинтересовавшие вас номера прошлых лет.

Справки по тел. (095) 214 31 23.

В розницу наш журнал продается в книжной лавке Литературного института (Москва, Тверской бульвар, 25).

За рубежом журнал «Октябрь» распространяет американская фирма

«Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications, Inc.

3020 Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA.

Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31).

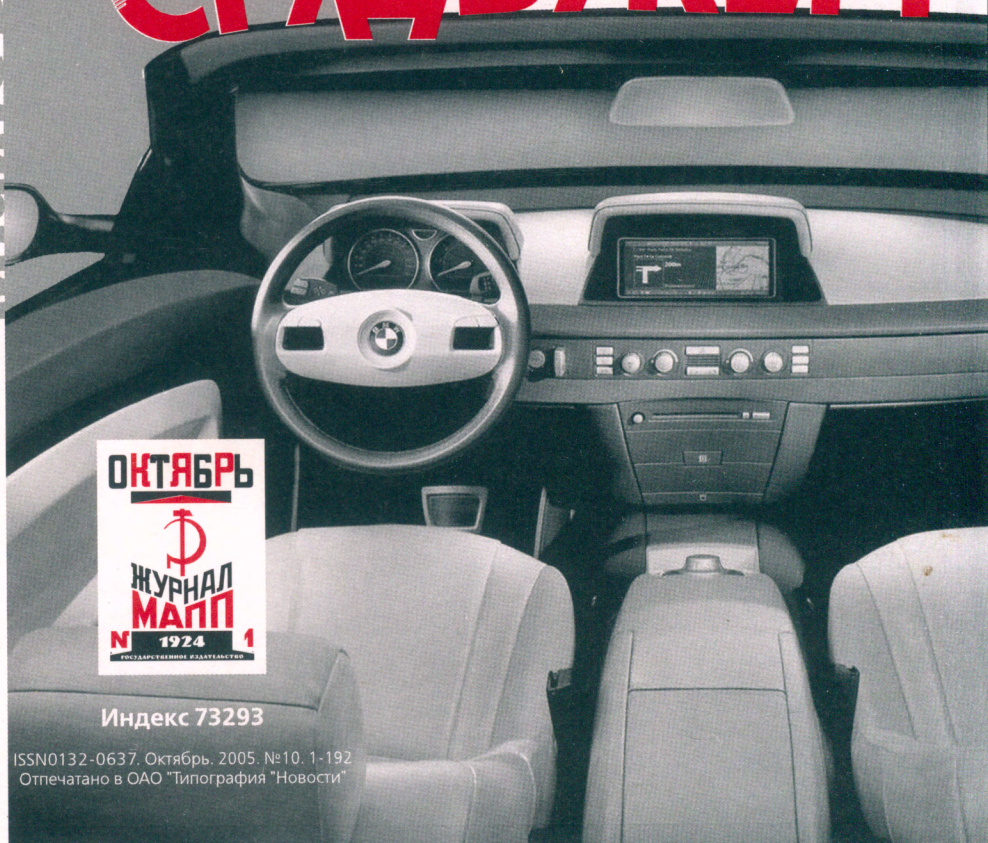
Тел. в Москве (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81.

Читайте в следующем номере

ОСТОРОЖНО,



СТУДБУКЕР!



Индекс 73293

ISSN0132-0637, Октябрь, 2005, №10, 1-192
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"